

Дантон. Исследование

Хилэр Беллок

DANTON

A STUDY

BY

HILAIRE BELLOC, B.A.

LATE BRACKENBURY SCHOLAR OF BALLIOL COLLEGE,
OXFORD

New York

CHARLES SCRIBNER'S SONS

1899

Электронная книга проекта «Гутенберг» «Дантон: исследование»

Эта электронная книга предназначена для бесплатного использования в любой точке США и большинства других стран мира практически без каких-либо ограничений. Вы можете копировать, передавать или повторно использовать ее в соответствии с условиями лицензии проекта «Гутенберг», прилагаемой к этой электронной книге или доступной онлайн по [адресу www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). Если вы не проживаете в США, перед использованием этой электронной книги вам необходимо ознакомиться с законодательством страны, в которой вы проживаете.

Название: Дантон: исследование

Автор: Хилэр Беллок

Дата выпуска: 21 июля 2022 г. [электронная книга № 68582]

Последнее обновление: 18 октября 2024 г.

Язык: английский

Оригинальное издание: США: Charles Scribner's Sons, 1899

Благодарности: Марк К. Ортон и команда онлайн-корректоров <https://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, любезно предоставленных The Internet Archive)

*** НАЧАЛО ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПРОЕКТА ГУТЕНБЕРГ «ДАНТОН: ИССЛЕДОВАНИЕ» ***

ДАНТОН ИССЛЕДОВАНИЕ

АВТОР: ХИЛЭР БЕЛЛОК, Б.А.

БЫВШИЙ СТИПЕНДИАТ БРАКЕНБЕРИ БАЛЛИОЛ-КОЛЛЕДЖА,
ОКСФОРД

Нью-Йорк

ЧАРЛЬЗ СКРИБНЕРС СОНС

1899

ЭНТОНИ ХЕНЛИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Историк, пользующийся большим авторитетом в своем университете и колледже, в небольшой работе, которая заслуживает более широкой известности, подытожил две основные черты революции следующими фразами: «холодный и жестокий Робеспьер, яркий Дантон»^[1]. Это суждение поспешное и окрашено определенной предвзятостью.

Еще более авторитетный эксперт в предисловии к своему дневнику о революции сообщает нам, что он собирается описать зверя^[2]. Ученый сектант не скрывает от своих читателей, что глубокий анализ привел его к очень решительному убеждению. Он настолько уверен в своей правоте, что с одинаковым вниманием относится к доказательствам из печатных документов

, автографов писем и случайного незнакомца, рассказывающего в деревенской гостинице о событии, произошедшем сорок лет назад.

Величайший из французских романистов и главный поэт дал нам в «Quatre-vingt-treize» трогательную и живую картину. Однако даже в этом произведении ради контраста и красочности допущено многое, чего не видел ни один современник. Примером **тому** может служить диалог между Дантоном и Маратом с его живописными неправдами.

Если столь противоречивые факты признаются правдивыми людьми столь разного калибра, то кажется, что писать историю вообще очень трудно. Однако существует метод, который не исключает личного убеждения, не требует искусства обмана и не предполагает примитивного невежества.

Он заключается в том, чтобы установить, что известно наверняка и может быть доказано, и на основе собранных фактов — только на их основе — нарисовать как можно более яркую картину; на основе ряда истин — с помощью исследований он приобретает внушительные размеры — сформировать убеждение, общее, широкое и применимое постоянно, о характере периода или человека.

Таков был метод Фюстеля де Куланжа, и по его образцу из мелочной, порой педантичной точности французских ученых возникла школа, которая является самой сильной в Европе.

Метод, который я описываю, имеет еще одно преимущество: даже наименее образованный человек может без затруднений вступить на этот путь и продвигаться по нему, а книга, не претендующая на высокий уровень, следуя этим правилам, по крайней мере, сможет избежать неправды. Имея в своем распоряжении не самые совершенные инструменты и следуя слишком грубому плану, я все же попробую в этой биографии Дантона последовать этому примеру.

Девиз, напечатанный в начале этой книги и заимствованный у самого справедливого из биографов, должен задать тон моему описанию. Какое движение положило начало нашему современному обществу? Каковы были его мотивы, причины действий, материальные условия? И каким был человек, который, более всех других, олицетворял этот дух в самый критический момент?

Чтобы найти правильный ответ на эти вопросы, необходимо сделать две вещи.

Во-первых, мы должны сделать последовательность причин и следствий разумной. Давая объяснение или предполагая мотив, мы должны представить то, что признают рациональные, непредвзятые люди. Включать в один и тот же характер несовместимые крайности — значит не оставлять никакой картины. Изложение ряда фактов, между которыми нет никакой связи, так что они удивляют своим контрастом, но оставляют в уме только путаницу, является своего рода ложью. Это метод, наиболее часто используемый приверженцами (); они выстраивают теорию, в рамках которой будут лежать те или иные факты, но опускают или упоминают только как аномалии факты, которые являются столь же правдивыми, но которые опровергают их выводы. Мы должны (используя математическую метафору) *интегрировать* дифференциалы истории; создать полное и гармоничное целое из сотни аспектов; начертить кривую, которая будет регулярно объединять то, что казалось множеством разрозненных точек. Пока мы не сможем сказать: «Этот человек, учитывая весь его характер и бесчисленные известные поступки, не мог поступить так, как нам хочет внушить тот или иной отчет»; или, опять же, пока мы не сможем сказать: «Эта эпоха с ее убеждениями, ее окружением, ее литературой не могла испытывать тех эмоций, которые ей

приписывает тот или иной историк», — пока мы не сможем сказать это, мы не понимаем ни личность, ни эпоху.

Во-вторых, мы должны признать в всех повторяющихся и распространенных выражениях убеждений, а также во всех мотивах времени действия некий реально существующий идеал. Существовало убеждение, общее для многих тысяч парламентариев на ранних этапах английской гражданской войны. Существовало подлинное вероучение в сердцах хорошо оплачиваемых «железных людей» ее позднего периода. Существовала настоящая лояльность и объяснимая теория королевской власти в лагере Карла I.

Так и в период, который мы рассматриваем, существовала четкая доктрина политического права, которой придерживались, вероятно, самые сильные умы и которую защищали, безусловно, самые стойкие и восторженные мужественные люди, когда-либо украшавшие европейскую нацию. Мы должны признать душу времени. Ведь если бы не было реальной необходимости сочувствовать периоду, который мы изучаем, если бы мы могли смотреть на него исключительно со стороны, не пытаясь понять его изнутри, то о многих потрясающих страницах истории мы должны были бы утверждать, что все, кто руководил, были негодьями, что вся их жизнь (каждый момент) была непрерывной игрой, что наши враги, в конце концов, были чем-то большим и более злым, чем люди. Мы должны были бы предположить, что вся энергия принадлежала плохим, а вся несостоятельность — хорошим, и разделить человечество на две группы: одну из праведных идиотов, а другую из гениев, продавшихся аду. Никто не хотел бы и не смог бы искренне отнести себя к какой-либо из этих категорий.

Мы должны постулировать, таким образом, то, что Тэн высмеял, то, ради чего жил Мишле, и то, чего Карлайл так и не понял — революционную идею. И мы должны прочитать в жизнях всех действующих лиц этой драмы, и особенно в жизни героя этой книги, какой-то общий мотив, связанный с верованиями того времени. Мы должны показать его действия как единое целое — как действия человека — и затем, если возможно, определить его место в том, что было не анархическим взрывом, а регулярным, хотя и энергичным и чрезвычайно быстрым развитием.

При выполнении работы такого рода сразу же возникает сотня трудностей. Невозможно дать подробную историю революции, и в то же время необходимо упомянуть многие факты второстепенного значения. Необходимо рассказать историю человека, чьи действия и интересы, да, вся его жизнь, насколько мы ее знаем, охватывают менее пяти лет.

Ранняя жизнь Дантона представлена лишь фрагментарными записями, собранными несколькими историками с чрезвычайной тщательностью и только для того, чтобы дополнить наши знания о его зрелой карьере. Самые кропотливые усилия его биографов принесли лишь скудную горстку искомых фактов; никакие личные расследования в его родном городе, среди оставшихся членов его семьи или в его бумагах не пополнили материалы: исследования были тщательно и окончательно проведены до этой даты, и их результаты, какими бы они ни были, я собрал во второй главе этой книги.

Он даже не занимает с самого начала сцену Революции, как Робеспьер, Мирабо и другие.

До тех пор, пока нацию не атаковали, его роль была второстепенной. У нас есть более многочисленные и более важные сведения о его действиях после 1789 года, чем до него. Но только когда Францию нужно было спасать, когда нужны были люди действия, он вышел на первый план. Тогда внезапно вся нация и ее история наполнились его именем. В течение

тринадцати месяцев, с того 10 августа 1792 года, которое он создал, до начала осени следующего года, Дантон, его дух, его энергия, его практическое понимание вещей такими, какие они были, составляли силу Франции. В то время как теоретики, от которых он так сильно отличался, тратили себя на своего рода политическую интроспекцию, он поднял армии. Когда ораторы могли только находить громкие фразы, чтобы возглавить ярость против измены Дюмуре, он сформировал Комитет, чтобы стать диктатором для падающей нации. Все, что было полезно в Терроре, было его делом; и если мы проследим до самых корней действия, которые очистили поле и подготовили его для быстрой организации и обороны, то у корней мы почти всегда найдем его мастерское и уверенное руководство.

В революции есть две особенности, одна из которых является почти исключительной для нее, а другая — общей для всех других великих кризисов в истории.

Первая из них заключается в том, что для выполнения своей лучшей работы она использовала новых и молодых людей, а также относительно неизвестных людей. Если когда-либо нация призывала людей такими, какие они были, в отрыве от семьи, традиций, богатства и привычной среды, то это была Франция во время революции. Национальная необходимость в то время предстает как капитан перед своими солдатами в армии призывников. Он знает каждого из них по их способностям, характеру и поведению. Но они в форме; ему нет дела до их семей или молодости; он заставляет их делать то, для чего каждый из них лучше всего подходит. Эта особенность делает этот период уникальным, и именно из-за нее многие революционеры не имеют для нас истории до революции. Именно эта особенность делает их биографии ярким и сконцентрированным отчетом о действиях в течение месяцев, а не лет. Они выходят из неизвестности, проходят через интенсивную зону прожектора и внезапно исчезают за его пределами.

Вторая из этих особенностей характерна для всех моментов кризиса. Месяцы в революции считаются годами, и это дает нам оправдание для того, чтобы в биографии уделять столь мало места жизни человека. Но так и должно быть. В любой истории группа лет, а иногда и один год, является временем, которое нужно изучать день за днем. По сравнению с интенсивной целью момента целые века иногда кажутся бесцветными.

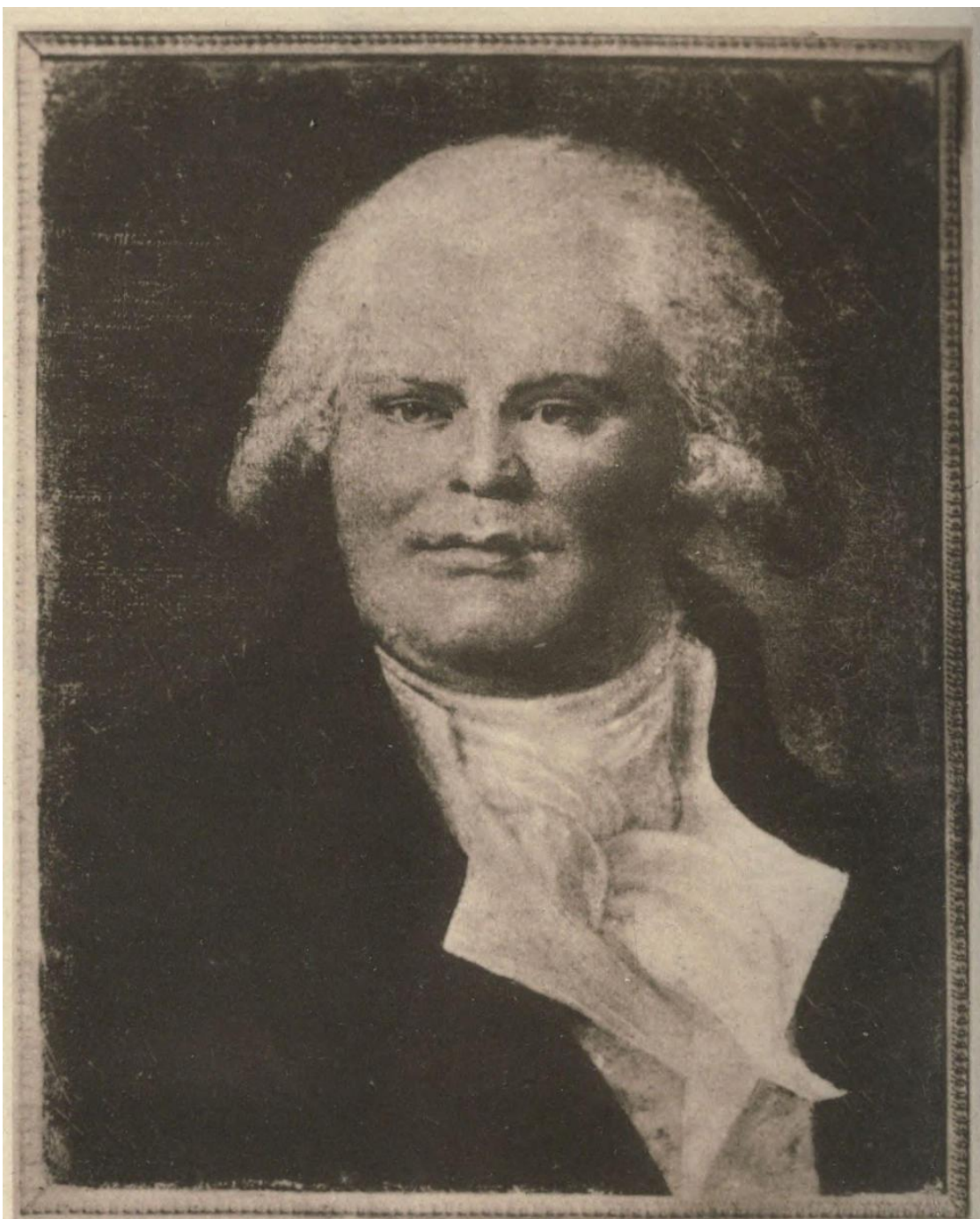
Так, в политической истории Англии XIII века все значение имеет небольшой промежуток времени от Оксфордских постановлений до битвы при Эвешаме; в исследовании разрыва Англии с континентальной традицией — период между заговором Ридольфи и Армадой; в формировании английской олигархии — кризис с апреля по декабрь 1688 года.

Эта вторая особенность, необходимость концентрации, оправдывает особое внимание к двум годам, когда Дантон был на пике славы, даже если его молодость была бы лучше известна. Сочетание этих двух условий делает необходимым такой подход, который я попытался следовать.

Что касается авторитетов, то я испытываю особую благодарность к трем людям, поскольку работа над этой книгой является лишь переработкой материалов, которые они собрали. Это доктор Бужеар, который уже умер (его ясный республиканизм принес ему изгнание и преследования); М. Олар, величайший из наших живых писателей, посвятивших свои работы периоду Революции; и доктор Робине, чьей личной добротой, интересу и плодотворным советам я в значительной степени обязан этой книгой. Хранитель Карнавале на протяжении всей своей долгой и трудолюбивой жизни был терпеливым биографом Дантона, и теперь мало что можно добавить к исследованиям, которые были постоянным занятием его справедливой и выдающейся карьеры.

Мы должны надеяться, что, несмотря на его преклонный возраст, мы получим от него еще несколько работ, ведь он один из тех многих людей, которые дали современной исторической школе Франции, среди всей нашей современной болтовни и компромиссов, силу голоса, говорящего простую правду.

ДАНТОН
ИССЛЕДОВАНИЕ



This Portrait is presumably a David, both from its style and from the fact that it is the companion picture to that of Madame Danton which is certainly by that master. Its date is either the Autumn of 1792 or possibly early 1793. It is mentioned by Madame Chapin, Danton's sister-in-law, in a letter which she writes during the Empire to the two boys, Danton's sons: she says "I am sending you the portrait of your Father....it has been retouched....the coat especially has been made dark-blue, as that is the colour he ordinarily wore. Madame Dupin, (Danton's second wife) "has just seen it and calls it a striking likeness". Both this letter and the picture are in the possession of M^r Robinet, to whom they were given by Danton's grand-daughter & by whose permission this portrait is reproduced."

Этот портрет, по всей видимости, является работой Давида, как по стилю, так и по тому факту, что он является парным изображением портрета мадам Дантон, который, несомненно, принадлежит кисти этого мастера. Он датируется осенью 1792 года или, возможно, началом 1793 года. О нем упоминает мадам Шапен, невестка Дантона, в письме, которое она пишет во время Империи двум мальчикам, сыновьям Дантона: «Я посылаю вам портрет вашего отца... он был ретуширован... особенно пальто было сделано темно-синим, так как это был цвет, который он обычно носил. Мадам Дюпен» (вторая жена Дантона) «только что его увидела и назвала поразительным сходством». И это письмо, и картина находятся в собственности Д. Робине, которому они были переданы внучкой Дантона и с чьего разрешения этот портрет воспроизводится.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА	СТРАНИЦА
ПРЕДИСЛОВИЕ	vii
I. РЕВОЛЮЦИЯ	1
II. МОЛОДЕЖЬ ДАНТОНА	40
III. ДАНТОН В КОРДЕЛЬЕРАХ	57
IV. ПАДЕНИЕ МОНАРХИИ	114
V. РЕСПУБЛИКА	171
VI. ТЕРРОР	211
VII. СМЕРТЬ ДАНТОНА	249
VIII. РОБСПЬЕР	282
ПРИЛОЖЕНИЯ—	
I. ЗАМЕТКА О КОРДЕЛЬЕРАХ	321
II. ПРИМЕЧАНИЕ О НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ, УПОМЯНУТЫХ В ЭТОЙ КНИГЕ	327
III. ПРИМЕЧАНИЕ О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ВЕНАЛЬНОСТИ ДАНТОНА	331
IV. ЗАМЕЧАНИЕ О ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДАНТОНА ЗА СЕНТЯБРЬСКИЕ РЕЗНИ	340
V. КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ А. Р. К. ДЕ СЕН-АЛЬБЕНА	347
VI. ВЫДЕРЖКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ КАНЦЕЛЯРИИ ДАНТОНА	365
VII. ВЫДЕРЖКИ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА ДАНТОНА	373
VIII. КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ ДАНТОНА	380
IX. ВЫДЕРЖКИ ИЗ МЕМУАРОВ, НАПИСАННЫХ В 1846 ГОДУ СЫНОВЬЯМИ ДАНТОНА	384
X. ЗАМЕТКИ ТОПИНО-ЛЕБРУНА, ЧЛЕНА РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА	395
XI. ОТЧЕТ ПЕРВОГО КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	403
УКАЗАТЕЛЬ	430

ЖИЗНЬ ДАНТОНА

ГЛАВА I РЕВОЛЮЦИЯ

Прежде чем приступить к написанию биографии Дантона на английском языке, необходимо сделать три вещи. Во-первых, определить свою точку зрения на все революционное движение; во-вторых, объяснить, насколько это возможно, форму, которую оно приняло во Франции; в-третьих, показать, какое место занимал Дантон в цепочке событий, какова была его личность, каковы были последствия его кратковременной деятельности. Эта тройная задача необходима для книги, которая без нее была бы лишь чередой событий, всегда запутанных и зачастую лишенных смысла.

Что такое революция? По сути, это возвращение к норме — внезапное и насильственное возвращение к тем условиям, которые являются необходимой основой здоровья любого политического сообщества, которые явно прослеживаются в каждом первобытном обществе и от которых Европа отделилась из-за растущей сложности и духа рутины.

Никто никогда не отрицал, что процесс постепенного переформирования является частью жизни, и все признают, что государство (которое живет, как и все остальное) должно проходить через такой процесс как условие здоровья. В каждой сфере общественной деятельности существует необходимость постоянной реформы и контроля: это очевидно для администраторов любого рода: задача политика — постоянно направлять и применять такие корректирующие меры: весь свод законов Англии является собранием прошлых результатов этой руководящей силы.

Но каковы законы, которые им управляют? Какова природа условия, которое делает реформу обязательной? Что отличает хорошее от плохого в вопросе добровольных изменений и отделяет консервативные усилия от разрушительных?

Именно при рассмотрении этой проблемы мы можем обнаружить, насколько велик долг прошлого века перед природой — долг, который требовал немедленной ликвидации и часто погашался только ценой насилия.

Кажется, что необходимость реформы возникает из того, что наши идеи, которые являются вечными, находят свое выражение в фразах и приводят к действиям, которые принадлежат материальной среде — среде, которая, следовательно, постоянно меняется в своей форме. Нельзя допустить, что внутренние нормы души могут измениться; если бы они могли, слово «реформа» утратило бы всякий моральный смысл, и то, что не является добрым, перестало бы быть желанным. Но значение слов, воздействие определенных действий на чувства, причины удовольствия и боли в обществе, определение национальности — все эти вещи по своей природе непрерывно меняются и должны непрерывно приводиться в соответствие с неизменным разумом.

Какой тест можно применить, чтобы узнать, работает ли реформа в направлении этого исправления или нет? Никакой, кроме общего убеждения всего поколения в том, что то или иное пережиток мешает правильному образу жизни, простого инстинкта справедливости, выраженного в конкретных терминах по конкретному вопросу. Именно этим чувствует себя связанным справедливый человек любого периода. Это не формула: это кажется самым

неопределенным и бесполезным указанием; и все же соблюдать его — значит сохранять государство в здравом состоянии, пренебрегать им — значит вызвать революцию. Одно можно сказать наверняка: если в государстве существует группа людей, которые решили руководствоваться этим неопределенным чувством справедливости и которые обладают достаточной властью, чтобы позволить ему определять свои реформы, то эти люди спасают государство и сохраняют его целостность. Когда же, напротив (), те, кто принимает или исполняет законы, решительно следуют какой-то формулировке или форме, тогда нужды накапливаются, бремя и напряжение становятся невыносимыми, и тяготение к нормальному уровню жизни, которое должно действовать как слабая, но постоянная сила, внезапно проявляется с высоким потенциалом и разрушительной силой.

В качестве примера времени, когда преобладали первые и лучшие условия, я бы привел период между XI и XIV веками, когда в европейском обществе произошли самые фундаментальные изменения, фактически переход от варварства к цивилизации, и при этом все шло хорошо. Реформы, будучи непрерывными, были легкими. Новые институты, парламенты, университеты, личный налог, возникали по мере необходимости, и великий переход увенчался безопасностью и довольством, которые окружали Св. Людовика. Простота, главное условие счастья, была главной добродетелью того времени. Король правил, рыцарь сражался, крестьянин пахал свою землю, а священник верил.

Именно отсутствие простоты делает три столетия, следовавшие за пятнадцатым (с пороками, возможно, обусловленными порочностью пятнадцатого), противоположным примером. Сохраняются всевозможные фразы, эмблемы и маски; жертвуются всевозможные живые существа. Условия перестают быть гибкими, и тело Европы, которое, в конце концов, все еще дышит, заперто в оковах юристов и почти задушено.

В шестнадцатом веке можно было бы сказать, что политические споры принцев () были просто оскорблением природы, но народ, хотя и находится в упадке, показывает, что он все еще существует; страсти их религий оживляют мертвую игру Тюдоров и Валуа. В семнадцатом веке педанты отдают приказы, высшие классы сражаются с принцами, народ почти молчит. Где они были во время Фронды или в той менее героической борьбе, что называется парламентскими войнами? По мере того как восемнадцатый век все больше и больше погружается в упадок, все исчезает; те, кто движется в комфорте над душами, которые они используют в качестве мостовой, богатые и привилегированные, даже перестали наслаждаться своими политическими и теологическими развлечениями; они заботятся только о том, чтобы сохранить свое благополучие, и для этого они заклиняют имя народной памяти.

Они возводят валы из священных гробниц и защищаются костями средневековья, реликвиями святых и рыцарей.

Именно это вызывает и формирует революцию. Привилегированные люди, особенно юристы, придерживались этой фразы. Они оправдывали себя в самое искусственное время, цитируя формулы того времени, когда жизнь была самой естественной, а душа была ближе всего к поверхности. Они использовали имя средневековья именно потому, что считали средневековье мертвым, когда внезапно дух средневековья, дух энтузиазма и веры, крестовый поход, вышел из могилы и разгромил их.

Я говорю, что великая болезнь времени, предшествовавшего революции, проистекала из того, что оно сохранило букву и забыло дух. Оно продолжало делать то же, что и Европа в лучшие свои времена, — оно полностью пренебрегло питанием подобных мотивов. Приведу крайний пример. Есть условия, при которых сожжение человека на костре кажется

допустимым и справедливым. Когда часто происходят преступления, которые общество считает отвратительными за пределами слов, тогда никакое наказание не кажется достаточным для удовлетворения эмоций, которые вызывает преступление. Так, в средневековье (особенно в последней части его упадка), а иногда и в современных Соединенных Штатах, человека сжигают на костре. Но есть и другие условия, при которых общество с величайшим ужасом отвергает такое наказание. Безопасность настолько хорошо обеспечена, убежденность в том или ином настолько менее тверда, опасность со стороны преступника настолько менее угрожающая, что идея такой крайней агонии вызывает отвращение у всех людей. Тогда сжигать человека неправильно, потому что это ненужно и нежелательно. Но давайте предположим, что юристы настаивают на формуле, упорные по привычке и разгневанные упорством оппозиции, говоря, что то, что было, должно быть; и что происходит? Парламент Страсбурга приговаривает человека к сожжению, в то время как Генеральные штаты фактически заседают в 1789 году!

Возьмем еще раз пример земли. Было время, когда отношения между господином и крепостным удовлетворяли сердце. Деревня была кооперативным сообществом: ей нужен был защитник и глава. Даже когда такая потребность не ощущалась, присутствие политического деятеля, за счет регулярного и небольшого налога, естественная привязанность, которую долгая привычка питала к семье и имени, — все это делало отношения не терпимыми, а хорошими. Но когда перемены покорили даже постоянную феодальную единицу, и крепостной стал владеть отдельно, возделывая свое частное поле; когда политическое положение феодала исчезло, а личные связи были полностью забыты — тогда налог стал глупостью. Он больше не был символом владения, удобно выделенного прямо из кукурузного поля из примитивной группы семей; он стал произвольным сбором, взимаемым в самое неудобное время, нарушающим рынок и урожай и ложащимся на плечи мелкого фермера, который с трудом обрабатывал свой участок земли.

Трудно объяснить английским читателям, до какой степени этот удушающий консерватизм был доведен на континенте. Конституция Англии и привычки ее юристов и политиков, несмотря на все их недостатки, по-прежнему были самыми гибкими в Европе. Даже Питт мог поправлять представительную систему, а отвратительный уголовный кодекс можно было смягчить, не нарушая всю систему английского уголовного права. И по сей день мы наблюдаем в Англии самые фундаментальные изменения, введенные, так сказать, в без сопротивления среду: свидетельством тому являются те миниатюрные революции, такие как подоходный налог и ответственность работодателей, которые проходят так тихо, но приносят такие неизмеримые результаты.

При написании о революции для английских читателей всегда было сложно, что в Англии тенденция к реформам, хотя и сильная, не была непреодолимой. Это было желанием, но не необходимостью, и это из-за только что упомянутого качества, отсутствия формы и определения в английской конституции и правовой традиции.

Но если мы углубимся в эту тему, то увидим еще одну причину. Ничто так не притупляет здравый смысл законодателя или юриста, ничто так не отделяет его от общего настроения своего времени, как различие между классами. Когда человек не может часто встречаться и сочувствовать всем людям вокруг него, тогда государство теряет однородность; общее настроение остается невыраженным, потому что у него нет общего органа выражения, и в законах и судебных решениях вы получаете не живое движение граждан, а мертвые традиции немногих.

Теперь, в силу своеобразного поворота истории, стратификация общества, которая является столь естественным результатом старой цивилизации, была менее заметна в Англии, чем в других странах Европы. Современное общество континента не более однородно по сравнению с современной Англией, чем общество Англии сто лет назад по сравнению с тогдашним обществом континента; и любой английский путешественник, достаточно мудрый, чтобы заметить в наше время универсальный тип гражданина во Франции, испытает нечто похожее на зависть, которую испытывали французы, когда они замечали прочную Англию XVIII века. Там великие юристы иногда выходили из народа; там целая масса мелких землевладельцев или капиталистов — возможно, половина населения — поддерживала равновесие в государстве, и там изменчивая политическая система, несмотря на всю свою коррумпированность, могла найти место для молодого буржуа Вольфа, чтобы победить великого джентльмена Монкальма.

Но в то время как в Англии реформа была возможна (хотя, возможно, она была фатально неадекватной), в остальной Европе она была безнадежной. Везде должны были существовать органы власти, и на континенте их уже нельзя было изменить, ни в лучшую, ни в худшую сторону: они застыли в своей старости и должны были быть заменены. А чтобы заменить основные органы власти, создать совершенно новые законы и обеспечить совершенно новый механизм — все это означало бы насильственную революцию.

Невозможно было реформировать такой орган, как Шатле, или заменить серией законов или решений такую массу, как местные обычаи. Даже радикальное изменение системы налогообложения не сделало бы дворянство терпимым; никакая личная энергия и никакие выдающиеся советники не могли спасти короля, окруженного массой этикета в Версале. Эти многочисленные симптомы летаргии, охватившей европейское общество, и даже сама болезнь могли бы быть сметены серией резких энергичных реформ. Действительно, о некоторых из этих реформ говорили, и несколько из них были фактически начаты в болтливых дворах Берлина и Санкт-Петербурга. Такие реформы заслуживали бы и получили бы название « » Революции, но они могли бы пройти без сопутствующих им чрезмерностей, которые задержали свободы Европы со всех сторон. Мы бы говорили о старом режиме и о революции так же, как сейчас, но эти слова вызвали бы в воображении борьбу между старыми парламентами и молодыми юристами, между изношенными обычаями и новыми кодексами, между королями этикета и королями оригинальности, между сном и новой наукой; XVIII и XIX века были бы соединены каким-то любопытным мостом, а не разделены бездной.

В действительности слово «революция» вызывает в памяти сцены, почти столь же жестокие, как те, что ознаменовали переход Рима от республики к империи. Мы помним не имя Кондорсе, а имя Марата: вместо разделенной Европы и сложной борьбы, которая (по аналогии с Реформацией) должна была сопровождать движение, к которому симпатии были разделены так равномерно, вместо серии долгих, беспорядочных кампаний, вы имеете насильственный удар битвы между французами и всеми правительствами Европы; вы видите, как мир объявляет народ вне закона; вы видите, как прямым следствием такого давления становится создание очага, из крайней жары которого истекает завоевательная энергия Наполеона. В первые четыре года войны наносятся ужасные и неожиданные удары, и в 1796 году появляется предзнаменование — меч, который не сломался, пока не срубил и не убил старое западное общество.

Ко всем этим событиям, вытекающим из формы, которую приняла революция, следует добавить еще одно, и самое важное. Удар был настолько сильным, что все старые узы

разорвались. Я имею в виду постоянные вещи, которые держат общество вместе, а не мертвые реликвии, которые в любом случае исчезли бы.

Многие великие изменения прошли по Европе и оставили основы нетронутыми; революция, которая могла бы так легко перекроить форму общества, сделала больше и, возможно, хуже: она перестроила его с нуля. Сколько бесспорных догм вдруг вышло на свет божий! Вся наша современная нерешительность, наши запутанные философии, наши бесчисленные сомнения проистекают из этого взволнования глубин. Является ли собственность правом? Могут ли люди владеть землей? Священен ли брак? Имеем ли мы обязанности перед государством, перед семьей? Все эти вопросы начинают подниматься. Немецкий поляк отрицал последовательность причин и следствий. Иногда человек внезапно встает и спрашивает: «Есть ли Бог?» Для развлечения потомков не осталось ничего в запасе.

Что ж, это беспрецедентное насилие, которое, как ветер над Красным морем, на мгновение обнажило то, что веками оставалось скрытым, — эта двадцатилетняя война и ее результаты были обусловлены тем, что революция, которая могла начаться в иной форме почти в любом европейском центре, фактически началась во Франции.

То, что Франция была проводником реформы, является главным условием всей истории, поскольку именно ее централизация сделала изменения такими быстрыми и эффективными, ее темперамент сформировал абстрактные формулы, которые могли распространяться как религия, ее политическое положение в Европе привело к крестовому походу против нее; и эта война, в свою очередь (воздействуя на Париж, который руководил и управлял нацией), привела ко всем дальнейшим последствиям Революции, от Террора до Ватерлоо.

Давайте рассмотрим условия революции как чисто французское явление, посмотрим, что привело к ее началу, что определяло ее ход, что дало Парижу его положение, что привело к войнам и террору.

Во-первых, причины революционного движения во Франции. Их было две: во-первых, непосредственная материальная необходимость реформ, которая совпала с революционным периодом; во-вторых, философия, пронизывавшая общество на протяжении целого поколения и которая, как только были предприняты изменения, направляла и контролировала развитие этих изменений.

Что касается материальных обстоятельств, которые привели к столь неотложной необходимости реформ, то их можно сформулировать следующим образом: государственный аппарат, который становился все более и более неэффективным, в конце концов развалился; и этот провал был ускорен серией стихийных бедствий, наиболее заметным из которых были два года подряд нехватки продовольствия.

Почему же только Франция оказалась в таком плачевном состоянии? Почему она была практически банкротом, ее флот быстро приходил в упадок, ее армия была плохо одета, плохо питалась и не получала жалованье? Почему Артур Янг, наблюдательный, честный и некомпетентный, смог совершить свое путешествие по Франции (в котором масса точных деталей уравнивается столь поразительным неправильным представлением о французском обществе^[4]) и в своей книге описать землю, которая перестала возделываться, крестьян, питающихся травой, разрушающиеся дома, непроходимые дороги? Ответ кроется в тех самых причинах, которые привели к былому величию страны. Потому что Франция была единственной в Европе огромной централизованной страной — качеством, которое сделало великим правление Людовика XIV; потому что централизация не

могла продолжать функционировать в условиях старого режима — условие, которое привело к резкому краху 1788 и 1789 годов.

Правительство Франции в веке, предшествовавшем революции, можно сравнить с огромной машиной, сконструированной с поразительным мастерством из разрозненных частей более мелких двигателей; машиной, конструктор которой преследовал единственную цель — управление всеми механизмами с помощью одного рычага в руках одного человека. Но (продолжая метафору из «») материалы, которыми он был ограничен в своих усилиях, не позволяли добиться простоты; детали ремонтировались с трудом, а иногда и вовсе не ремонтировались; чистка и смазка подшипников были заброшены по необходимости из-за их расположения; и после двух поколений работы машина перестала функционировать. Она была забита со всех сторон и заржавела — по-прежнему зависящая от одного рычага, но неспособная к движению.

Франция превратилась в деспотию, но деспотию, которой не хватало организации; все было сосредоточено в руках короля, в результате чего никто, кроме него, не мог действовать, и все же, когда он пытался действовать, органы действия были бесполезны. Все было сделано зависимым от одного источника, но все каналы были заблокированы.

При изучении Революции чрезвычайно важно понимать следующий факт: почти все сферы национальной жизни были здоровыми, за исключением одной высшей функции правительства. Я не имею в виду, что Франция и мир не нуждались в новых идеях, или что материальные изменения в форме исполнительной власти были бы достаточными для общества. Но я имею в виду, что, более чем обычно в период кризиса, *политические* действия были высшей необходимостью того момента.

Капитал был распределен неравномерно, но, по крайней мере, он не был централизован, как в наших современных индустриальных обществах. Все люди были собственниками; крестьяне жили в невыразимой нищете, но их бедственное положение было результатом не «экономического закона», а гораздо более осязаемой вещи — плохого управления. Граждане были апатичны, но потенциально они были энергичны и бдительны. Если они ничего не знали о присяжных или публичных дискуссиях, то это было следствием угнетающей системы, а не результатом действий людей, создавших или даже допустивших эту систему. Одним словом, пороки или несчастья Франции не были связаны с характером социальной системы или национальным характером. Их следует искать в искусственном центре — правительстве.

Из всех правительств чистый деспотизм может наиболее быстро проводить реформы. В России крепостные были освобождены, евреи изгнаны одним росчерком пера; в Индии можно увидеть, как великие финансовые эксперименты, великие военные группировки возникают почти одновременно с решением, которое их создает. Почему центральное правительство не смогло спасти Францию? Потому что со всех сторон его действия были парализованы мертвыми вещами, которые оно выдавало за живые; потому что по всей провинции и городам лежали трупы того, что когда-то было местными учреждениями, и потому что корона не только не устранила их, но и оставила им привилегии, которые когда-то были вознаграждением за их деятельность, но теперь стали своего рода взяткой за бездействие.

Как это произошло? Как сформировалось правительство, которое провозглашало централизацию и деспотизм, но при этом тщательно сохраняло окаменелости местной администрации?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть исходный материал, из которого состояло французское общество, и влияния, которые изменили, но не уничтожили этот материал в течение средневековья. Можно сказать, что французы, как и все другие национальные группы в Западной Европе, отличались от просто руин Империи в тот мрачный период, который последовал за смертью Карла Великого; до этой эпохи сохранялась некоторая тень единства, и, безусловно, силы, противодействующие единству, еще не начали приобретать национальный характер. Римский порядок, который оставался общепринятым идеалом на протяжении пятисот лет, под Карлом Великим приобретает определенную субстанцию и реальность, столь же мистическую и странную, столь же полную приближающейся гибели и в то же время столь же реальную, как мгновенное воскресение из мертвых. Он заканчивается с окончанием его правления, и наступает то, что доктор Стаббс удачно назвал «тьмой девятого века».

Северные пираты нападают на север и запад и отрезают острова от материка, создавая в Англии барьер от датских вторжений, за которым англосаксонская история становится неясной; они уничтожают обычаи и даже религию прибрежных районов континента. Венгры, безусловно, и, вероятно, языческие славяне Прибалтики проникают в германские племена. Сарацины удерживают Средиземноморье. Общество возвращается к своим конечным единицам; во всей этой механической дезинтеграции молекулы, из которых оно состоит, остаются на месте. Сельская община, самодостаточная, замкнутая, в одиночку сохраняет организацию и жизнь.

Более века висело на волоске, сохранится ли римская традиция или же наша цивилизация погрузится в варварство, которое, по-видимому, было уделом других, почти столь же сильных систем. В Европе возникло новое явление, которое больше, чем любой другой фактор, было предназначено отклонить течение латинской традиции. Когда свет начал пробиваться сквозь эту тьму, почти в каждой деревне обнаружился маленький король. Те люди, которые в старые времена обладали властью, местные чиновники, крупные землевладельцы, военачальники великих армий, вышли из катаклизма, слившись в один новый класс — дворянство; и с появлением этой касты, с личными эмоциями и сильным местным чувством, которое развила их система, Европа стала феодальным обществом. Но в этом обществе был еще один элемент, которому суждено было контролировать и в конце концов разрушить феодализм. Как ни странно, этот период, который погрузил Европу в такую анархию, породил идею, прямо противоположную такому характеру. Начинают возникать национальности. Короли — слабые тени — дворяне, часто обладавшие небольшой властью, но уже не являвшиеся просто лидерами армий, стали символами местных единиц, отделенных от империи. Они олицетворяли нацию, вокруг которой собирался патриотизм, который вы обнаружите в старых эпосах.

Франция, пожалуй, больше, чем любая из новых государств, иллюстрирует все это. Небольшой слабый король, некий Капет, был избран из числа дворян в конце X века, и семья, которая в конечном итоге рухнула под тяжестью своего огромного бремени, происходила от него по прямой линии от отца к сыну на протяжении более восьмисот лет.

В первые годы того века крестовых походов, который стал энергичным началом жизни, которая должна была породить нашу Европу, было сделано открытие, которое было

предназначено помочь этому новому королевству принять совершенно иную форму. В добыче Амальфи, в мелкой войне, был вновь обнаружен Римский кодекс законов.

Он оказал такое влияние, какое можно было представить в варварском обществе, которое наконец пробудили норманны и Хильдебранд. Он внезапно дал текст и точное руководство для тех великолепных, но смутных воспоминаний об имперском порядке и цивилизации.

Повсюду возникают университеты; из Болоньи выходит корпорация юристов, изучающих кодекс, людей, чьи решения были окончательными, которые руководили средневековым обществом так же, как ученые руководят нашим сегодня; и повсюду они стремились к двум основам римской идеи — абсолютной суверенности в случае государства, абсолютной собственности в случае индивидуума.

Логическим завершением такого движения должна была стать империя — все граждане равны перед законом, феодальная система разрушена, церковь подчиняется государству, воля принца верховна. Но в Европе, помимо юристов, существовало еще сотня других элементов, хотя юристы и были самой постоянной и активной силой ее цивилизации. Феодальная единица была сильна; есть места, где она сохранилась до сих пор[5]. Аристократия была сильна. В Польше и Англии она в конце концов победила корону и римское право. Церковь, подверженная влиянию новых идей, все еще сохраняла множество аномальных обычаев и институтов, сформировавшихся после падения империи.

В условиях анархии темных веков сформировалась структура интенсивных местных различий; деревня, гильдия, капитул — каждая из этих структур имела свои особые обычаи, родившиеся в условиях изоляции. Наконец, дух вторичных национальностей был силен во многих местах; в частности, среди немцев он победил все другие тенденции.

Теперь Франция была особенно благоприятна для роста влияния этого закона; она была очень римской по традиции и по традиции имперской. Карл Великий оставил свою одежду Германии, но свой дух — Галлии. Субнациональности, Прованс, Нормандия, Гасконь, несмотря на свой местный патриотизм, имели эпосы, в которых они напевали «Doulce France Terre Majeure». Но хотя национальные силы в целом склонялись к юристам и короне, путь, по которому можно было достичь абсолютной централизации, был извилистым и должен был быть тщательно выбран. Аристократы постепенно лишаются политической власти, но их привилегии остаются; крестьяне постепенно приобретают землю, но многие феодальные сборы ложатся на владение, которое утратило всякое феодальное значение. Церковь становится собственностью короля, но продолжает управлять своими обширными владениями: до последнего корона действует (или пытается действовать) через местную организацию, которая когда-то была верховной и быстро умирает.

Можно сравнить продвижение Капетингов к абсолютной власти с действиями джентльмена, который приобретает поместье ценой постоянных взяток и оказывается парализованным, когда наконец достигает успеха.

В конце концов, сами юристы становятся бесплодными в общем упадке, который создала их политика. Даже корона на практике наполовину союзница привилегированных органов, а в целом союзница по духу; правительство, которое на протяжении веков создавало и поддерживало народ, теперь оказалось вдали от него, а источник его власти был отрезан.

Я приведу всего пару примеров, чтобы проиллюстрировать централизацию и сопровождавшую ее безнадежную путаницу. Первый пример взят из Де Токвиля. Деревня недалеко от Парижа хотела повысить небольшой местный налог, чтобы отремонтировать

церковную башню. Они не могли этого сделать, не обратившись в Версаль. Разрешение было дано через два года, но башня уже обрушилась. Второй пример взят из записей о выборах 1789 года. В бальяже Шампани обнаружилось, что никто точно не знает границ округа, что соседний бальяж находится в таком же неведении, и в конце концов была проведена произвольная граница. Это один из десятков подобных случаев. Население Парижа было неизвестно; число избирателей в каждом округе было неопределенным.

Такова была Франция, в которой были необходимы реформы. Земля, из-за постоянного и неверно направленного вмешательства в обмен, переставала обрабатываться — или, скорее (поскольку даже в самых тяжелых случаях депрессии этот симптом встречается редко), с течением времени давала все меньше урожая.

Классы, на которые было разделено общество, были разделены этикетом, строгим как религия, и хотя это явление исчезло, фразы, которые его описывали, остаются актуальными и по сей день и постоянно приводят к серьезным заблуждениям. Франция, где один француз стал так похож на другого, по-прежнему позволяет своей литературе следовать некоторым старым канонам.

В связи с Революцией следует особо отметить пять больших групп — крестьяне, ремесленники, средний класс, профессионалы, дворянство; и наряду с ними — отдельное явление, Церковь, резко разделенная на высшее и низшее духовенство. Позвольте мне, рискуя отклониться от темы, подробнее остановиться на этих различных группах.

Крестьяне составляли большинство населения страны, как и сегодня. По приблизительным подсчетам, из примерно пяти миллионов глав семейств по крайней мере три с половиной принадлежали к этому классу. Какими они были? Они были более невежественными, более боязливыми и более несчастными, чем когда-либо были жители французской земли. Я считаю, что не будет преувеличением сказать, что даже самые страшные варварские нашествия не принесли им такого особого и интенсивного страдания, как развал государственной машины в XVIII веке. Их песни умолкли. Изучите фольклор Франции, и вы обнаружите своего рода пробел после завершения централизации и после того, как лорды покинули их — после XVII века. Как будто самый древний признак общинной жизни, традиции и истории маленького круга деревни, умерли незадолго до самой смерти деревни. Что касается религии, с которой так тесно связана вся эта естественная и плодотворная любовь к легендам, то она еще сохранялась, но едва ли. Священник все еще выживал, но его деятельность была ограничена нищетой; в некоторых местах крайние материальные нужды крестьян, с которыми он делил свою судьбу, вступили в его жизнь в невыносимой степени, что привело к полуязычеству. Двадцать, тридцать фунтов в год — это недостаточно для безбрачного священника, обладающего сакраментальной властью в деревне. Я покажу вам в сельских коммунах Франции церковь за церковью, часть зданий которых очень старая, а часть очень новая: и в чем причина? В том, что во всех этих местах церковь пришла в упадок, пока новое государство не пришло, чтобы восстановить ее. Вы можете обнаружить много случаев реставрации в восемнадцатом веке, когда великий собор или знаменитая церковь или аббатство были обновлены: это дело рук высшего духовенства и раздача из их огромных состояний. В деревнях такие случаи редки и экзотичны. Революция, несмотря на всю свою враждебность, дала вере новую жизнь. Сегодня есть больше монастырей и женских монастырей, больше духовенства, как регулярного, так и светского, гораздо больше миссионеров, чем было в 1789 году, но епископов стало меньше.

Крестьянин владел землей, своим домом и несколькими акрами рядом; он покупал ее на протяжении поколений, и изменение закона, когда феодальные права арендатора превратились в права собственности, было в его пользу. Но это право собственности на землю, основа его будущего гражданства, на данный момент было для него проклятием. Оно делало его независимым человеком, в то время как он по-прежнему должен был платить дань своей феодальной зависимости. А независимость работает в обе стороны. Он стоял, невежественный и крайне бедный, лицом к лицу с всемогущим государством. Его естественная опора и проводник покинули деревню и уехали ко двору; господин был не более чем именем, означавшим бесконечные неприятности и местные поборы. Симптом, предшествующий смерти, проявился в пахаре и виноградарше. Он потерял дух; он был слишком утомлен и измучен, чтобы работать; тяжелое бремя государства, его налоги, его глупости накопились на его плечах и согнули их так низко, что он больше не мог энергично вскапывать землю для урожая.

Такие люди не делали революцию; они были инертной массой, на которую она воздействовала. Они не пели боевых песен; они не понимали смысла вторжений. Ни один крестьянин не отмечал собрания с чувством или хитростью полей, в большом хоре не было слышно звуков диалекта, и, читая о революции, вы постоянно чувствуете отсутствие чего-то, тесно связанного с природой, потому что самый французский из всех французов забыл, как говорить.

Революция создала их; и по сей день наследники Республики удивляются крестьянину в его воскресении. От него исходит юмор, веселье, мужественность; именно его присутствие в избирательном праве критикует и смягчает грубость политических формул. Он воссоздал множество песен, он превратил всю Францию в своего рода огороженный сад; под политиками и вопреки им он работает над тем, что необходимо, чтобы придать плоть сухим костям революции, — я имею в виду примирение Республики и Церкви.

Что касается ремесленников, то они играют в истории движения второстепенную, но интересную роль. Ремесленники (в том смысле, в котором я использую этот термин) встречались только в крупных городах. По крайней мере, ремесленники за пределами этих центров должны считаться частью крестьянства, поскольку их дух был духом деревни. Эти городские ремесленники не составляли большого процента населения страны. Возможно, полмиллиона семей — может быть, чуть больше. Но их концентрация, тот факт, что они могли собираться сотнями и слушать ораторов, тот факт, что только они, в силу своего положения, могли образовывать *толпы*, — все это было причиной их особого влияния на революционное движение.

Как и крестьяне, *ouvrier* практически не влияют на политику. Если не считать Эбера, который был бродячим билетером, среди рабочих городов практически нет никого известного. Но совместные усилия этого класса были велики и заключались в следующем: он предоставил партии восстания разъяренную и готовую к бою армию улиц; он был способен на почти безграничные глупости и насилие; он был также способен к концентрации и совместным действиям. Он заполнял трибуны клубов и не раз терроризировал парламент. Она была патриотичной, но ужасно подозрительной; и во всем, что она делала, главной ошибкой было отсутствие, или, скорее, неприятие, отсрочки, самокритики и самоконтроля: господствующей страстью был гнев, а мотивом этого гнева — частичная информация, крайне ложное представление о политическом движении, которое она была готова увидеть в каждой произнесенной речи.

Я попробую объяснить, почему этот характер, худший и самый опасный в тот период, сформировался в рабочем классе городов. Во-первых, промышленная система сама по себе губительна для французского характера. Она не вписывается в традиции нации; она противоречит тенденциям, которые может обнаружить в них даже самый поверхностный наблюдатель. Француз экономит и инвестирует небольшие суммы, любит работать своими инструментами, не терпит начальников, за исключением тех, кто находится с ним в каких-то домашних отношениях, привязан к семейной жизни и, прежде всего, не является хорошим специалистом: «Il veut rester homme» (Он хочет оставаться человеком). Среди них слишком много художников и слишком мало машин.

Возможно, что дешевое распределение власти или какие-то другие экономические изменения восстановят положение мелких капиталистов; до тех пор, несмотря на всю свою трудолюбивость, французский рабочий будет находиться в невыгодном положении. В больших городах, на фабриках, под центральным контролем, не имеющим политической основы, отрезанный от полей, по которым он, как крестьянин, всегда тоскует, он похож на хорошее вино, которое скисло.

Во-вторых, система старого режима породила аристократию труда, которую сегодня требуют многие реформаторы в Англии. Средневековые ограничения, которые когда-то применялись ко всем рабочим и были призваны ограничить конкуренцию между людьми, все из которых были заняты, сохранились в 1789 году в виде гильдий и компаний, строго защищаемых законом, с фиксированным рабочим временем, фиксированной заработной платой — всеми видами барьеров, исключая менее удачливых ремесленников. Система, которая при Св. Людовике сделала жизнь более безопасной для всех, при его « » потомках разделила рабочих на два класса: переплачиваемых и недоплачиваемых, причем число последних увеличивалось.

В-третьих, недавний торговый договор с Англией оказался крайне невыгодным для французского производства, и во всех крупных городах, особенно в Париже, тысячи людей остались без работы.

В-четвертых, общий дефицит сельскохозяйственной продукции самым тяжелым образом ударил по *ouvrier*, даже если он был занят с хорошей заработной платой.

Между полями и городом взимались налоги, феодальные сборы, провинциальные пограничные пошлины, и, наконец, окторой, уплачиваемый у городских ворот. Такой нелепый метод постоянного ущемления обмена не мог не отразиться на производстве, и даже когда урожай был богатым, хлеб в крупных городах был дорогим. Даже когда эти внутренние налоги не уменьшали объем производства, они повышали цены в городах.

Наконец, церковь, которая, как мы видели, не имела слишком прочного влияния на сельских жителей, утратила всякую власть над горожанами. Чем это было вызвано? Вероятно, апатией, охватившей богатое высшее духовенство, класс, который естественным образом собирался в городах, особенно в Париже, и чей пример влиял на всех окружающих священников. К этому следует добавить разрушение старой единицы *прихода* в городе. Промышленная система разрушила соседские отношения в столице. Люди редко жили в своих домах, часто меняли жилье, чтобы следовать за своей работой. Нет худшего врага для приходского и домашнего характера нашей религии, чем экономические изменения, от которых мы страдаем. Теперь с Церковью ассоциировалась вся мораль их традиций; без нее они были потеряны. Они не читали философов; Руссо не проник так глубоко. В сущности, они мало заботились о нем или о Сенеке; и, лишенные какого-либо кодекса, они были во власти всякой страсти и всякой неразумности. Осталось только одно: они искренне ненавидели

несправедливость; эгоизм имел очень малое отношение к их гневу; они были способны на восхитительный энтузиазм. У них не было мелких качеств богатых, и они также избегали их пороков. Им присуща одна великая добродетель: они не делали ничего в ущерб чести страны; их не покупали ни реакционеры, ни иностранцы; они были патриотами, несмотря на все свои ошибки.

К этим чертам характера, которые они привнесли в революцию, следует добавить еще одно стечение обстоятельств. Они лишились избирательных прав. Как мы увидим позже, конституция 1790 года, основанная на очень здравом принципе представительства только тех, кто поддерживал государство, не предусматривала (как следовало бы) распространение этой поддержки на всех. Она давала право голоса большей части французов — более четырех миллионов вошли в ряды «активных граждан», — но лишала права голоса именно тот класс, который сидел на трибунах парламента или бежал на площадь Грев. Рабочий, живший в съемных комнатах или квартирах, часто менявший место жительства, редко платил прямые налоги; поэтому только он лишился права голоса, которым обладал практически каждый крестьянин. Это стечение обстоятельств (оно не было запланировано) имело два последствия. Оно усилило недовольство парижских рабочих, но также помешало их движениям принять политическую форму. До самого конца инициатива оставалась в руках других.

Этими другими были три оставшиеся группы — средний класс, профессионалы и дворяне.

Было бы ошибкой проводить слишком жесткие и четкие границы между этими классами. В телеге, которая везла дантонистов на гильотину, находились представители всех трех классов. Тем не менее, для истории революционного периода полезно различать их.

Буржуазия означала почти все, от мелкого лавочника до успешного адвоката. Не столько профессия человека, сколько его воспитание и домашняя обстановка определяли его принадлежность к этому сословию. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Предположим, что семья торговца бельем (такая, как семья Пристли или Джонсона в Англии) владела несколькими тысячами фунтов. Пусть они отправят сына в адвокаты, и пусть сын преуспеет в этой профессии; что ж, этот человек и его сын, столь разные в своих устремлениях, все равно останутся в классе, который я хочу определить, если только каким-то случаем они не «влились» в один из литературных кружков, с которыми общалась аристократия. И это разделение было бы гораздо более четким, чем в аналогичном случае с « » в Англии. Этот класс буржуазии стоял как великая фаланга в Революции. Ни один из десяти представителей класса, который я пытаюсь описать, не входил в салоны; не было (как в аристократическом государстве) большого желания познакомиться с аристократией. Случайное стечение обстоятельств, известность или дружба могли поднять человека из этого класса, но он покидал его с сожалением.

К этому классу принадлежали Робеспьер, Марат (несмотря на его аристократическое происхождение), Бонапарт[6], сам Дантон, Сантер, Лежандр, Карно, Кутон, Баррер — десятки самых известных имен второго периода революции.

Пивовары, строители, крупные лавочники, множество провинциальных адвокатов — все они по всей Франции, в количестве не менее миллиона избирателей, составляли истинный средний класс, которого нам не хватает в Англии. Обратите также внимание, что они могли подняться до очень значительного положения, не покидая этого сословия. Человек мог быть врачом при дворе, советником короля, судьей, почти кем угодно, кроме полковника полка, и при этом оставаться буржуа, как и его сын после него. В мемуарах прошлого века вы постоянно встретите выражение отвращения высшего класса к классу, стоящему чуть ниже

них; это классовое чувство против буржуазии, их выбор слов, их ограничения в отношении состояния, их немодные добродетели. Эти люди часто были образованными; среди юристов они были избранными Франции; они обладали высокой культурой, хорошими манерами, в случае отдельных личностей — остроумием, а иногда и гениальностью, но они не были дворянами и не желали, чтобы их считали таковыми.

Однако среди тех, кто технически был буржуазией, не имел герба и не получал феодальных пошлин, некоторые практически случайно, благодаря связям (), перешли в высший класс. Они постоянно встречались в каком-нибудь салоне, библиотеке или научном обществе с членами привилегированного сословия; их одежда, манеры и представления соответствовали либеральной аристократии. Таких людей, очень немногочисленных и очень влиятельных, я бы назвал профессионалами. Этот класс будет полным, если добавить к нему многие знатные имена, которые занимали видное место в науке или искусстве. Он пополнялся представителями старинных юридических семей, финансистами. Они были вежливыми, богатыми, часто необычайно узколобыми. К такому типу относились маркиз де Кондорсе, Бэйи, Сьес; даже Ролан можно было бы отнести к ним, хотя он едва ли занимал столь высокое положение. Это были теоретические мыслители Революции, не имевшие практических претензий, не знавшие толпы, презиравшие и не понимавшие буржуазию (за исключением своих политических речей); они были ораторами нового режима и погибли вместе с жирондистами.

Что касается дворянства (которое частично пересекалось с последними, но все же было таким отличным классом), то оно составляло группу, которой эта книга вряд ли будет заниматься, и о которой я упомяну лишь вскользь. В очень большом количестве, в основном отнюдь не богатые (хотя некоторые, конечно, были величайшими миллионерами своего времени), они определялись скорее юридическим статусом, чем особым образом жизни.

Благородным считался тот, кого король возвысил в дворянское сословие или кто мог доказать свое происхождение от феодальных владельцев поместий^[7]. Фамилия никогда не упоминалась, только название территории, предваряемое «де». У них было еще одно общее: все эти тысячи и тысячи семей были в родстве с высшим слоем общества, составлявшим придворную аристократию. Это родство признавалось; оно давало им право служить в армии, право быть убитыми на дуэли и, прежде всего, освобождало их от налогов. Оно делало их, куда бы они ни пошли, особым классом, которым почитались глупцы и который мог раздражать своих врагов одним лишь своим существованием — привилегия, имевшая определенную ценность. Они держались вместе в разгар реформ, и только из высшей части дворянства вышли дезертиры — Мирабо, Лафайет и Де Сешель. Большинство из них были бедны и, следовательно, решительно настроены в вопросе привилегий и феодальных прав, которые давали им их мизерное существование. Этот класс был богаче буржуазии, но многие семьи в нем не имели капитала буржуазного домохозяйства, и многие бедные дамы сегодня хвастаются семейными поместьями, потерянными во время Революции, чьи предки не имели никаких поместий, а только несколько десятины и шанс на долю добычи, которую можно было получить при дворе.

Теперь всем им, без исключения, реформа казалась необходимой; только когда революция была в самом разгаре, появилось сопротивление со стороны отдельных групп. Крестьяне жили в нищете, ремесленники были разгневаны, а средний класс, обладая тем чувством, которое Сьес выразил фразой: «Qu'est-ce que le Tiers État? — Rien» («Что такое третье сословие? — Ничто»), был полон решимости довести дело до конца: «Que doit-il être? — Tout»

(«Чем оно должно быть? — Всем»). К этому общему хору требований профессионалы добавили сильную убежденность (в абстрактном смысле) в пользу самоуправления и необходимости устранения вмешательства государства. Дворянство как класс не ожидало ничего особенного, но не было против созыва парламента; оно также страдало от крайней сложности, или, скорее, анархии, в которую погрузилась страна. Талантливые люди видели, как их карьера рушится из-за придворных интриг; набожные люди были оскорблены видом голодающих священников, живущих бок о бок с беззаботными, богатыми и зачастую нерелигиозными членами высшего духовенства. Кроме того, среди дворянства царило странное чувство — заблуждение, которое всегда можно встретить у наиболее щедрых представителей привилегированного класса, — а именно, что каким-то загадочным образом их особые права могут быть отменены, и они не пострадают от этого, как будто существует некая огромная сумма в резерве, к которой государство может просто приложить руку и помочь бедным, не облагая налогом богатых. Эта ошибка была распространена как в моральном, так и в материальном плане, и Лафайет, человек, созданный привилегиями, думал, что когда привилегии будут отменены, его врожденные добродетели поднимут его на первое место.

Ко всему этому ожиданию и немедленному требованию реформ добавилось непреодолимое обстоятельство, которое сделало парламент необходимым. Проявился главный симптом упадка — доходы больше не могли быть увеличены. К счастью для Франции, в прошлом веке не существовало таких международных финансов, как в настоящее время, и не было рокового соблазна внешнего долга. С населением, составлявшим менее двух третей от сегодняшнего, страна не смогла собрать и одной двадцатой от того, что она сейчас платит с легкостью. Долг рос с ужасающей быстротой, и поскольку все методы централизованной рутины провалились, пришлось прибегнуть к последнему средству, и нацию попросили проголосовать за налог. С обещаниями исправления положения, с пониманием того, что Ассамблея должна была провести реформы во всех областях, с особым требованием представить список жалоб, но особенно с учетом необходимости доходов, Генеральные штаты были созваны впервые за сто семьдесят пять лет.

Такова была ситуация, предшествовавшая Революции. Мы видели отношение различных социальных классов и материальную необходимость, которая подготовила реформу. Какие же идеи должны были ей руководить? Какая теория двигал людьми, собравшимися в Версале? Какую форму придаст национальный характер готовящимся изменениям?

Здесь необходимо выдвинуть парадокс. Французский характер, который так часто (и вполне справедливо) критикуют после революции за чрезмерный идеализм, одновременно обладает страстью к позитивному, объективному и определенному. В одном и том же человеке из « » вы всегда найдете какую-то идею, которая толкает его к крайностям, и в обычных делах жизни — самое точное чувство реальности, а иногда даже раздражающую точность в деталях. Они не единственные, кто обнаруживает антитезу в национальном характере; в Англии, Германии или Северной Италии можно было бы показать две, казалось бы, противоположные характеристики, объединенные в одном и том же гражданском типе. Но, пожалуй, ближайший аналог французских контрастов у нас дома можно увидеть в шотландском народе; как и французы, это нация независимых, бережливых людей, постоянно вкладывающих небольшие суммы, ревностно относящихся к пенсам; с другой стороны, как и французы, они любят абстрактные проблемы; они привязываются к какой-то идее и держатся за нее до мученичества.

Каков был результат этих двух тенденций? В некоторых характерах они уравнивали друг друга. В качестве примера приходит на ум Кондорсе. Но, как и в других народах, эти два

аспекта Франции проявились (у подавляющего большинства ее граждан) в крайней степени, что соответствовало крайней опасности и крайним надеждам в момент кризиса.

Я не имею в виду, что во Франции существовали две фракции, одна из которых состояла из мечтателей, а другая — из практиков; я имею в виду, что на протяжении всей революции цель и метод ее достижения отражали эту двойственную природу. Рассмотрим декреты и их последствия. Глядя на то, что пытались сделать Ассамблеи с 1789 по 1795 год, можно сказать: «Группа людей, пытающихся построить город мечты»; нет ничего настолько неестественного, чтобы они не попытались это сделать; они готовы перестроить все с нуля. Самый бурный период, 1794 год, — это не что иное, как попытка заставить всех людей следовать гражданской добродетели и верить в необходимые вещи; самый здравомыслящий, 1791 год, — это все же попытка реализовать в государстве равенство и справедливость, которые могут существовать только в душе.

Но если вы обратите внимание на их методы и степень их успеха, то у вас сложится совсем другое представление. Они преуспели сверх всякой надежды. За несколько месяцев они нанесли удары, которые перекроили всю Францию. Централизация, созданная практической стороной характера, была использована для преобразования Франции так быстро, как если бы нация была домохозяйством; и они не только нашли средства для этого, но, когда возникла необходимость, внезапно собрали армии в триста тысяч, в миллион человек; они нашли продовольствие где-то среди голодающего народа и добились успеха.

Итак, когда нация была готова к действию в такой степени, какова была теория, которую ее идеализм собирался принять? Среди дворянства и буржуазии проникло нечто большее, чем философия. Это был не только набор фраз XVIII века о Разуме, Природе и Праве, но и все эти вещи, превратившиеся в религию. Апостольские качества Руссо тронули умы Франции.

Сейчас модно преуменьшать значение этого человека. Что-то в нем раздражает наш успешный и энергичный век, и все же без него наш век не принял бы той формы, которую он имеет. Нет нужды вспоминать о движении, которое предшествовало ему и окружало его. Он лишь завершил теорию общественного договора; он едва ли сделал больше, чем повторил выводы рационалистов; в вопросах экономики он был совершенно невежественен; он постоянно впадал в ошибку поверхностности, когда речь шла об истории или о деталях институтов. Проживая в Англии, он воображал, что ее народ представлен; писая свою знаменитую работу в Нунхэм-Кортни, он не мог понять, что сквайр был всем в этой маленькой деревне. Он имел все недостатки слабости; он вызвал на себя преследование, на которое у него не хватило ни ума, чтобы ответить, ни сил, чтобы выдержать. Что же тогда сделало его таким пророком? В первую очередь, сила слов. Все его критики в этой стране (за исключением, пожалуй, г-на Морли) не смогли оценить, насколько велика была эта сила. Посмотрите, что сделал в Англии якобинский перевод Библии; обратите внимание на то, что чистая риторика Берка, исходящая исключительно из страсти и не затронутая никаким движением разума, произвела в Англии в течение года после падения Бастилии: именно это сделал Руссо во Франции. Но не только это. Если он обладал силой слова, то он также в чрезвычайной степени обладал другим качеством, которое заключается не в стиле, а в структуре ума. Он мог писать в чистом абстрактном стиле и создавать ясные изложения, выведенные из нерушимой цепочки некоторых фундаментальных догм. Он никогда не допускает ошибки « », предполагая, что его первоосновы опираются на разум; он постулирует веру. Он позволяет этой вере освещать каждое его предложение. Он уверен, что вещи, общие для всех людей, имеют неизмеримое значение; он уверен, что случайности

жизни являются второстепенными. Он уверен, что наше участие во всей природе является условием счастья и добра; он уверен, что сложность жизни, которая отделяет нас от Природы, является злом, и Франции, измученной возрастом, он предлагает эту простую воду молодости: она должна вернуться к первоначальным условиям маленькой деревушки, где семьи, собираясь вместе, диктуют законы, где каждый видит себя частью целого и где гармония, к которой стремятся все люди, легко достигается в идеальной демократии, скрытой в счастливых долинах. Бесплезно спорить, что сложность существовала; что Франция не могла одновременно иметь патриотизм двадцати миллионов и институты ста очагов. Все видели эту трудность, и в середине 94 года самые горячие апостолы Руссо пошли на компромисс по главному вопросу, поскольку принцип выборов, который он ненавидел, по необходимости оставался главным методом в их схеме демократии.

Чтобы понять пыл Республики, нужно изучить не препятствия, а движущую силу. И движущей силой была страсть к условиям, в которых человечество прошло через многие эпохи своего попечения, возвращение к доисторическим вещам, деревне и племени, дух которых пронизывал книги, проповедовавшие простоту с такой восхитительной красноречивостью.

Прежде чем перейти к краткому обзору места Дантона в движении, необходимо обсудить еще одну особенность, которая будет иметь первостепенное значение на протяжении всей этой книги. Эта особенность — гегемония Парижа. Именно власть Парижа определила весь ход революции. В этом центре дискуссий и страстей произошли великие достижения и великие промахи революции. Один только Париж сделал 14 июля, почти один только 10 августа, один только и против Франции 2 июня. Многие историки видели в его положении ошибку, которую следовало и можно было избежать. С момента Мирабо до наших дней французские государственные деятели считают, что за Парижем нужно ревностно следить, манипулировать им, запрещать ему контролировать.

Почему Париж занимает такое положение? Это город-государство, энергичный, сконцентрированный, во многих отношениях центр нашей европейской цивилизации; то, что он должен постоянно оказывать моральное влияние на государство, легко понять, но Париж сделал больше — он завоевал и подчинил себе государство, а Франция постоянно позволяла ему это лидерство.

Я полагаю, что существует точка зрения, с которой этот исторический факт перестает быть случайностью и становится вполне разумным; и если мы примем эту точку зрения, то сможем понять, почему с самого начала он сохранял инициативу и стал и оставался до термидора хозяином Франции.

Население этой страны в основном состоит из крестьян, которых я описал выше. На протяжении веков они были владельцами земли, и по крайней мере две тысячи лет (а может быть, и гораздо дольше) все их социальные, физические и большинство интеллектуальных интересов были сосредоточены в насыщенной, но ограниченной жизни деревенского сообщества. На любом большом участке вы увидите белые дома, сгруппированные вместе, без садов, а между каждой группой — голые обширные коричневые поля, на которых нет ферм. Эти крестьяне имеют в себе замечательную связь с землей; их фразы и пословицы взяты прямо из полей и рек; они так же здоровы, как сама природа. Такова общая масса Франции; но эти бесчисленные деревни, эти энергичные рои людей, работающих под солнцем, нуждаются в связующем звене. Должен быть какой-то конкретный объект, который

придаст истинное единство многим расплывчатым национальным впечатлениям. Что-то должно быть лицом этих миллионов, и через уста этого чего-то они должны слышать формулировку действий, выражение патриотизма, определение закона. От него должен исходить исполнительный орган, и от него ожидаются прямые приказы и управление, благодаря которым в кризисные времена спасается нация.

Этот мозг, необходимый сложному организму, мог бы быть найден в лице верховного жреца или деспота, но мы в Англии бессознательно ищем его в олигархии. Видя отсутствие сквайров, мы думаем, что ничего нет, и делаем печальные выводы, когда замечаем отсутствие во французских деревнях сил, которые оживляют наши собственные. Мы жалуемся на централизацию, которая приводит к атрофии, забывая об олигархии, которая угнетает и унижает низшие классы; и, презирая политическую апатию французской деревенской жизни, мы игнорируем отрицание общества в наших больших городах.

Правда заключается в том, что ни одна определенная система не может избежать сопутствующих ей зол, и что если одна нация не принимает методы, которые оказались успешными в другой, то это потому, что эти методы связаны с инстинктом, а инстинкт нельзя ни научить, ни принять.

Именно инстинкт помешал развитию олигархических институтов во Франции. Все было готово для этого; феодальная система казалась подходящей основой; помещики были семенами того, что должно было стать территориальной аристократией. Они были обречены на провал, и объяснить *почему* невозможно, потому что невозможно объяснить природу; мы можем только чувствовать. Что-то в гении нации способствует равенству с глубиной и тишиной сильного прилива ночью. Это не римское право — оно было у всех народов. Это даже не Церковь — в Церкви есть нечто, что пренебрегает, если не презирает гражданские идеалы. Это не распределение капитала — можно ясно доказать, что это исторический результат, а не причина. Нет, это не внешняя сила, а нечто изнутри, что породило эту страсть, душа (так сказать), формирующая тело. «La France a fait la France».

Если аристократия была невозможна, что оставалось? Окруженные стенами города. Они похожи на булавки, на которые натянуто кружево Франции; дороги соединяют их и образуют сеть, которая поддерживает сельские коммуны. Никогда не удаляясь далеко друг от друга, всегда живя интенсивной собственной жизнью, окруженные стенами города стояли стражами окружающих деревень. Здесь находились собор или аббатство, судьи, колледж. Они давали название району, образуя со своими зависимыми коммунами своего рода маленькое государство. Новости извне концентрировались здесь, и если религиозный или политический энтузиазм распространялся от Русильона до Артуа, то не деревни загорались массово, а города, которые передавали сообщение как маяки.

Поскольку корни этой муниципальной системы находились в Риме, ей нужен был маленький Рим, чтобы увенчать ее. Поскольку все эти города были одного типа, они по необходимости группировались под руководством крупнейшего из своего класса. Эта тенденция была хорошо заметна еще до воссоединения Галлии; та же сила, которая создала великие архиепископства, создает и метрополитное гражданское влияние. Таким образом, Реймс, Лион^[8] и Тулуза выделяются в иерархии как центры провинций — города, очень отличающиеся от, скажем, Кентербери или Личфилда, где когда-то говорили об архиепископстве для Мерсии.

Что ж, по мере усиления власти короны (что является другим способом сказать «по мере того, как нация осознает свои воспоминания о единстве») усиливаются и средства связи, и особенно сильная централизованная система, которая, как мы видели в другой части этой

главы, стала для Франции фатальной необходимостью. Следует также помнить, что до самого конца XVII века Париж был исключительно королевским городом и оставался таковым (за одним коротким перерывом) более тысячи лет. Здесь находились все органы, которые могут понадобиться исполнительной власти централизованного правительства, и (что еще более важно) здесь было место, где каждый из этих органов сформировался; они были неотъемлемой частью этого места. Даже если мы вернемся не дальше Капетингов, у нас будет целых семьсот лет развития в одном месте от знакомых домашних истоков, маленького варварского двора во дворце на острове, до великого города с почти миллионным населением, чьи термины, профессии, классы и все учреждения развивались вокруг трона.

Если вспомнить, что король покинул Париж всего на сто лет; что он оставил в столице подавляющую часть центрального аппарата, особенно юристов; что даже из того, что он унес с собой, осталось много реликвий, и что профессионалы всех классов имели семейную традицию двора в столице — тогда мы можем понять, чем был, чем является и чем должен быть Париж для Франции, где ни один класс не имеет права править. Добавьте к этому растущую специализацию функций по мере развития организма — концентрацию мозга — и Париж XVIII века, заброшенный, уязвленный в своем достоинстве и немного неуверенный в своих действиях, по-прежнему заполняет географические книги и остается столицей Франции.

Сама она едва ли знала, насколько верно власть перейдет в ее руки, но с первого упоминания о Генеральных штатах это было предпринято.

Такова, итак, ситуация на момент созыва Генеральных штатов. Нация, абсолютно нуждающаяся в реформах, которая должна получить новые институты, особенно новые финансовые институты, или погибнуть; классы, отделенные друг от друга, не знающие друг о друге, но все в той или иной степени ощущающие положение, в которое попала Франция: в случае большинства народа — плохое управление, проявляющееся в виде голода; в случае высших классов и самого правительства — убеждение, что существующая система противоречит всякой разумности и противоречит всяким здравым интересам.

В этом обществе, по крайней мере в той его части, которая будет призвана управлять, существует убеждение — религия, если хотите, — основанное на вере Руссо. Условия на время смягчат это; необходимый компромисс с существующим положением, стремление к миру, которое было преобладающим в первые два года, заставляют людей не спешить с искоренением и уничтожением того, что может затронуть интересы друзей и широких слоев населения. Они всегда будут стремиться к законной, хотя и быстрой реформе. Но, несмотря на них, из-за той страстной убежденности, которая лежала в основе их самых умеренных действий, революция будет продвигаться в сторону недостижимых целей. Реформатор уступит место республиканскому идеалисту, как только почувствуется серьезная оппозиция со стороны двора; тот, в свою очередь, уступит место человеку страсти и действия, когда страна окажется в опасности; и даже человек страсти и действия — человек реальности — уступит место простому мечтателю, прежде чем реакция сможет очистить поле в 1794 году.

Таковы будут этапы, через которые пройдет революция. Что же касается ее сути, то Франция будет неуклонно преобразовываться, и, несмотря на мечтателей, реакцию и все политические случайности, будет создано новое и сильное общество. Так соленая вода проникает через старые дамбы; на ее поверхности вы заметите фазы наводнения, бесчисленные ручейки, поток, раскинувшееся озеро и, в конце концов, спокойствие, но все это время происходит только одно — там, где была земля, будет море.

Какое место занял Дантон в этой трансформации? Его мнения в деталях, его привычки тела и ума, его убеждения, случайности его жизни — все это является предметом этой биографии. Я попробую лишь очень кратко описать его положение, чтобы прояснить направление его революционной карьеры, и на этом завершить главу, единственной целью которой было описать окружение персонажа, которому посвящена остальная часть этой книги.

Дантон принадлежал к буржуазии по своему положению и был менее мечтательным по своему складу ума. Будучи молодым и успешным тридцатилетним адвокатом, он не был знаком с политикой и не стремился к избранию, когда началась революция. Случайная ораторская речь дала ему первую должность. Он обнаружил в себе лидерские качества, и вокруг него собралась группа самых горячих, а некоторые из них — самых блестящих молодых реформаторов. Избирательный округ, к которому он случайно принадлежал, благодаря ему стал самым демократическим и, в некотором смысле, самым бурным в Париже.

То, что привело его к такой позиции, было его сочувствие. Его нежность (а он обладал этим качеством в большой степени) скрывалась под энергией его грубого голоса, крупного телосложения и бурных жестов. Он не спешил выражать свое сострадание. Но огромная толпа людей, которые не были представлены, меньшая, но более влиятельная класса « » — те, кто чувствовал и знал, но не мог говорить — были привлечены к нему, потому что он обладал инстинктом народа. Он был демагогом в определенные моменты и для определенных целей, но никогда по профессии и в течение какого-либо периода времени. Однако всю свою жизнь и по своей природе он был трибуном.

Тайные силы земли, сила, которая формирует все качества нации, от ее вина до ее героев, создали его, как создают дерево или урожай. Он самый французский, самый национальный, самый близкий к матери из всей революционной группы. Он олицетворял Францию; и, будучи сыном небольшого адвоката из Шампани, он был крестьянином, буржуа, почти солдатом. Когда мы изучаем его, это похоже на созерцание пейзажа Руссо или фигуры Милле. Мы чувствуем Францию.

Его голос был хорошим символом его ума, потому что в нем слышался не только глубокий тон множества, но и то качество, которое возникает от смешения многих частей — шум воды или листьев. В своей политической позиции он достиг этого коллективного качества не путем изменения точки зрения, что приводит к путанице, а путем интеграции. Его мнения были склонны к прямолинейности и непосредственности. Они выражались простыми предложениями из десятка слов; он ненавидел классические аллюзии, он был осторожен в использовании метафор. Он говорил так, как говорила бы толпа, армия или племя, если бы у них был голос.

Таким был Дантон, публичный оратор и трибун, которого в течение двух лет слушали в Кордельерах, который всегда выступал за чисто демократические реформы, который противостоял умеренным и который помог разрушить компромисс. Никогда не отождествляя себя с Парижем, он тем не менее ясно видел необходимость Парижа. Он признавал его права, сдерживал его высокомерие, но никогда не поклонялся его идолам; однажды или дважды он даже осмелился осудить его худшие глупости. Избранный в администрацию города, он играл лишь незначительную роль в « », и до весны 1792 года в нем не было других качеств.

Весна 1792 года принесла войну с Европой, и с этого момента Дантон предстает в другом свете. Если бы он умер тогда, мы знали бы его только по случайным упоминаниям, как центральную фигуру сильных реформаторских речей, как малоизвестного оппозиционера.

Но с началом войны, к которой он не имел никакого отношения и которую его партия считала неразумной, Дантон показал, что его характер, обобщая своих товарищей, особенно уловил их патриотизм. Франция была на первом месте, и если бы мы могли услышать не только участников дебатов, но и все голоса Франции, когда началось вторжение, то именно эта неотложная необходимость спасения страны () заглушила бы все другие мнения. С этого момента и в течение целого года Дантон становится лидером Франции. Способности, которые привели его к юридическому успеху (теперь, когда его должность упразднена, а его вознаграждение инвестировано в землю), кажутся обращенными на политическую ситуацию, и такие способности в сочетании с такими представительскими качествами выдвигают его на первый план. В нем проявились два качества, о которых он сам, возможно, не догадывался — способность к быстрой организации и способность так судить о характере, что дипломатия могла быть применена к каждому случаю, как только он возникал.

Не он один сделал 10 августа, но он был лидером. Он понял, что при короле у власти пруссаки дойдут до Парижа, и больше, чем кто-либо другой, организовал восстание. Это был единственный акт насилия в его жизни.

Остальные девятнадцать месяцев, которые сулила ему судьба, он провел в попытках примирить и согласовать все силы, которые он мог собрать для спасения нации. Возможно, его главной ошибкой было то, что в этом вопросе он не придерживался никакой чистой идеи.

Будучи республиканцем и горячим реформатором, он, по-видимому, считал Францию настолько важной, что шел на компромиссы и торговался со всеми возможными союзниками. Он пытался предотвратить войну с Англией; он пытался удержать Дюмуре; он пытался предотвратить месть жирондистам; когда экстремисты захватили великий комитет, он согласился с этим и продолжал бороться с силами разобщенности. Он бы скрыл, если бы это было возможно, те раны, которые ослабляли Францию в глазах мира, и он вел бесполезную войну с чистыми идеалистами — людьми одной догмы, которые в стольких отдельных лагерях уничтожали друг друга за свою гражданскую веру и готовили все зло преследований.

С другой стороны политической деятельности он казался более решительным, чем кто-либо другой. Именно он видел необходимость сильного правительства, именно он создал революционный трибунал и именно он несет главную ответственность за первый Комитет общественной безопасности. Он создал диктатуру, не заботясь о принципах, заботясь только о том, чтобы отбросить иностранцев. «Он топнул ногой, и армии вышли из земли». Эта яркая метафора справедлива. В течение двадцати лет из Франции выходили великие армии (говорят, четыре миллиона человек!). Если вы взглянете на начало этого потока и, читая о Наполеоне, зададитесь вопросом, что же впервые вызвало появление полков, то вы увидите на Марсовом поле в 92 году, а позже, требуя великого призыва 93 года, присутствие Дантона, оратора с голосом команды, с позой атаки, с правой рукой, вытянутой вперед в жесте меча.

Обладая поразительной энергией, но не имея амбиций, любящий мгновенную, но не постоянную славу, его великолепная энергия после года усилий исчерпала себя в требовании отдыха. В сентябре 1793 года он считал свою работу законченной, а свое положение безопасным. Он вернулся в свой загородный дом, гулял по любимым полям (и о которых он говорил перед смертью в «»), наслаждался жизнью в Арси, наполняясь тем веселым удовольствием, которого он всегда желал. В ноябре он вернулся уверенным и счастливым — готовым, почти со стороны и как зритель, продолжить задачу объединения нации. Но было уже слишком поздно. Он создал механизм, который был слишком силен,

чтобы он мог его контролировать. Он видел, как террор поглотил жирондистов, и плакал, потому что не мог их спасти.

С наступлением зимы он начал свои протесты, свои настойчивые призывы к разуму и здравому смыслу; он призывал к перемирию в религиозных и политических преследованиях; все его усилия были направлены на старую идею — объединенную республиканскую Францию, сильную по отношению к Европе, с исключительными полномочиями в отношении измены в период опасности (), но с запасом на стороне милосердия.

Он потерпел неудачу. Крайние теоретики, которых он презирал, захватили его диктатуру, и в апреле 1794 года они убили его.

ГЛАВА II МОЛОДОСТЬ ДАНТОНА

В следующей главе я постараюсь рассказать все, что известно о первых тридцати годах жизни Дантона. Наши знания об этом периоде его карьеры чрезвычайно скудны. Они основаны на тщательных исследованиях, но исследования, проведенных только во второй половине этого века; и есть опасения, что скудные материалы никогда не будут серьезно пополнены. С каждым годом эта задача становится все более сложной, и столетие сделало непреодолимой пропасть, которую Мишле, Бужеар и даже доктор Робине смогли преодолеть своими живыми голосами.

Он родился в Арси-сюр-Обе[9], небольшом городке в Шампань-Пуйезе, той великой равнине, которая простирается от горы Реймс за двойными вершинами, пока не теряется в возвышенностях речных разветвлений. Здесь, хотя зимой бывает холодно, все еще есть виноградники, составляющие последний бастион на покрытых склонах холмов, образующих северную границу равнины.

День его рождения — 26 октября 1759 года[10]; эта дата дает нам представление о его отношении к драме, в которой он должен был стать главным действующим лицом. На пять месяцев старше Демулена, родившийся на несколько месяцев раньше Де Сешеля, на восемь лет старше Сен-Жюста, он был на полтора года младше Робеспьера и на десять лет младше Мирабо; Людовик XVI и Мария-Антуанетта были старше его соответственно на пять и четыре года. Ему было шестнадцать лет, когда их предшественник умер в позоре и грязи. Родившись через шесть недель после падения Квебека, он получил неизгладимые впечатления ранней юности во время быстрого упадка французской монархии — конца медленного упадка, который угрожал самой нации. Но именно тогда Руссо писал «Общественный договор», который был опубликован через два года; Вольтер все еще был в полной силе своих атак, имея перед собой девятнадцать лет жизни; это был год «Кандида»; Дидро создавал «Энциклопедию».

Время его рождения совпало с восходом определенного солнца, которое еще не зашло над Европой, но глаза мальчика обращались к более насущным вещам и видели в маленьком провинциальном городке распад несчастного, экспериментального правления.

Необходимо подчеркнуть, что провинциальный городок был лучшим местом для наблюдения за крахом плохого правления. Загородные поместья были более несчастными, провинциальные столицы более громкими и способными выражать свое мнение, но

немногие места могли продемонстрировать фатальный процесс распада более явно, чем эти маленькие провинциальные центры, сегодняшние подпрефектуры. Смещение власти, чрезмерность и неэффективность привилегий, сложность и слабость правительства были там очевидны при каждом случае. Богатство нации уменьшалось в первую очередь из-за вмешательства в обмен. Это (хотя в конечном итоге и было источником их нищеты) было менее очевидно для сельских жителей, в то время как крупный город с его разнообразным производством мог (в другой форме) скрыть это зло; но для небольшого городка этот опыт был прямым и ужасным.

Опять же, практическое равенство образованных людей было здесь более очевидным и более нарушаемым, чем в более широких обществах крупных городов. В таком месте, как Арси-сюр-Об, изолированные представители классов, технически отличающихся друг от друга, постоянно контактировали между собой. Чем меньше число представителей их касты и сословия (и чем меньше их значение), тем больше аристократия и по сей день проявляет свою гордость; и тем более необходимо в жизни маленького городка, чтобы они общались с теми, чьи разговоры и способности точно соответствуют их собственным. В Париже или Лионе, где большие клики были заняты общими интересами, такие различия часто игнорировались; в забытых провинциальных городках — никогда.

С другой стороны, слепая и безмолвная ярость крестьянства вряд ли доходила до Арси. По всей Франции город не понимал сельскую местность и в начале Революции фактически боролся с ней. Это покажется странным английскому читателю, который почти не видит разницы между сельским рынком и разросшейся деревней. В Англии этого различия практически не существует, но во Франции город очень отделен от крестьянского общества за его пределами и, хотя часто меньше, чем некоторые крупные соседние деревни, до сих пор сохраняет римские традиции города.

Таким образом, мы видим, что место рождения Дантона в значительной степени объясняет особенности его будущей политики: практичной, имеющей юридический эффект, не вдохновленной ненавистью, хотя и находящейся под сильным влиянием личного опыта плохого управления. Но его происхождение покажет нам еще более ясно, как условия его рождения повлияли на его карьеру.

Он был из семьи юристов. Его отец был *прокурором* в баляже Арси. Трудно объяснить функции его должности в то время и английскому читателю, поскольку она относится к той «администрации», которая является столь существенно латинской и которую мы только начинаем испытывать в Англии. Достаточно описать его как *чиновника*, в обязанности которого входило выполнять то, что в Англии по-прежнему теоретически обеспечивает *институт* большого жюри, как это было когда-то в реальности. В его обязанности входило «представлять» дела и обвиняемых в местный уголовный суд () — местный, потому что во Франции не существует окружных судов (*circuit of assize*). К этому добавлялись многочисленные обязанности и привилегии, связанные с регистрацией, штамповкой и т. д.; эта должность требовала точного и даже досконального знания королевского права и провинциальных обычаев, сложной системы обычаев старого режима.

Возможно, еще более важно оценить социальное положение Жака Дантона. Принадлежа к низшим слоям юридической профессии и проживая в небольшом городке Шампани, отец Дантона занимал примерно такое же положение, как небольшой сельский адвокат в одном из наших рыночных городков, с теми дополнительными привилегиями, которые могли бы следовать из постоянной должности в муниципалитете этого места.

Что касается состояния, то мы не знаем точно, каков был доход семьи в детстве Дантона, но мы знаем, что должность, которая была впоследствии куплена для него, стоила около трех-четырёх тысяч фунтов; что деньги были в основном взяты из наследства его отца^[11] и что дом, в котором жила семья, принадлежал им — полезное правило, существующее во всей провинциальной Франции. Это было солидное здание, одно из лучших в маленьком городке, стоящее на рыночной площади, с главными комнатами, выходящими на общественную площадь. Учитывая вероятный капитал и известные доходы от его должности, мы можем считать Жака Дантона человеком, располагающим доходом около четырех-пяти сот фунтов в год.

Его мать была из несколько более низкого сословия. Она была дочерью строителя из Шампани, а ее брат был мастером-плотником в городе. Из ее двух сестер одна вышла замуж за почтмейстера, а другая — за лавочника, оба в Труа; ее брат был священником в Барбери, недалеко от Арси.

Отец умер, когда мальчику было два с половиной года, оставив четверых детей. Мы должны предположить, хотя и не можем быть уверены, что у Дантона был один брат; мы знаем, что у него было две сестры, одна из которых вышла замуж в Труа, а другая умерла монахиней в том же городе в середине этого века^[12].

По обеим сторонам его семьи, благодаря связям и бракам его родственников, их занятиям, жилищам, потомкам, мы видим, что происхождение Дантона абсолютно не связано ни с низшими, ни с высшими слоями старого режима. Только благодаря усилиям воображения он мог понять рабочего или крестьянина; только благодаря ежедневным беседам он мог оценить странных дворян 1790 года, лишенных национальной гордости.

В конце концов, Дантон вышел из того среднего класса, который создал современный мир и который до сих пор неуверенно поддерживает его. «Респектабельность и ее карета» — это эпиграмма, которая точно подходит к скучному и провинциальному окружению его первого дома; но противоположностью такого провинциализма являются здравомыслие, порядок и сила, и из такого твердого и холодного топлива буржуазия снова и снова разжигала пожирающий огонь.

С момента смерти отца, когда ему не было еще и трех лет, до девяти лет ребенок жил с матерью в доме в Арси, поскольку ее небольшое состояние приносило доход, достаточный для содержания семьи и образования детей. Мальчика учили латыни в городе, а затем отправили в «Нижнюю семинарию» в Труа^[13].

Его дядя в Барберее намеревался сделать его священником, и в этом случае он прошел бы все обычные этапы, поступив в высшую семинарию () и, наконец, получив сан через год или два после окончания «философии». Однако эта программа так и не была завершена, и Церковь лишилась в его лице энергичного, милосердного и скромного сельского vicar.

Решение, вероятно, было принято в результате одного из тех семейных собраний, которые обычно проводились во Франции для определения карьеры сироты и которые Революция возвела в ранг института с юридической формой. Некоторые биографы усмотрели в поступке маленького ребенка политику тридцатилетнего мужчины и сделали этот шаг преждевременным протестом против клерикализма. У этих биографов нет детей.

Дядя согласился на эту перемену и вместе с двумя замужними сестрами мадам Дантон решил, что его будущей профессией будет адвокатура. Его отправили в Труа и поместили в орден ораторианцев, религиозный орден, который имел честь воспитать стольких великих

реформаторов. В их колледже он прошел обучение, которое никакие социальные изменения или новые теории в педагогике не смогли искоренить из среднего образования Франции. Немного греческого, много латыни, два года, посвященные литературе поздней Римской республики и ранней империи — основа, которая дает образованным французам почти средневековое знакомство с римской мыслью; таков был курс, который буржуазия проходила и проходит во французских школах. Система, основанная на гуманитарных науках XVI века, но развитая в классицизме XVII века, утратила эллинизм, тонкость и широту первого, сохранив при этом жесткость, силу и ясность, которые второй обязан влиянию иезуитов. Она не развивает ту инициативу в сочетании с оригинальностью, которой мы в Англии придаем такое большое значение; с другой стороны, она достигает силы в убеждениях () и, прежде всего, здравого смысла в суждениях (), чего наши государственные школы часто не могут добиться.

Именно из такой учебной программы вышел преувеличенный классицизм Робеспьера, более блестящий, но столь же латинский стиль Демулена, хотя следует признать, что первый напоминает Корнелия Непоса, а второй порой хорошо моделирован на самом Таците. Однако ошибка такого подражания никогда не портила речи Дантона в его позднейшей жизни; он обязан этой необычной свободой от духа своей эпохи путешествиям, живому интересу к окружающим вещам и людям, а также своему знакомству с английским и итальянским языками [14].

Тем не менее, в своей знаменитой речи о государственном образовании он справедливо упоминает о влиянии этого образования на умы своих современников и верно отмечает его тенденцию превращать людей в республиканцев [15].

К сожалению, он не проучился в такой школе достаточно долго, чтобы получить от нее последние и наиболее полезные впечатления. Высший класс во французской школе называется «Philosophie», и последний год в основном посвящен чтению социологии и метафизики старого мира. Дантон ушел из школы в шестнадцать лет, когда только что закончил «Rhétorique», но то, что он потерял в полировке, он приобрел, оставаясь на один год дольше своих товарищей в своем собственном развитии.

Активный, часто бунтарский, веселый, он продемонстрировал свой ум на выпускных экзаменах, а свою энергию — в приключении, которое принесло ему симпатию по крайней мере одного из его одноклассников [16], который вместе с Русселеном оставил нам единственные записи, которые мы имеем об этом периоде его жизни. В последний год обучения он сбежал в Реймс, расположенный в семидесяти с лишним милях, чтобы увидеть коронацию Людовика XVI. Идя туда и обрат, он удовлетворил желание, о котором говорил своим одноклассникам, «увидеть, как делают короля». Так, будучи мальчиком, он пошел посмотреть, как делают короля, а потом, когда он повзрослел, сам Дантон его сверг.

В 1780 году, в возрасте двадцати одного года [17], он поступил на службу к парижскому адвокату по имени Вино. Став клерком, чтобы изучать право и, прежде всего, наблюдать за работой судов, он провел следующие четыре года, готовясь к адвокатской практике. Если верить случайной фразе, произнесенной им незадолго до смерти, в то время он полностью зависел от своего хозяина и своего пера. [18] Мы знаем, во всяком случае, что он не получал зарплаты, а жил и питался у своего работодателя; маловероятно, что он получал деньги из дома, поскольку его мать вышла замуж во второй раз, и вскоре после этого ее второй муж (некий Рекорден) оказался в столь тяжелом финансовом положении, что Дантона попросили передать ему большую часть своего наследства, чтобы спасти семью. Он так и поступил, и ему осталось всего пять или шесть сотен фунтов в качестве его доли семейного состояния.

Эти деньги были вложены в землю недалеко от Арси, и он сохранял их для своей конечной цели — покупки адвокатской практики в одном из высших судов.

В 1785 году он был принят в коллегия адвокатов (процесс, аналогичный получению степени),^[19] выбрав, из провинциального патриотизма, Реймс в качестве места, где он официально приступил к профессии; но он намеревался практиковать в столице и сразу же вернулся туда.

Нелегко объяснить английской публике значение различных судов до 1789 года. Даже во Франции (где новый порядок полностью вытеснил старую анархию) их формы были забыты, и чисто антикварные исследования не могут дать нам ничего, кроме разрозненных сведений об их процедуре.^[20] Существовало разделение, соответствующее английскому разделению на общее право и право справедливости. Оно встречалось в каждой стране Запада и возникло из необходимости введения королевской власти и канонического права над местными обычаями, смешанными с воспоминаниями о Риме, которые когда-то составляли всю жизнь раннего средневековья.

Группе юристов, которые в Париже (или в любом из крупных центров) составляли суды для всех обычных исков, было дано название «парламент». Но поскольку он включал в себя большее количество людей, никогда не выезжал на выездные заседания и включал в себя как судей, так и адвокатов, Парижский парламент более или менее соответствовал тому, чем был бы английский суд, если бы наши судьи образовали своего рода постоянный совет для консультирования короны и регистрации ее указов, а также для рассмотрения дел, переданных им на рассмотрение. Выступать в их суде не было сложной задачей. Для этого требовалось лишь получить степень в области права, а вступительные взносы были незначительными. Дантон решил выбрать эту профессию и использовать ее как трамплин для продвижения в высший суд, чего он вскоре и достиг.

Этот высший суд, «Апелляционный суд», как мы его называем, или «Cour de Cassation», как он называется в современной французской системе, носил название, отражающее сильный консерватизм старой Франции. Он назывался «Судом королевских советов» — очень похоже на то, что мы имели бы сегодня в Англии, если бы сохранили теорию, что король в своем совете является высшей инстанцией. Но хотя он носил название, взятое из Curia Regis XIII века, он, конечно, утратил всю свою прежнюю простоту. Это был суд, как и любой другой, но в нем выступали адвокаты, число которых было строго ограничено и которые обладали высокими привилегиями (). Как и его аналог в английской системе, он занимался в основном спорными наследствами, особенно в вопросах земли, и, как мы увидим, он продемонстрировал истинные черты суда канцлерского права, поскольку ему потребовалось более ста тридцати лет, чтобы принять решение. Выступать в этом суде, имевшем монополию на ценные дела, означало сразу получить гарантированный доход и престиж; поэтому вакансии в нем были ценными призами, которые можно было купить и продать. Дантон решил выступать в судах общего права до тех пор, пока это будет обеспечивать ему, при экономии средств, существенное пополнение нескольких сотен фунтов, составлявших весь его капитал, а затем искать ссуду, которая могла бы пополнить эти сбережения и позволить ему стать адвокатом канцелярского суда.

Молодой, красноречивый, обладающий выдающейся способностью видеть суть проблемы, он хорошо подходил для работы в судах низшей инстанции и добился успеха. За два года он накопил сумму, которую мог предложить в качестве частичной оплаты, что сразу же стало доказательством его деловых навыков и таланта. Поэтому его семья, особенно те ее члены, которые настаивали на том, чтобы он поступил в адвокатуру, были готовы предоставить ему

необходимые суммы в дополнение к его собственным сбережениям и небольшому наследству. Деньги на покупку были переданы, и его тети и дяди в Труа подписали облигацию на сумму 3000 фунтов стерлингов (сумму, которую он тогда не мог предоставить). Этот шаг был сделан в марте 1787 года[22], и эта дата в некотором смысле стала его вступлением в общественную жизнь, поскольку привела его к непосредственному контакту с богатыми, то есть с правящим классом.

На эту дату сохранился яркий анекдот. При приеме кандидата в орден « » перед собравшимися в колледже нужно было произнести импровизированную речь на латыни. Тема, заданная Дантону, когда он вошел в зал, была «Моральное и политическое положение страны в ее отношениях с системой правосудия». Отличная тема для 1787 года! Старый режим был в восторге от такой причудливой сцены, а его пожилые члены также были в восторге от того, что могли понять отдельные фразы и цитаты. Гений и память их кандидата, похоже, в этот раз подарили им нечто новое, не столь банальное, как ожидалось. Он упомянул о реформе; он говорил о борьбе, которую парламент вел против министров — борьбе, о которой он мудро сказал: «Они сражаются за священные центры гражданской свободы, но не предлагают никаких конкретных реформ, с помощью которых эта свобода могла бы быть воплощена в жизнь». «Священные центры» () — это, конечно, *aris et focis*. Речь в значительной степени состояла из *клише*, из набора избитых латинских девизов. В ней даже содержалась фраза *salus populi suprema lex*, но аргументация была собственной идеей Дантона. Следует также отметить эту фразу, поскольку она является лейтмотивом всей его будущей работы: «Пусть правительство осознает всю серьезность ситуации, чтобы исправить ее простым и естественным образом, снизив свою власть».

Молодые люди поняли и аплодировали; старики были уверены, что если они и не совсем поняли эту нетрадиционную речь, то это было связано с оригинальностью оратора. Вероятно, их души были смягчены словами *aris et focis* и *salus populi suprema lex*.

В течение следующих двух лет его репутация в судебной практике неуклонно росла. Он больше не был адвокатом общего права, с патетическими и ораторскими призывами в защиту пастуха против его господина, он показал, насколько большую роль интеллект играл в его способности привлекать внимание. О сложностях его практики в канцелярии и ясности и способности его анализа мы имеем отличное свидетельство в лице Жана-Батиста Жюльен-Жозефа

Последнее дело (дело Де Монбарэ) показывает нам Дантона, защищающего права старинного дома и работающего в самой запыленной из всех юридических ниш. Оно находилось в подвешенном состоянии с 1657 года, и Дантон, пытаясь положить конец этой невыносимой долговечности, использует фразу, которая показывает нам чувство, которое пощадило по крайней мере одну могилу, когда толпа разграбила Сен-Дени: «Жанна д'Альбре[24] — имя, дорогое всем французам, потому что оно напоминает о другой Жанне д'Альбре, матери Генриха IV».

Среди его клиентов были, в частности, Де Барентин, министр юстиции, и Де Бриенн[25], генеральный контролер; именно его близкие отношения с первым из них повлияли на его первые зафиксированные мнения по поводу государственных дел. Они будут рассмотрены в следующей главе.

Конечно, трудно точно определить размер личного дохода человека в любой момент времени, но мы уверены, что доход Дантона на тот момент не мог быть намного меньше тысячи фунтов в год. Его немедленный успех в адвокатуре, монополия и привилегии организации, к которой он теперь принадлежал (работа, которая гарантированно доставалась даже самым некомпетентным, стоила 60 000 франков, к которым талант мог добавить неограниченную сумму), его красноречие и доказанные способности, имена его клиентов, их важность и богатство — все это приводит к такому однозначному выводу. В то время в этой профессии не делали огромных состояний; его положение не было скромным.

Достигнув этого статуса, он женился на дочери человека, который держал один из студенческих ресторанов, по имени Шарпантье (). Это было кафе (Café des Écoles), которое очень часто посещали студенты университета и молодые адвокаты, и которое до сих пор остается одним из немногих сохранившихся кафе прошлого века. Сам Дантон был его постоянным посетителем, и есть интересная картина, нарисованная одним из друзей, на которой изображены адвокаты в своих специальных костюмах в этом заведении. Оно занимало место, которое сейчас является юго-западным углом площади Place de l'École,^[26] и в нем не было сделано никаких изменений, за исключением поднятия уровня дороги. С видом на реку и расположенное прямо напротив дворца, оно было естественным местом встречи молодых адвокатов в обеденный перерыв и после закрытия суда.

Шарпантье, «лимонадьер» мадам Ролан, был человеком, состоящим от пяти до шести тысяч фунтов, часть которых была вложена только в его бизнес^[27]; кроме того, он занимал небольшую должность в налоговой службе, требующую небольшого объема работы и приносящую всего сто фунтов в год. Когда он выдал свою дочь замуж за Дантона, ей было дано 20 000 франков^[28].

Как будет видно позже, для доказательства положения Дантона крайне важно точно знать размер капитала, которым он располагал на момент начала революции, поскольку в случае щедрых людей в демократии обвинение в продажности является самым распространенным и самым трудным для опровержения.

Страстно любящий свою жену, успешный в своей профессии, стоящий на пороге великой карьеры, я бы применил к нему фразу, которую один из его злейших врагов дал нам для описания гораздо менее значительного человека: «Actif et sain, robuste et glorieux, il aime sa femme et la parure» (Активный и здоровый, крепкий и славный, он любил свою жену и украшения).

Итак, мы оставляем его на вершине трудолюбивой и, возможно, тяжелой молодости. Ему двадцать восемь лет, он в расцвете сил и интеллекта — в том самом возрасте (), в котором Джефферсон десятью годами ранее написал свой бессмертный абзац; в том возрасте, в котором Наполеон с его движущимся островком людей десятью годами позже разбил пять австрийских армий от Лоди до Кампо-Формио.

Какой образ мы должны создать о нем, чтобы он сопровождал нас в сценах, где он будет главным действующим лицом?

Он был высоким и крепким, с вытянутой ораторской осанкой, полным жестикуляции и оживления. На толстой шее, полной энергии, держалась круглая французская голова. Его лицо было щедрым, некрасивым и решительным. С широкими глазами и спокойными бровями, он все же имел быстрый взгляд, который выдавал привычку обращаться к аудитории. Его верхняя губа была повреждена, как и нос^[29], и он был еще более обезображен оспой, которой был обезображен и его предшественник Мирабо. Его губа была

разорвана быком, когда он был ребенком, а нос раздавлен во время второго приключения, как говорят, с тем же животным. В этом римляне, возможно, увидели бы предзнаменование, но он, кумир наших позитивистов- , нашел в этом лишь повод повторить выражение Мирабо о том, что его «голова кабана пугала людей».

В его одежде было что-то от небрежности, которая сопутствует крайней живости и постоянному интересу к вещам вне себя, но это неизменно соответствовало его положению. Действительно, Дантон всегда подчинялся мелким условностям, потому что был мужчиной и потому что был чрезвычайно здравомыслящим человеком. Более чем большинство людей того времени, он понимал, что нельзя срубить дерево, обрезав листья, и развалить общество, выбросив парик[30]. Достойное самоуважение, которое сопутствует сознательной силе, никогда не отсутствовало в его одежде, хотя часто исчезало из его речи в моменты кризиса или даже раздражения.

Я не буду слишком настаивать на его великой энергичности, потому что она была настолько преувеличена, что создала ложное представление о нем. Он был замечательно последователен в своих действиях, и его политические аргументы были столь же прямыми, сколь непрерывными были его физические усилия, но банальная картина ярости, которую рисуют вам многие писатели, ложна. Ведь ярость пуста, а Дантон был полон, и его энергия сначала была силой, воздействующей на огромную массу умов, а позже — ее импульсом.

За исключением тех случаев, когда он ставил перед собой прямую цель убедить толпу, в его речах не было насилия и даже метафор; в судах он был тщательным логиком, который излагал свои аргументы скорее с умением и красноречием, чем с громом. Но во всем, что он предпринимал, энергия проявлялась как соль в блюде. Он не мог полностью скрыть эту энергию: его убеждения, его решимость, его видение — все это сосредоточивалось на том, чем он занимался.

Он обладал необычайно широким взглядом на Европу, в которой находилась Франция. В этом он был похож на Мирабо и совершенно не похож на людей, с которыми революционное правительство заставляло его общаться. Он читал и говорил по-английски, знал итальянский язык. Он знал, что короли были дилетантами, что теория аристократии была либеральной. Он не без симпатии относился к философии, которую сформировала в Англии олигархия, живущая в достатке; одной из трагедий Революции является то, что он до последнего желал союза или, по крайней мере, мира с этой страной. Если Робеспьер был маньяком во внешней политике, то Дантон был более чем здравомыслящим — он был справедливым и даже дипломатичным человеком.

Он любил много читать, и его чтение касалось философов; оно варьировалось от Рабле до физиократов , на его родном языке, от Адама Смита до «Очерка о гражданском правительстве» на языке иностранцев; и он владел всеми томами Энциклопедии, которые он неуклонно собирал. Если учесть время, его состояние и очевидный личный интерес к столь небольшой и индивидуальной коллекции, то вряд ли найдется что-то более интересное, чем те полки, которые Дантон с удовольствием заполнял[31].

В своей политике он прежде всего стремился к реальным, практическим и очевидным реформам, к изменениям к лучшему, выраженным в материальных результатах. Он отличался от многих своих соотечественников того времени и от большинства своих политических соотечественников ныне тем, что предпочитал осязаемое. Это было частью его характера, близкой к природе его народа, что заставляло его экономить и вкладывать деньги в землю, как французский крестьянин, и любить, как французский крестьянин, хорошее правительство, порядок, безопасность и благополучие.

Во всех фрагментах, которые остались нам от его бесед до разразившейся бури, и еще более ясно в его требовании создания *центра*, когда вторжение и восстание угрожали Республике, можно обнаружить определенную убежденность в том, что следует создавать не революционные идеи, а революционные дела: его поддерживала не вдохновляющая вера в «», а цель, которую нужно было достичь. Как и у всех активных умов, его миссия заключалась скорее в реализации, чем в планировании, и его энергия была направлена на то, чтобы увидеть результат теорий, которые он бессознательно признавал, но которые он был слишком нетерпелив, чтобы анализировать.

Его голос был громким, даже когда его выражения были сдержанными. Он не унижал никого, но после его выступления многие оппоненты казались слабыми и нерешительными. Его голос был таким, что заполнял большие залы, и его глубокий тембр наводил на мысль о жестких фразах. При этом он не заботился о том, как его слова могут быть истолкованы, когда их частично повторяли другие, и такая беспечность заставила еще более беспечных историков придать его характеру ложный оттенок богемности. Он не был богемным человеком; он был успешным и упорядоченным человеком; но энергия у него была, и если есть писатели, которые не могут представить себе энергию без хаоса, то, вероятно, это потому, что в ученых развлечениях, которым они посвящают свое огромное богатство, они никогда не чувствовали в себе энергию и не были вынуждены контролировать хаос в своем окружении.

Что касается его личной жизни, то в ней доминировала привязанность. По мнению некоторых, кто его не знал, он приобрел репутацию развратника. В подтверждение этой точки зрения нет ни малейших прямых доказательств. Он, безусловно, любил те удовольствия чувств, которые отвергал Робеспьер и которыми не мог наслаждаться Ролан, но нет ни малейших доказательств того, что его хорошие ужины были оргиями или что у него были незаконные любовные связи (после того как он женился на женщине, к которой был так предан). Он также любил своих друзей, и прежде всего, из глубины души, он любил Францию. Его недостатки — а их было много — его пороки (и строгий критик обнаружил бы и их) проистекали из двух источников: во-первых, он был слишком мало идеалистом, слишком поглощенным сиюминутными делами; во-вторых, он страдал от всех пагубных последствий, которые может вызвать избыток энергии — привычки к ругательствам, риторики внезапных тирад, бурных и чрезмерных действий, сопровождаемых последующей потребностью в отдыхе.

Обремененный этими условиями, он выходит на арену, опираясь на почти тридцать плодотворных лет, счастливый брак, глубокую убежденность и таланты человека, который еще не знал поражений. Повторю фразу, примененную к другому: «Активный и здравомыслящий, крепкий и готовый к славе, он любил свою жену и обстоятельства, дававшие ему власть».

ГЛАВА III

ДАНТОН В КОРДЕЛЬЕРАХ

Человек, которому суждено в любой момент представлять главные силы нации, особенно человек, который будет не только представлять, но и руководить, по своей природе должен следовать национальным методам на своем пути к власти.

Его карьера должна быть почти параллельна (так сказать) направлению национальной энергии и должна слиться с ее основным течением под незаметным углом. Главная ошибка тех, кто сознательно планирует успех, заключается в том, что они не поддаются таким влияниям, и это является наиболее частой причиной их неудач. Таким образом, люди, достигающие больших высот власти, чаще всего добиваются успеха благодаря некоей фатальности, которая является ни чем иным, как проявлением энергичной и оригинальной натуры, но в то же время бессознательным подчинением окружающей среде, с которой они сочувствуют или в которой они родились.

Несложно определить случайности действий, темперамента и местности, которые предрасполагают к успеху в собственном обществе. Менее легко оценить, что им соответствует в иностранных условиях.

В первой главе было показано, что Париж воплощает в себе эти условия в случае французской нации; было также показано (что особенно важно), что в конце XVIII века Париж находился в неловком положении — он вышел из себя, требуя своего места, но в то же время беспокоясь о средствах, с помощью которых его можно было бы достичь.

Можно было бы подумать, что это было своего рода узурпацией. Такое мнение разделяют большинство иностранцев, и, безусловно, оно не было чуждо и более идеалистичным французским республиканцам. Тем не менее, такая точка зрения ошибочна, и жирондисты, при всех своих достоинствах, пошли (как мы увидим) против природы вещей, когда хотели сделать Париж всего лишь одним из городов, или, скорее, «аликотной голосующей частью» нации. Требование Парижа было в сущности разумным и должно было быть удовлетворено. Почему? Потому что без его лидерства не было бы сделано не то или это, а не было бы сделано ничего. Толпы, которые в первые дни 1789 года ждали у почтовых станций в провинциальных городках новостей из столицы, своим поведением просили и ожидали, чтобы Париж действовал.

Итак, Париж — это ворота Дантона. Он плывет по течению парижской волны. Эта волна поднимается гораздо выше, чем он мог себе представить, и в конце концов выбрасывает его на высокое недоступное место 10 августа. Оказавшись там, с вершины он видит всю Францию. Так же как Кромвель был пуританским солдатом, пока не достиг власти, а затем стал или захотел стать представителем Англии, так и Дантон был парижским бунтарем, пока с поста ответственности и руководства он не стал стремиться частично к реализации французских идей, но в основном к целостности и спасению самой Франции.

Итак, вот он, в течение двух лет активных дискуссий, предшествующих выборам, по случайности амбиций, парижанин; один из группы молодых провинциальных юристов, но самый успешный из них. Через несколько месяцев после своей женитьбы, в течение 1788 года[33] (мы не уверены в точной дате), он переехал в дом, в котором прожил до своей смерти, шесть гневных лет. Это был угловой дом на углу Cour du Commerce и Rue des Cordeliers[34]. Дом был лучше того, в котором он жил на Rue des Mauvaises Paroles, когда купил свою практику; с другой стороны, он находился в несколько менее дорогом районе. Однако из более крупных размеров его новой квартиры и из того факта, что он по-прежнему держал свой офис в старом доме на Rue de la Tixanderie, прямо за Hotel de Ville, можно справедливо заключить, что он преуспел в своей профессии, и это заключение подтверждается нашим знанием о важности его дел и его клиентов. Что касается точного местоположения, которое он выбрал, то оно, несомненно, было определено близостью к квартирам его друзей. Здесь жил Демулен, его главный друг, на год младше его, который (после своей женитьбы в 1790 году) переехал в тот же дом; ведь тогда, как и сейчас, в Париже

не было принято снимать целый дом, а только квартиру, и Дантон жил на первом, а Демулен — на втором этаже. Прямо через реку, за Пон-Нёф, находилось кафе на набережной Эколь, которое держал его тесть, и, что самое главное, он был здесь в окружении молодежи из школ. Это был склон знаменитого холма Университета. Рядом он находил кафе Procure, о котором Демулен писал с таким восторгом, которое когда-то освещала маленькая улыбка Вольтера, которое слышало утверждения Дидро и которое в 1788 году каждую ночь было шумным от дискуссий, речей и аплодисментов. Вся та атмосфера дебатов, которая бессознательно приходит к молодым людям, получающим образование, поднималась по склонам Мон-Парнаса и сосредотачивалась в этой комнате; и здесь, зимой того года, в обществе, настолько полностью принадлежащем к его собственному сословию, что высшая буржуазия и дворянство ничего не знали о его силе, его громкий голос и щедрое лицо наполняли круг своей энергией. Но пока еще не было и мечты о революции, тем более о насилии. Франция ждала великих событий, но они должны были произойти сами по себе или на волне всеобщего энтузиазма. Однако огонь был зажжен, и группа, которая впоследствии перешла от Монтань к эшафоту Жерминаля, уже сформировалась.

Ко всему этому, однако, что было лишь расслаблением обильного духа, следует добавить дни непрерывной и серьезной работы на другой стороне реки. Если его ночи проходили в Латинском квартале, то дни — в офисе на улице Тиксандри. Министр короны[35] не доверяет свои семейные дела такому расточителю, каким в мемуарах противников представляется Дантон в этот период, а адвокат, который никогда не бывает в своем кабинете, а только разъезжает по политическим делам, не получает ведение одного из самых важных дел канцелярии своего времени.

Есть один момент в этих предреволюционных месяцах, который не имеет большого значения, но заслуживает внимания, хотя путаница, очевидная в нашем единственном описании этого момента, снижает его ценность. Нет сомнений, что Барентен, помимо деловых отношений, был лично близок с Дантоном; и когда этот осторожный и умеренный человек сменил Ламуаньена в сентябре 1788 года, Дантону было сделано некое неформальное предложение о том, что мы назвали бы должностью официального секретаря министра[36] — или, вернее, мы не знаем, как это назвать, поскольку министерство во Франции не было связано с законодательством, а только с исполнительной властью, и поэтому должности в нем не имели такого политического значения, как у нас.

Что касается точной даты предложения, насколько оно было настоящим () или насколько серьезно оно было сделано, мы не можем иметь точного представления. Но мне кажется неразумным отвергать столь характерный анекдот, который так хорошо вписывается в известную позицию Дантона, лишь на основании несколько натянутой теории, что в истории должны приниматься во внимание только документальные свидетельства, причем документальные свидетельства, отсеянные по правилам жесткого перекрестного допроса[37].

В любом случае, Дантон отказался от этого. И не только отказался, но и не оставил никаких следов попыток использовать влияние своего друга или добиться политического успеха в то время, когда почти всех ошеломили перспективы великих социальных перемен. Он не чувствовал потребности в политике, и только гораздо позже, после целых двенадцати месяцев действий и речей, его ораторское искусство нашло опору, и он почувствовал непреодолимое стремление к новой власти. Успех в своей профессии был, без сомнения, единственной амбицией, которая занимала его в конце 1788 года, и эта амбиция была тесно связана с деловым чутьем, которое было сильным элементом в здравомыслящем и практическом уме адвоката из Шампани.

Именно на него и его группу друзей, в Париже, где с каждым днем дискуссии и внимание становились все более острыми, обрушился долгожданный указ от 27 декабря. Должны были состояться выборы. Париж, заваленный памфлетами, но в целом склоняющийся к умеренной критике более практичных людей, наконец был призван к действию.

Прежде чем мы сможем понять влияние этих выборов на историю следующих трех лет, необходимо прояснить многие условия. Во-первых, Франция страдала от большого материального зла: она была на грани банкротства, ее сельское хозяйство было безнадежно депрессивным, ее промышленность разрушена, и тысячи и тысячи безработных бродили по улицам городов. Во-вторых, класс, который собирался голосовать за Палату общин, был классом налогоплательщиков. И в-третьих, голосование было двухступенчатым. Я называю эти три условия, чтобы скорректировать широкое и часто ошибочное впечатление. Я не хочу сказать, что идеалы не были распространены; весь мир знает, как загорались глаза молодых людей, и мы все знакомы с Демуленом, рьяным, страстным, заикающимся, но болтливым, переходящим от группы к группе, когда они обсуждали или мечтали. Но слишком часто в выборах 1789 года прочитывают дух 1793 года, и эта ошибка является серьезной. Точно так же можно интерпретировать дух красноречивого человека, который собирается защищать справедливое и практическое дело, услышав то, что он сказал позже в тот же день, если бы его противники взялись за кулаки и несколько часов жестоко с ним дрались.

Непосредственная необходимость была финансового характера; класс, призванный ее удовлетворить, был средним классом; люди, которых они собирались избрать, были профессионалами.

Избирательные единицы и все корпорации были приглашены изложить свои жалобы перед собранием парламента, и именно в этих «кэйерах» лучше всего прослеживается дух того времени. Абстракции, фразы, общие концепции встречаются (как и следовало ожидать, хотя это и является новостью) в основном в жалобах духовенства и дворянства; крестьяне, буржуазия и ремесленники имеют более материальные претензии.

Так, дворяне Кана в своем *sañier* говорят о «Национальном договоре», а духовенство Фореза (после нескольких замечаний о уходе за прудами и их очистке) заканчивает замечательным небольшим эссе о личной свободе, ее пределах и надлежащем расширении.^[38] Дворяне Нанта и Меулана () прямо говорят о «правах человека»^[39], и в целом этот сословие требует принятия Конституции — слова, которым они в очень короткое время насытились. У менее значительных людей требования касаются скорее земных вещей, но жалобы, которые заставили Бёгно смеяться, дают хорошую картину. «Чтобы при необходимости убивали собак, но не подрезали им сухожилия, чтобы разрешалось держать кошку, чтобы разрешалось разводить огонь без уплаты пошлин, чтобы разрешалось продавать вино, когда хочется»; а от буржуазии — справедливое судебное разбирательство, отмена *lettres de cachet*, старая европейская политика, согласно которой рост богатых корпораций должен был быть ограничен, а большая часть их собственности конфискована, уравнивание налогообложения — вот те пункты, по которым (простое исправление несправедливости) была настроена большая часть французов. Можно подытожить и сказать: «Они требовали свободы и общей справедливости, доступных в современном государстве». Но привилегированные сословия, несмотря на все свои лозунги, сопротивлялись, когда пришло время реформ, и их трения разжгли пламя идеала, катастрофического для них самих и счастливого для мира.

Что касается кайера, присланного из избирательного округа Парижа, в котором жил Дантон, то он был уничтожен Коммуной, когда она сожгла Отель де Виль в 1871 году. Однако мы

знаем[40], что в нем требовалось «разрушение Бастилии», символический акт, всегда присутствующий в умах парижан, и, кстати, в нескольких кайерах провинциальной знати и духовенства. Нет прямых документальных свидетельств того, что Дантон помогал составлять этот кайе, но я не могу поверить, что человек, имевший такое влияние в столь небольшом пространстве и среди (сравнительно) столь небольшого числа избирателей[41], не имел никакого отношения к составлению этого документа, особенно если учесть тот крик, который он издал в детстве, плавая в реке прямо под стенами тюрьмы.[42] Однако нет ничего, что бы это доказывало, и он, безусловно, не сыграл заметной роли в действиях, где все было спокойно и даже скучно.

Однако упоминание о районах Парижа, и особенно о том, который мог претендовать на Дантона, делает очень необходимым обзор этого очага революционной энергии. Он назывался районом Корделье. Он был небольшим, одним из самых маленьких из шестидесяти, на которые был разделен Париж, но в нем сосредоточивались самые яркие умы и ораторы того времени, очень мало дворян и, по сути, очень мало ремесленников и почти никаких пролетариев. Позже, когда Дантон угрожал реакционерам народом, он обратился не к району Корделье, а к Фобур Сен-Марсо, потому что рабочие были редкостью в его старинных узких улочках с высокими домами и маленькими темными дворами, обрамляющими остатки средневековья. Здесь проживало много священнослужителей, но прежде всего множество молодых юристов и студентов, класс, который много и глубоко думает и порождает мысли в других, своего рода небольшой единый клан, представлявший собой самое сильное ядро молодежи университета и свободных профессий; и вся эта однородная группа была сосредоточена вокруг Дантона.

Если бы вы стояли в Cour du Commerce во времена Дантона и смотрели на север, где его дом занимал угол узкого входа, вы бы увидели главную улицу, лишь немного шире двора, идущую под прямым углом. Стоя у входа в узкий проход, вы бы увидели на другой стороне главной улицы, в ста метрах от нее, небольшую башенку XV века, увенчанную остроконечной шиферной крышей и выступающую наружу на круглых опорах.[43] Это был крайний угол () старого монастыря под названием Кордельер (Cordeliers).[44] Здесь францисканцы поселились во времена Святого Людовика, пятьсот лет назад, но стены, которые вы бы увидели, были не тринадцатого, а скорее начала четырнадцатого века, а церковь, которая фланкировала улицу, была шестнадцатого века, и пристройки были сделаны во все периоды. Выйдя из Cour du Commerce и поднявшись по улице, вы увидели бы монастырь, простирающийся по всей противоположной стороне, от маленькой башенки на углу до церкви Св. Кома на Rue de la Harpe, за исключением места, где он прерывался частными домами, и места, где он был разорван небольшой улочкой, ведущей к залу Университетского колледжа, который поддерживал монастырь. Как и многие другие великие учреждения, это богатое место находилось в полном упадке, и сводчатый зал с его тусклым светом и гулким эхом был отдан под собрания района, а позже под гром голоса, который отбросил назад армии Европы. Этот зал — единственное из всех средневековых зданий Кордельеров, сохранившееся до наших дней, — сегодня является Музеем Дюпюитрена.

Есть еще один момент, о котором следует упомянуть, прежде чем мы сможем составить полное представление о положении Дантона перед выборами 1789 года. Нет сомнений в том, что масонские ложи оказались мощным инструментом в формировании общественного мнения, и хотя наша информация об их образовании в Париже скудна, мы можем с уверенностью утверждать, что Дантон принадлежал к ложе «Девяти сестер», в которую входили такие члены, как Сийес или Бэйли, с одной стороны, и Коло Д'Эрбуа, с другой[45]. Было бы глупо переоценивать влияние этих обществ. Последующая история их членов

довольно ясно доказывает, что связь между ними была слабой (кто может, например, упрекнуть Демулена в тайной поддержке Бейли []?), и (что гораздо важнее) сам характер их состава эффективно опровергает любые тайные или заранее согласованные действия. Глупый Бейли, ученый Съес, замечательный, непрактичный, высоконравственный Кондорсе, слабый Гарат, Колот д'Эрбуа, потенциальный красный, — все они были членами одной кровати! Они могли быть не более чем ассоциациями, которые привлекали людей своим характером взаимной помощи и возможностями клубной жизни (тем комфортом, которого так не хватало в Париже). Они были санкционированы и были одним из немногих видов убежища от общества, в котором политические дискуссии пришли в упадок и где совместные действия были почти неизвестны.

Это, по-моему, все, что следует придавать им значения. Там, где люди свободны, где избирательное право открыто и общее, тайные общества вполне могут вызывать опасения; их деятельность всегда будет отделена от деятельности общества в целом и может скрыто противоречить воле нации. Но в обществе, где иссякли воссоединение, дискуссии и все то, что является кровью гражданской политической жизни, тогда, как особое лекарство, которое лечит, они имеют отличное применение. В таких обществах они могут просто поддерживать привычку к политическим беседам и ожиданиям, и они могут развивать, по крайней мере, в некоторых, тот организаторский дух, без которого политическое движение дегенерирует в анархию.

Такова (подводя итог) позиция Дантона непосредственно перед парижскими выборами. Он находится в окружении своих молодых друзей-революционеров на окраине Латинского квартала; его ежедневная работа заключается в ведении в своем офисе на северном берегу и во дворце в Сите важных дел в высшем суде, что приводит его в контакт с министрами, крупными корпорациями и, особенно, с различными органами правительства старого режима — ведь именно в делах за и против них вступал в игру Conseil du Roi. Его доход был достаточен для его « » потребностей и для медленной, но методичной оплаты его практики. Он составлял (мы можем предположить) около 25 000 франков, возможно, немного меньше, но не намного, поскольку был получен от одного из самых важных дел канцелярии того времени, а его клиентура, судя по именам, которые дошли до нас, была богатой и влиятельной. Он был очень начитан; он не ожидал и не планировал политической карьеры, как многие его друзья (например, Демулен), но некоторые черты, которые он быстро развивал, или, скорее, открывал в себе, готовили его к этой карьере по необходимости. В ходе дискуссий и веселья он сначала понял, что он оратор, а затем, что его энергии хватает на целую группу людей и что он может избежать лидерства только ценой полного уединения. В эпоху бесчисленных памфлетов он никогда не брался за перо вне своей профессии; и в дни, когда рождались пламенные сравнения Камиля и только начинали ощущаться бред Марата, он написал всего три серьезных, ученых, лаконичных и скучных мнения, которые были замечательны в аргументации, ясны в изложении и терпимы только для пожилых юристов.

Что касается его политики, то он был полностью сосредоточен на внешних вещах. Кажется, что ему почти полностью не хватало метафизики. Франция была разрушена и с каждым днем все больше приближалась к катастрофе; нужно было превратить ее в место, где люди были бы счастливы, имели бы достаточно еды и питья, были бы хорошими гражданами, настолько, чтобы сделать нацию однородной и сильной. Реформы должны были быть практичными: отчасти они требовали обсуждения, но не слишком много. Однако частично их основные принципы были уже определены. Экономика учила определенным истинам; пусть они будут применены. Он прочитал у Адама Смита определенные несомненные принципы этой науки;

пусть они будут использованы. Наука предлагала в таких-то и таких-то вопросах определенные средства; пусть они будут применены. Таковы были его чрезмерно упрощенные цели. Он был энциклопедистом. Не было ли у него тогда никаких убеждений в политике? Несомненно, верил; никто не может желать «добра», не чувствуя его. Но, как и все умы его типа, он отказывался анализировать. Его догмы были тем более догмами, что он принимал их настолько само собой разумеющимися, что отказывался даже их определять. В то время, когда все люди имели готовые формулировки своих основных принципов, его принципы были скорее смутным инстинктом, который, в конце концов, ближе всего к истине. Патриотизм, товарищество, свобода для его деятельности, удовлетворение жажды знаний — всего этого он желал для себя и для государства. И именно поэтому вы найдете его великую фигуру во главе толпы и смелых преступных деяний, когда речь идет о спасении нации или, позднее, о разрушении инквизиторской идеи. Именно эта простота делает его смелым, а эта концентрация на нескольких очевидных моментах делает его рассудительным, беспринципным и успешным в выборе средств и фраз.

24 января 1789 года были созваны первичные выборы. Это был повод для движения, особенно в Париже, поскольку это было первое конкретное действие после стольких обсуждений, внимания и лихорадки. Округ Кордельеров собрался в зале, о котором так много говорилось выше. Но, похоже, ничего важного не было решено, если только мы не назовем важным то есть начало привычки собираться и открыто обсуждать вопросы. В течение трех месяцев это место, по-видимому, было открыто для всех желающих из этого квартала. Здесь был составлен *cahier*, и были заложены грубые основы того, что впоследствии стало известным как «*République des Cordeliers*». Но, как я уже говорил выше, мы не имеем никаких сведений о роли Дантона во всем этом. Мы можем только строить догадки и делать выводы.

21 апреля наконец состоялись выборы. Все избиратели собрались в центральных залах своих округов (в основном в церквях) и избрали выборщиков, которые, в свою очередь, должны были назначить депутатов от Парижа. О роли Дантона в этом важном событии мы снова ничего не знаем. М. Бужеар^[46] считает само собой разумеющимся, что он был по крайней мере «президентом округа», председателем (как мы бы сказали) избирательного собрания; но он либо ошибается, либо полагается на какие-то устные свидетельства, которые он нам не предоставил. У нас нет документов, подтверждающих это, и мы знаем, что три месяца спустя президентами были последовательно Тимберг и Ашимбо, два адвоката округа, а не Дантон.^[47] Что мы знаем наверняка, так это то, что Кордельеры были среди тех округов, которые не распались после выборов, а сохранились как постоянный клуб. Эта акция округов имела первостепенное значение в истории Революции. Она породила муниципальное движение в июле, сделала Париж организацией, дала городу метод и голос и, более чем любой другой случай, подняла Дантона на вершину.

После завершения выборов в Париже ворота Революции были открыты, и Генеральные штаты, чьи первые принципы были сформулированы Палатой общин, были окончательно сформированы, поскольку Париж завершил голосование намного позже, чем провинции. Парламент собирается в Версале, и этот город на следующие шесть месяцев становится центром официального интереса. Но поскольку Париж по своей судьбе будет сердцем реформы, а Дантон — трибуном Парижа, для целей этой биографии мы должны упоминать о собрании только в связи с тем, что происходило в столице.

Настроение в Париже в течение первых двух месяцев работы парламента, как уже было сказано ранее в этой главе, было в основном тревожным и настороженным. Но этому беспокойству города потребовалось много времени, чтобы найти формулу и осознать свою сущность. Парижу нужно было руководство, но, слушая беспорядочный гомон тысяч голосов, можно было подумать, что все его требования сводятся к ряду более или менее противоречивых идеалов. И все же никаких признаков партийности не было. Можно сказать, что, по справедливому парадоксу, именно его клики способствовали сплоченности. Высшая буржуазия сначала могла позволить себе игнорировать группу Латинского квартала, считая молодых юристов и студентов просто глупыми демагогами, не представляющими даже опасности. Уши последних были закрыты для смутных требований народа, и ораторы могли искренне верить, что движущей силой перемен будут идеи, а не голод. К счастью, их позиция никогда не была полностью заброшена, и революция от начала до конца одолела материализм и сопутствующую ему анархию. В конце концов, бедняки — безработные, голодающие рабочие, пострадавшие от экономического кризиса, — стоявшие в стороне от этих двух ведущих классов, смогли убедить себя, что громкие лозунги означают хлеб, а конституция каким-то неопределенным образом связана со снижением цен. В этом инстинкте они были правы, но, с характерной для толпы живописной неточностью, они сильно недооценили длину связующих звеньев.

Местом, где лучше всего можно было найти среднее значение этих разных точек зрения, был Пале-Рояль. Здесь в садах, которые герцог Орлеанский открыл для народа, собирался большой народный форум. Не было плохо, что долги этого развратника и авантюриста заставили его сдать в аренду первый этаж широкого четырехугольника, потому что окружавшие его кафе и магазины делали его более постоянным местом отдыха, чем могли бы быть площади или сады, и там мог постоянно собираться народный парламент из дня в день. Его ораторами были дантониисты; его зачинщиками, боюсь, были беспринципные люди, окружавшие Орлеанского, а его комитетской комнатой и центром (так сказать) было кафе Фой. Тем не менее, благодаря действию главной добродетели революций, общее настроение собрания было сильнее любого демагога; ведь в такие времена общество не только бурное, но и изменчивое, и хотя оно поддерживает лидера, который умеет плавать, никакая смертная сила не может дать ему иного направления, кроме того, которого оно желает.

В этой великой ежедневной толпе Дантон был заметной, но не главной фигурой; несомненно (хотя мы не можем доказать это никакими записями), он начал выступать в своем округе, и мы можем предположить, что его голос был услышан в Пале-Рояле еще до июля; ведь сразу после падения Бастилии его имя упоминается в разговорной речи. Но даже если бы он хотел отождествить себя с этим местом, что сомнительно, его профессия не позволила бы ему этого. Он не был безработным, неженатым и свободным, как Демулен, а был человеком с трехлетним стажем в высшей ветви своей профессии; однако, несомненно, он присутствовал ежедневно, когда толпа была самой густой — я имею в виду праздники и летние вечера.

Все эти памфлеты, дискуссии, насилие, салонные беседы, ораторское искусство и тревожная критика, даже насилие толпы, разжигаемое голодом и плохими законами, нашли свое воплощение в трех знаменитых днях, последовавших за 12 июля 1789 года. Вся эта история известна всему миру, и даже если бы она была неизвестна, было бы невозможно подробно описать ее в этой книге, поскольку имя Дантона едва ли имеет к ней отношение, и единственное, что нас здесь интересует в связи с его жизнью, — это выяснить, принимал ли он участие в уличных боях; что же касается самого события, одного из самых решающих в истории, то нескольких слов будет достаточно.

Париж, и особенно Пале-Рояль, с нарастающим гневом наблюдали за борьбой в Версале. Там, в двенадцати милях от Парижа, все цели, для которых собрался парламент, и все хорошее, что, казалось, гарантировали выборы, оказались под угрозой. Шаг за шагом Палата общин была фактически, хотя и не в своих формулировках, побеждена, и обещания, данные шесть месяцев назад, оказались под угрозой не из-за какого-либо известного или предсказуемого врага, а из-за внезапного появления оппозиции, которую нация, и особенно Париж, игнорировали. Король отступил от своей позиции, занятой в декабре прошлого года, а привилегированные сословия симпатизировали растущей реакции. Насколько все это было связано с неконституционными и беспрецедентными действиями Палаты общин, настаивавшей на созыве Генеральных штатов, здесь обсуждать не приходится. Достаточно сказать, что, по мнению нации, новый курс Палаты общин полностью соответствовал духу, если не букве, недавних декретов; считалось, что король нарушил свое слово, а привилегированные сословия отказались от своих заявлений перед лицом фактов. Символом конституционного положения, хотя и неудачным, была личность Неккера. Самонадеянный, иностранный и заурядный, отец писательницы, которую не могли терпеть ни Наполеон, ни потомки, геновский буржуа до мозга костей, этот бессильный человек, по иронии истории, все же стоял на месте идола. Он, банкир, был в тот момент воображаемым защитником другого человека из Женевы, умершего от преследований десять лет назад, нежного, бродячего, несчастного Руссо, между которым и ним была такая же дистанция, как между финансистом и апостолом.

В то время как король менял своих советников и даже в то время, когда иностранные войска — роковая ошибка — собирались в жалкой нехватке на Марсовом поле (не далее трех миль от Пале-Рояль), Неккер по-прежнему стоял как деревянный идол, своего рода фетиш, защищающий от силы. Он просто не давал растущей вере в распад стать уверенностью, и из-за его позиции Париж ждал. В связи с этим король приступил к реализации своей великой программы, направленной на благо своего народа. Полагаясь на три тысячи иностранцев, полк внутренних войск и практически отсутствие оружия, с помощью которого можно было бы удержать в узде извилистый город с почти миллионным населением, король в субботу, 11 июля, уволил Неккера.

Демулен первым принес эту новость, прибежав. Было воскресенье, и Пале-Рояль был переполнен. Он забыл о своей заикании и нерешительности и крикнул большой праздничной толпе в садах, чтобы они сняли с деревьев символы, повел их на марш к площади Луи-Квинт, увидел, как французские войска защищают своих сограждан от конных наемников, и услышал в ночь террора и гражданской войны первые выстрелы Революции.

Весь следующий день, понедельник, 13 июля 1789 года, Париж организовывался и готовился. Благодаря постоянному присутствию ассамблей в некоторых районах, был готов грубый механизм, и 14-го, во вторник, две большие толпы решились взяться за оружие. Время не было безмятежным, поскольку Сен-Юрж был там, обещая и возглавляя, но если Д'Орлеан и пытался извлечь максимальную выгоду из этого приключения, он не создал восстание больше, чем мельник создает прилив. Одна группа людей захватила арсенал в Инвалидах на западной стороне города, другая, меньшая по численности, направилась на восток и потребовала оружие у губернатора Бастилии, места, которое было невозможно взять штурмом. Требование было отклонено.

Однако группе людей было разрешено войти во двор, для чего был опущен подъемный мост: как только они попали в эту ловушку, Де Лоне открыл по ним огонь и застрелил их. Нет и никогда не будет доказательств мотивов этого необычного поступка, но для простого народа, который собирался и собирался вокруг в узких улочках, это был акт преднамеренной измены,

часть того духа, который не чужд нашему времени и который разрушил сотни реформ, — я имею в виду мнение, что между правительством и восстанием не может быть чести. Несчастье или преступление Де Лоне произвело явное впечатление на толпу; если после этого они потерпят неудачу, то удар, наносимый парламенту, также будет неудачным. Так, под тусклым серым небом, весь Париж, как бы, вместе бросился к осаде крепости. Там были священники, подбирая свои сутаны и присоединяясь к толпе, в частности, человек, который когда-то был приходским священником Дантона, викарий Сен-Жермен, с его паствой на хвосте, как добрый священник из Базеиля в более поздние времена или юмористичный епископ Бове шесть веков назад. Юристы, студенты, лавочники, купцы, крупный пивовар квартала, педанты, клерки в конторах, солдаты и их офицеры, даже молодые дворяне — в Париже не было никого, кто бы не поддался этой лихорадке. Замок в конце концов пал, потому что его гарнизон симпатизировал толпе (сам по себе он был неприступен); старый губернатор предпринял тщетную попытку взорвать свою крепость и свой штаб; несколько человек, которые все еще подчинялись ему (вероятно, двадцать швейцарцев), открыли огонь по толпе сразу после того, как на башне Базиньер был поднят белый флаг, и огромная волна людей, обезумевших от двойного предательства, устремилась к крепости. Вторым на стене был человек, о котором в этой книге еще придется говорить — Эро де Сешель, молодой, красивый, из знатной семьи, любимый при дворе и даже избалованный особыми привилегиями, друг и товарищ Дантона, которому суждено было пять лет спустя оказаться с ним в одной телеге, когда они все вместе поднялись на эшафот в ясный апрельский вечер в расцвете своей молодости.

Кордельеры участвовали в нападении, и, по-видимому, Дантон тоже, поскольку там был весь мир. Но единственная его аллюзия на эту сцену — фраза из его циркуляра судам, когда он занял пост министра юстиции в 1792 году: « » (Слуги закона), и он упоминает только свой округ, не включая свое имя. Один анекдот, и только один, связывает его с июльскими днями. Похоже, что на следующий день, ранним утром 16-го, он возглавлял патруль в ходе внезапной мобилизации, о которой будет сказано в этой главе. Он счел своим долгом пройти через двор Бастилии, вероятно, чтобы собрать отдельную часть своего подразделения, но встретил Сулеса, которого на неформальной встрече в Отель-де-Виль назначили губернатором. Полный новомодной важности, Сулес помпезно запретил ему входить и показал свою комиссию. Дантон поступил характерно для него, что было неотъемлемой частью того интенсивного сепаратизма, на котором он основывал все свои действия, пока Париж наконец не обрел независимость: для него власть исходила снизу, и вооруженный район имел право прохода: он назвал неформальную комиссию «тряпкой», арестовал Сулеса и запер его в караульной комнате в Кордельерах; затем, с довольно большими силами, он провел его обратно по улицам и передал его под стражу Отель-де-Виль, чью власть судить он признавал. Это дело не имело бы никакого значения, если бы не тот факт, что в очень естественной и в целом справедливой критике, которую неформальный муниципалитет высказал в адрес действий Дантона, Лафайет проявил особую горечь.^[48] Это было первое столкновение между двумя людьми, один из которых должен был победить и изгнать другого; и это была типичная ссора, поскольку Дантон выступал за независимость избирательного округа и за власть Парижа над самим собой, а Лафайет представлял принцип сильного муниципалитета, основанного на умеренных идеях и ограниченном избирательном праве, то есть компромисс, который был запланирован с целью заткнуть столицу.

Я говорил о вооруженных силах и патрулях: именно в этом контексте следует рассматривать значение июльских дней — для Дантона и для Революции. Они, прежде всего, представляют

собой муниципальную реформу. Те города, о которых я говорил как о связующем звене Франции, внезапно вернулись к своим первоначальным институтам и организовывали коммунальное управление. Париж, конечно, был лидером. Еще до взятия Бастилии некоторые районы сохранили свои избирательные коллегии в качестве постоянного комитета, и эти избирательные коллегии собирались в Отель-де-Виль, образуя грубое правительство на две ночи восстания и в конечном итоге направляя все движение. Такой орган был по необходимости слишком велик, чтобы работать. Но его планы были быстро сформированы. Они назначили комитет, который состоял из избирателей с добавлением одного гражданина (не являющегося избирателем). Они пригласили и получили помощь постоянных должностных лиц того, что когда-то было старой умирающей и коррумпированной корпорацией, и таким образом сформировали нерегулярный, но достаточный орган управления городом. Он не был утвержден сверху и в течение нескольких дней не имел никакой власти от короля, но опирался на силу, которая в теории того времени считалась источником власти, поскольку состояла из людей, избранных по новой избирательной системе. Они были избраны для другой цели, но были единственными представителями народа, присутствовавшими в Париже.

Однако их слабость заключалась именно в этом их качестве. Опираясь лишь на силу районов, они не могли действовать с центральной властью и не имели собственных вооруженных сил. Они действительно могли предотвратить успех грубой анархии, которая угрожала самому Отель-де-Виль ранним утром 14 июля, перед штурмом Бастилии, но они не могли предотвратить линчевание тех, против кого восстала народная ярость — Де Лауне, Де Мера, Де Персан. Что касается силы, то они организовали огромный набор из 1200 человек из каждого из шестидесяти районов (), и эта сила, с некоторыми дополнениями, выросла до 78 000 человек. Именно в этой внезапно вооруженной милиции Дантон был избран капитаном (на данный момент), и в связи с ее полицейскими обязанностями в ночи после взятия Бастилии произошла его ссора с Сулесом. Они назначили Бэйли своим первым мэром. Они передали командование новой национальной гвардией Лафайету; 16 июля они приказали, с помпой труб на площади Грев, разрушить Бастилию, в которой был установлен их новый губернатор. Но при всей этой энергичной деятельности следует помнить об одном важнейшем факте: вся их власть исходила снизу, не только в теории, но и на деле. Мы можем привести метафору, чтобы выразить будущее влияние этого, и сказать, что в самом начале революции орган власти в Париже был заражен органической слабостью, которую не могли устранить никакие структурные изменения и на характер которой можно проследить все последующие события в течение трех лет. Оно было по сути *федеральным*; слабым в центре, постоянно просящим разрешения, морально слугой, а не хозяином; лишенным прежде всего высшей силы убеждения, оно действовало без власти, потому что не верило в себя.

Таким образом, история его борьбы с экстремистами — это история органа, пытающегося с помощью компромиссов и уловок достичь положения, теорию которого он открыто отрицает, моральное право на которое он не подтверждает, и само существование которого зависит от тех, кого он хочет принудить против их воли. Муниципалитет пытался быть сильным правительством, открыто одобряя добровольность, быть сильным в своих действиях и слабым в своей структуре. В конечном итоге центр компромисса захватывают ярые революционеры, которых он пытался сдержать, и *тогда* мы получаем настоящий деспотизм в Париже — ужасную коммуну второго периода Республики и ТERRORA.

Но если характер нового муниципального правительства (характер, который стал особенно заметным после законодательного закрепления всей системы позднее в том же году)

является особенностью движения, то его общая мотивация, конечно, более важна. Мы называли его Реформой; то, что произошло в следующие несколько дней, без всякого сомнения, было началом активной Революции, и небольшой анализ фактов покажет, что взятие Бастилии было не просто драматическим событием и тем более не преувеличенной *драмой*, как ее представляют некоторые современные защитники, а, напротив, основой всего. Современники оказались правы в своем взгляде на этот вопрос, как и на многие другие.

Почему так произошло? Потому что, во-первых, захватив Бастилию, после разграбления Инвалидов, жители Парижа (поскольку это была не какая-то конкретная толпа, а собрание представителей всех возможных классов) завладели всеми пушками в городе и были полностью снабжены стрелковым оружием. Они внезапно стали хозяевами того недостаточного лагеря на Марсовом поле, на который полагался король. В открытой местности и без артиллерии эти семьдесят тысяч гражданских лиц, конечно, были бы как овцы, но в городе и с рядом старых артиллеристов (офицеров и солдат), которые могли бы обслуживать орудия, дело обстояло иначе. 14 июля 1789 года и после этой даты Париж обрел то владение собой, которое мы считали его первым большим стремлением в Революции.

Во-вторых, этим внезапным ударом Париж заставил двор капитулировать. В Версале король без головного убора явился в Ассамблею, дал разрешение на воссоединение трех сословий, на обсуждение жалоб перед принятием бюджета, на название «Национальная Ассамблея», на создание конституции перед голосованием по финансовым мерам — одним словом, на все, что требовали общины, и на выполнение всех обещаний, от которых он пытался отказаться.

В-третьих, победа, или, вернее, акт Парижа, изменила и ослабила оппозицию. От открытого сбора войск и хвастовства о приближающемся нападении на парламент они были вынуждены перейти к интригам и сложному делу вооружения в тайне. Многие лидеры реакции (в частности, граф д'Артуа) покидают Францию в ходе «первой эмиграции», и вся деятельность бескомпромиссной партии ослабевает и становится явно ненациональной.

В-четвертых (и, возможно, это самый важный момент), муниципальное движение, о котором упоминалось выше, возникло непосредственно после 14 июля. Города узнают об отставке Неккера и парижском восстании от одного и того же курьера, и через неделю или десять дней эта история повторяется по всей Франции. Руан, Лион, Валанс, Монпелье, Ним, Тур, Амьен (чтобы привести лишь несколько наиболее заметных примеров) организуют новое городское правительство. Иногда старый наследственный или назначаемый орган смещается, чаще он расширяется за счет добавления избирательного колледжа города; иногда он берет на себя задачу добавить к себе представителей трех сословий. Опять же, города вооружаются, как это сделал Париж; и, наконец, благодаря тому, что один из современников назвал «спонтанной анархией», вся сеть городов получает импульс и вибрацию Парижа; тысячи национальных гвардейцев проходят учения; ржавая, запутанная и сломанная машина *старого режима* заменяется простой, хотя и грубой системой местного самоуправления. Более того, поскольку все это было сделано самим народом, без приказа или централизованных усилий, поскольку это естественно, а не искусственно, оно вошло в состав Революции и не может быть отменено.

Вы видите, что июльские дни дали Парижу право первых слов и создали дух сектантства и местной автономии, основанный на высокодемократической теории. Все эти вещи являются условиями для подъема Дантона; они делают возможным и даже необходимым общество, в

котором он будет руководителем. После 14 июля кордельеры собирались ежедневно; в девять утра над церковью звонил колокол, и проводилось собрание района.^[49] Это еще не был знаменитый «клуб», но, рассматривая деятельность народных обществ в Париже, мы должны всегда помнить, что это общество, еще до того как оно официально приняло свое окончательное название и функции, было организовано для дискуссий и действий и было первым из созданных.

С самого начала это знаменитое собрание отличалось своим духом — духом, который позже отделил его не только от умеренных клубов, таких как фейанты, но и от самих якобинцев. Во-первых, оно было парижским; оно не пыталось вести пропаганду в провинции, ограничиваясь действиями в Париже и даже в его непосредственном окрестностях. Во-вторых, оно было чисто народным. Но (можно спросить) разве якобинцы на более позднем этапе не были чисто народным клубом? Нет, не в том же смысле. Якобинцы, как будет показано далее в этой книге, были организованным органом; публика допускалась на их галереи, но даже в самый горячий период революции они отличались тесной связью с широкими массами. Их членство почти исключительно ограничивалось политиками, а их деятельность носила инквизиторский характер. Они проповедовали определенные политические догмы и ставили своей задачей направлять революционное течение; они стремились установить во Франции своего рода республиканскую религию, и позже мы увидим в Робеспьере их верховного жреца и диктатора.

У кордельеров не было ничего подобного. Если роялистские писатели с самого начала начали называть их «République des Cordeliers», то это потому, что они демонстрировали общий дух, который, скорее всего, Дантон привнес в свой округ, а не получил от него (). Свобода мнений, ценность разнообразных дискуссий, открытые двери и даже смешение с улицей — таковы были их методы. Число людей, сидевших на скамейках, варьировалось от ста до трех^[50], в зависимости от интереса к дебатам или важности случая. Число, внесенное в реестры общества, было просто общей численностью избирателей округа; в условиях ограниченного избирательного права того времени оно колебалось около шестисот человек; отсюда мы можем сделать вывод, что те, кто был настолько сильно затронут современным движением, что добавил к своим голосам еще и участие в собраниях и дебатах, составляли добрую половину избирателей. Сгруппировавшись или перемещаясь в дальнем конце зала, стояли случайные посетители, лишенная избирательных прав толпа района — даже те, кто не проживал в этом квартале, но кого привлекли гнев, интерес или любопытство. Она состояла из самых разных людей — педантичного, но точного Съеса; притязательного радикала и поэта Д'Эглантина; грубого, жестокого и атеистического Эбера; Демулен, горячий и восхитительно утонченный, своим стилем связанный с классиками своей страны и Рима; Лежандр, мастер-мясник, не великий политик, но честный друг; и, в дополнение ко всем этим, адвокаты. Преобладали молодые люди, студенты и адвокаты в возрасте около тридцати лет; но в целом это было самое представительное, самое общее из собраний.

Таким образом, общество, из которого выходит Дантон, характеризуется следующими чертами: оно всегда стремится защищать присутствие всего народа в политике; оно унитарное, стремящееся прежде всего создать общую основу, на которой французы могли бы гармонично построить новый порядок; и, наконец, оно не имеет ничего общего с метафизическим духом, бытовавшим в то время за рубежом. Оно полностью настроено на действия в соответствии с общими чувствами — защиту новой индивидуальной свободы, скорейшее уничтожение всех пережитков старого механизма, которые могли быть пощажены из-за страха или инертности некоторых реформаторов.

Я не могу оставить то, что уже превратилось в чрезмерно длинное описание их политической позиции, не коснувшись одной их черты, которая, хотя и не была принципом, но была методом действия, неизбежно вытекающим из их идей. Кордельеры по сути своей «фрондоны». Они мятежны и находятся в оппозиции до тех пор, пока революция остается незавершенной. Они совершают намеренно незаконные действия, но справедливо считают их соответствующими духу реформы и способствующими ее быстрому развитию. Почему так? Потому что на следующий день после того, как Париж захватил позиции, в тот самый момент, когда город заставил реакцию уйти в подполье, его власть была ограничена. 17 июля король прибыл в Париж и утвердил революционные назначения. Бэйли стал мэром, а Лафайет — главой Национальной гвардии. В этих двух именах заключаются силы, или, скорее, сопротивление, с которым Дантон и Кордельеры взяли на себя задачу бороться. Оба они были любезны, оба слабы и оба искренни; но один принадлежал к высшей буржуазии, а другой — к дворянству; оба были полны сильных классовых предрассудков; оба думали скорее об ограничениях, которые нужно наложить, чем о великих переменах, в которых они жили. Незначительные движения, которые Бэйли мог принять за энтузиазм, возникали при взгляде в его подзорную трубу; несомненная возбудимость Лафайета пробуждалась при публичном упоминании его собственного имени. Под этими слабостями их внешним проявлением была напыщенность, а их политическая деятельность — попытка ограничить революцию средним классом. Так, позднее, шестьдесят округов были заменены сорока восемью секциями (), чтобы лишить парижских радикалов возможности манипулировать выборами; так Бэйли пытался противостоять парижским призывам к парламенту; и так Лафайет не только пытался превратить Национальную гвардию в политическую армию, но и сделал невозможным вступление в нее бедных.

Против всего этого выступили кордельеры. Такое частичное представление о государстве было враждебно тому идеалу, которым они жили и который сформировал республику во Франции и демократию Джефферсона в Америке. Всего через четыре дня после того, как король надел трехцветную кокарду и улыбался с балкона Отель-де-Виль, они издают и печатают резолюцию об использовании вооруженных сил своего округа по своему усмотрению; они (конечно) не претендуют на дальнейшие действия, но решают сами стать полицией, которая будет доставлять заключенных в трибуналы.^[51] В конце 1789 года, и особенно в следующем году, мы увидим, как они в деле Марата, выборах Дантона, *Mandat Imperatif* и *Châtelet* постоянно действуют в духе местной автономии и отказываются признавать какую-либо центральную власть, кроме власти всего народа, — после каждого восстания склоняясь перед Ассамблеей, но отказываясь признавать буржуазную власть.

Конец июля ознаменовался уничтожением феодализма во Франции. Когда города с шоком впали в новые условия, большая пыль деревень сама по себе поднялась в бурю, и по всей сельской местности пронеслась странная паника, «Великий страх», легенда о которой остается среди крестьян и по сей день в революционных воспоминаниях.

Леса были полны ужасов; пахари выходили ночью группами, чтобы встретить невидимые армии; неосязаемый враг угрожал тысячам маленьких одиноких деревень, лежащих без защиты на окраинах лесов или затерянных на бескрайних равнинах. В этой таинственной панике возникла Жаккерия; запуганные и угнетенные, забывшие о великодушном гневе, который делает людей храбрыми, поднялись под кнутом страха. Они слышали об обещаниях реформ, они видели составленные *sahiers*, чтобы они могли стать свободными людьми, и все же близлежащий город поднялся и вооружился, потому что что-то пошло не так; королю, которого они любили, не позволяли помогать своему народу; кто-то задерживал или разрушал их надежды, и бандиты спускались по дороге. Не с помощью комитетов,

организаций и батальонов, как только что сделали умные жители городов, а инстинктивно и с анархией факелов они уничтожили скелет-идола старого режима. Как и их отцы четыреста лет назад, они вышли, чтобы уничтожить записи о своем рабстве, и там, где эти записи защищали, сжигали загородные дома. Но на этот раз мести не последовало: дикий зверь был мертв. Когда в шумную ночь 4 августа привилегированные люди раздали свои права, то последняя щедрость дворян, «оргия», как назвал ее Мирабо, была лишь подарком того, что уже было взято. После Парижа, после городов, крестьяне внезапно подкрепили слова делом; возможно, именно их бесформенная и неопределенная энергия заложила самый тяжелый из фундаментов, ведь нам говорят, что через двадцать лет вернувшийся из изгнания человек подумал, что Франция заново заселена новым видом людей.

Неудивительно, что в условиях, когда пожар только что угас, а дух самоотречения царил повсюду, начался регулярный поток эмиграции. Но это не лишило оппозицию власти, хотя и лишило ее лидеров. Если мы рассмотрим положение двора, столицы и Ассамблеи в августе и сентябре, то станет ясным следующий большой шаг (и первый в связи с которым имя Дантона напрямую связано).

В Версале вся первая половина августа была занята голосованием по знаменитому декрету, который закрепил итоги дебатов 4-го числа. Парламент отменил феодальные сборы, объявив об окончании всех прав на службу и установив срок для выкупа государством и последующей отмены остальных феодальных сборов. Вся вторая половина августа и весь сентябрь были заняты составлением декларации прав человека и принятием основных статей новой Конституции. Таким образом, Национальное собрание в целом является органом Франции. Оно еще не настолько разделено, чтобы вызвать определенные партийные настроения в столице или помешать практически единогласному голосованию по важным вопросам. Но есть еще один фактор. При дворе (особенно при королеве) сформировалась определенная партия; она поддерживает переписку с эмигрантами, а те, в свою очередь, — с отдельными личностями, если не с официальными органами иностранных правительств. Без всякого сомнения, целью этой очень небольшой и очень влиятельной группы было остановить революцию и, по возможности, стереть последние шесть месяцев. Между ними и над ними стоит король. Людовик (мы слишком склонны забывать об этом, зная, что будет дальше) по-прежнему обладал гораздо большей властью, чем даже Национальное собрание; не только благодаря политическим декретам того времени, но и благодаря той неизмеримой силе обычая, той привязанности, которую он лично внушил большей части народа, он был могущественным королем. Какова была его позиция? Он был патриотом; он глубоко сочувствовал идеям, лежащим в основе реформы; он был разумным человеком и понимал практическую ценность избавления от того, что было сломано и изношено. С другой стороны, он не был смелым (особенно перед лицом неизвестного); новые события раздражали его; он был (в результате своего воспитания) полон решимости сохранить в своих руках большую часть власти, и иногда он впадал в панику от фразы или дискуссии, которые, как ему казалось, ставили ее под угрозу. Наконец — что было чрезвычайно важно для человека с таким уравновешенным характером — люди, с которыми он охотился, обедал и беседовал, были почти все членами могущественной, жестокой и искусной фракции, возглавляемой самой решительной и способной из всех — его женой, к которой он в последнее время проявил заметную нежность и даже уважение.

Этот круг придворных, которые были злым роком Луи, обладал определенным качеством, которое давало им большую власть, несмотря на их небольшое число. Надо помнить, что они были высококосмополитичным типом людей, которые поколением ранее восхищались остроумием Вольтера, а поколением позже улыбались, просто услышав имя Талейрана.

Возможно, никогда не было более подходящего органа для оказания влияния на изолированного человека с помощью фраз, непрерывных разговоров и интриг.

Каков результат? Король, всегда искренне намеревавшийся провести реформу, всегда колеблется чуть слишком долго, испытывая сомнения, которые часто имеют интеллектуальное происхождение и иногда мудры по своей природе, но в данный момент являются неразумными. Он колеблется, подписывать ли указ от 4 августа[52]; он колеблется по поводу того или иного выражения в Декларации прав. Он очень не хочет отказываться от абсолютного вето; в течение всего сентября слышно, как скрипит механизм, и с наступлением осени ситуация ухудшается.

Тем временем в Париже две силы работают над тем, чтобы усугубить кризис в Версале. Во-первых, народные общества, в частности собрание в Пале-Рояле, которое теперь является почти парламентом, где слышны все известные парижские имена и откуда исходят эти любопытные документы, пародии на старомодные декреты[53], нередко обладающие силой вызвать восстание (). Во-вторых, цены на продукты питания, особенно на муку, быстро растут. В первой главе мы объяснили, насколько в значительной степени нехватка продовольствия в городах была вызвана злонамеренным вмешательством в обмен: когда это является основной причиной экономических проблем, малейшее возмущение усугубляет их в значительной степени; так, в то время как на севере собирали урожай, а на юге он уже был заготовлен, запасы зерна в столице были практически исчерпаны.

Таким образом, любопытно, что параллельно (и частично пересекаясь) интенсивный политический интерес избирательного класса и растущее бедствие народа фатально приближались к дням октября. В Кордельерах, не имевших в своих рядах педантов, практичных, бдительных, обсуждавших вопросы при открытых дверях, встретились два революционных интереса: интересы политиков и интересы бедных; и именно поэтому они так громко звучали в сентябре, и именно поэтому Дантон и его округ стали известны непосредственно перед походом на Версаль.

Следует помнить, что собрание избирателей в Отель-де-Виль провело Париж через великую бурю 13-17 июля; их полномочия были неопределенными и неконституционными, поскольку изначально они были избраны лишь для того, чтобы выбрать депутатов от Парижа, тем не менее именно они сделали Бэйли мэром, назначили Лафайета, сформировали Национальную гвардию и были утверждены королем в своих функциях временного муниципалитета. Действуя на основании этого декрета, который давал им право принимать политические инициативы, в четверг, 23 июля, они разослали циркуляр в шестьдесят округов с просьбой назначить по два члена. Сто двадцать избранных членов должны были разработать план нового муниципалитета; они собрались, сделали это, и результатом их работы стало принятие 30 августа плана новой муниципальной системы, который был вынесен на обсуждение в каждом округе. Однако, что несколько нелогично (), к этому сложному документу был приложен указ, требующий немедленного избрания в каждом округе пяти членов для формирования новой корпорации. Другими словами, первичным выборам было предложено сформировать новый муниципалитет, наделить его полными полномочиями, а затем академически обсудить то, что они сделали.

Возможно, это была всего лишь оплошность, но кордельеры встревожились тем, что, безусловно, выглядело как заговор со стороны умеренных. Проект и указ поступили к ним в воскресенье, 30 августа; к четвергу, 3 сентября, они приняли решение отклонить указ. Они утверждали, что абсурдно просить округа обсуждать проект *после того, как* его наиболее существенная часть уже была реализована, а именно выборы депутатов. Большая часть

дискуссий будет посвящена этим выборам, их методам, полномочиям членов и т. д., и к тому времени, когда округа придут к тем или иным выводам или изменят полномочия своих депутатов таким или иным образом, эти депутаты уже будут некоторое время заседать в качестве муниципального совета и будут помогать формировать или изменять новую муниципальную систему по своему усмотрению. Это было бы не только путаницей, но и посягательством на принцип, в соответствии с которым (номинально) проводились консультации с районами, а именно, что избиратели сами в своих районах должны были обсудить новую систему. Кордельеры назначили комиссаров, которые рассмотрели весь вопрос, и в субботу, 12-го числа, окончательно отклонили указ. Тем не менее, поскольку все другие округа подчинились и избрали по пять своих членов, кордельеры избрали своих пятерых под протестом[54] в следующий понедельник, 14-го числа, и отправили их, связав строгой клятвой, в Отель де Виль.

Этот небольшой инцидент заслуживает весьма пристального внимания, хотя он был несколько упущен из виду историками и даже биографами Дантона. Это была первая стычка в той решающей борьбе между демократической идеей, возглавляемой Кордельерами, и ограниченным избирательным правом первого муниципалитета — борьбе, которая лежит в основе всех действий Парижа. Это первый акт Дантона на официальной должности; во многом, что делали Кордельеры, он явно был лидером, но в этом документе мы узнаем, что он избран президентом округа, и видим его подпись.[55] И, наконец, здесь впервые в революции появляется *Mandat Imperatif*, жестокое и решающее оружие демократов, обязывающее всех делегатов к присяге, механическая ответственность, против которой выступал Берк в Бристоле, которую американская конституция тщетно пыталась исключить из своих основных выборов и которая в ближайшем будущем должна стать методом наших окончательных реформ. Он был поднят, и поднял его Дантон; ибо эти пять депутатов, прежде чем им было позволено присутствовать в Отель-де-Виль, поклялись выполнять определенный план действий, условия которого были продиктованы на общем собрании округа.

Борьба по мере своего продолжения приобретает все большее значение, пока через четыре месяца она не сталкивается с самим Дантоном в Отель-де-Виль; но мы не можем описать ее дальнейшие этапы, пока не упомянем о следующем действии, с которым связаны Кордельеры и в котором их решающая роль в значительной степени определяется революционным лидерством, которое им принесло это столкновение с властями.

Выше мы описали различные силы, которые фатально сходились, образуя водоворот октября — нерешительность короля, отчаянные интриги двора, интенсивное политическое возбуждение в Пале-Рояле и среди избирателей в Париже, растущее бедствие народа. Мы указали, как Кордельеры, с их популярной аудиторией и симпатиями народа, были одновременно единственным крупным местом дебатов в Париже и единственным местом, где силы избирателей и не избирателей могли объединиться. Добавьте к этому эффект описанного выше протеста и положение, которое такая борьба дала им в демократическом движении, и их важность в дни октября становится очевидной.

В конце сентября все эти тенденции сошлись воедино. Снова, после трех месяцев молчания, реакция обрела голос, и неуверенность короля, заговоры придворной фракции привели к прибытию в Версаль военного подкрепления. Численность телохранителей была удвоена, и туда прибыл Фландрский полк — войско, кстати, чье название ассоциируется с чем-то комичным, а чья неряшливость стала легендарной. В этой книге нет места для подробного

описания последующих событий, за исключением тех, которые связаны с Дантоном и Клубом. В четверг, 1 октября, телохранители устроили знаменитый ужин для вновь прибывшего полка. При дворе было все самое лучшее, и под влиянием вина и ночи возникли замечательные чувства лояльности: бедный король обрел ореол лидера для этих людей, чьи полковые традиции были тесно связаны с монархией; солдаты понимали его поражение и, будучи товарищами, злились на его одиночество. Они приветствовали его страстной песней, уничтожили трехцветные кокарды и прикрепили белые ленты; впервые за год энтузиазм был на стороне осажденных, хотя он длился всего несколько часов и охватил лишь несколько сотен человек. Для Парижа, узнавшего об этом на следующий день, в пятницу, это было вызовом «», который, как ни странно, обсуждался с некоторыми противоречиями и путаницей. Люди говорили о Буйе, придворном, и его пограничном командовании в Меце; люди боялись, что он защитит короля в его бегстве в провинции; царило смутное беспокойство и страх анархии в связи с исчезновением короля; прежде всего, в умах политиков царил страх вооруженной реакции, а в умах голодающих — ужас, что реформы, которые были для них так важны, оказались под угрозой. Тем не менее, всю субботу волнения были лишь поверхностными, и можно было подумать, что Париж неспособен к каким-либо совместным действиям.

Но если реакция обладала мощной объединяющей силой в партии двора, то Париж также обладал ею в небольшом собрании и в одном чрезвычайно энергичном человеке. Утром в воскресенье, в день, когда было свободное время для чтения, на стенах появились плакаты с манифестом Кордельеров. Он призывал к восстанию и был подписан именем Дантона. В понедельник утром на колокольне монастыря зазвонили в тревогу, и батальон округа был выстроен и вооружен. Де Кревкёр, их командир, не дал им выступить единым строем, но часть округа решила присоединиться к толпе. Тем временем толпа собиралась со всех концов, особенно с площади Грева — на этот раз настоящая толпа, сопровождаемая, как всем известно, толпой женщин, хлынула по дороге на Версаль. Они устроили ужасную ночь на большом пространстве перед дворцом. Лафайет с опозданием последовал за ними со своими организованными добровольцами, Национальной гвардией, но во вторник дворец был взят, и некоторые из его защитников были убиты. Королевская семья приехала в своей тяжелой карете по двенадцати милям спускающейся дороги в Париж и, не без некоторого торжества, вошла в Тюильри. Национальное собрание последовало за королем в столицу.

Таким образом, был пройден второй важный этап революции — . Из всех революционных дней эти были самыми чисто анархическими. Действия предпринимали люди, едва ли имевшие какие-либо идеи, но сосредоточенные на практической задаче — присутствии короля в Париже. Их главной целью было добро, а методом — безумный гнев. Тем не менее, инстинкт толпы попал в цель. Как и все внезапные действия, оно сделало ясными вопросы, которые до того были неясными. Оно положило конец идее силового подавления реформы на самом начальном этапе; оно дало Парижу контроль над всеми последующими действиями; из множества способов, которые могла бы попробовать партия двора, оно свело их к одному единственному, а именно к организованной тайной дипломатии с целью поднять Европу против Франции.

Что касается Людовика, то можно честно полагать, что его пленение не было для него совсем неприятным: он был менее проницателен, но зато обладал большим здравым смыслом, чем его жена. Если он и ревновал к своему достоинству, которое было тяжело оскорблено, то все же он был очень французским, патриотичным и не прочь был видеть себя объектом бурных требований. Все видели — король, должно быть, тоже видел — что все восстание было монархическим. Во Франции не было класса, более монархического, чем бедняки. Король

как их отец был идеей, вызревавшей в них веками, и он знал, что они делали его своего рода провидением, которое могло дать им пищу; что они восстали не для того, чтобы ослабить его власть, а для того, чтобы лишить силы одну из фракций. И ему не было неприятно быть королем французов, сидящим в центре своей великой столицы и, так сказать, на вершине нового порядка. Октябрь не угрожал сделать его меньшим, а, наоборот, большим королем. Позже, в вопросах, затрагивающих сердце, особенно в вопросах религии, между Людовиком и его народом образовалась пропасть.

Итак, с королем в Тюильри, с Ассамблеей примерно в трехстах ярдах от него, внизу, в садах, в конюшне дворца[56], мы входим в длинную аллею, по которой Париж получает инициативу в каждой последующей реформе. Давайте же снова обратимся к действиям общества и человека, которые вместе определяют направление развития Парижа на следующие три года.

Спор, о котором говорилось ранее в этой главе, нападение района на умеренных, продолжался всю осень и зиму. Четыре раза подряд Дантон избирается президентом[57], и именно под его руководством развиваются события. В то время как Ассамблея создает новую Францию в Манеже, организуя департаменты[58], устанавливая ограниченное избирательное право[59], создавая коммуны по всей Франции[60], Кордельеры создают дух нового Парижа на холме над рекой; этот дух победит и преобразит дебатирующих в парламенте.

22 октября они продолжают свои предыдущие действия. Еще до восстания они вступили в конфликт с муниципалитетом: в этой новой резолюции они протестуют против требования Лафайета о регулярных военных трибуналах в Национальной гвардии. Протест имел смысл, поскольку Лафайет создавал вооруженную буржуазную власть, но мотивом Кордельеров было в основном желание преследовать умеренных. Через неделю муниципальный совет дал свой ответ на эти различные посягательства со стороны Кордельеров в декрете от 29 октября: он осудил действия округа по трем конкретным пунктам: во-первых, его привычку принимать резолюции как небольшой муниципальный орган; во-вторых, его привычку просить пятьдесят девять других округов принимать спонтанные резолюции по важным вопросам; в-третьих (и это самое важное), он осудил () революционные действия округа, требующего от своих делегатов принесения присяги. В этом последнем пункте чисто демократическая идея, с одной стороны, и сенаторские теории умеренных, с другой, столкнулись лицом к лицу, и именно в этом пункте развернулась борьба. 2 ноября округ ответил резолюцией, в которой отрицалось право избранных контролировать избирателей и особенно осуждалось вмешательство Отель-де-Виль в дебаты в округах. Через десять дней, 12 ноября, они выступили с резолюцией, которая была похожа на объявление войны Бэйли и Лафайету; они составили форму клятвы, которую должны были принести их пять депутатов, и эта клятва обязывала членов округа не только подчиняться округу во всех его резолюциях, но и признавать, что они могут быть уволены после трехкратного призыва к отставке большинством голосов округа. Это была полная доктрина делегирования полномочий и корпоративной воли.

Только двое из пяти членов приняли присягу, остальные ушли в отставку и были незамедлительно заменены другими, которые явились в Отель де Виль 16 ноября. Кондорсе был президентом муниципального органа, и практически все присутствующие были в ярости на кордельеров. Они потребовали перечислить причины, которые привели к отставке трех членов, а затем настояли на том, чтобы услышать условия знаменитой присяги, которая связывала пятерых депутатов. Из двух, которые сначала согласились принести присягу, один (Пейрил) бормотал оправдания, но другой (Кроаре), который, по-видимому, был более

истинным кордельером, был очень горд своей позицией и долго объяснял бы истинную доктрину, если бы собрание не прервало его энергичным голосованием, объявив все такие клятвы недопустимыми, отправив трех новых членов и вернув тех, кто ушел в отставку. На следующий день муниципалитет нарушил закон « ». Он изгнал Кроаре, но с очень небольшим перевесом голосов, причем многие воздержались от голосования[61]. Конечно, такое действие не могло быть допущено, поскольку оно дало бы большинству муниципалитета возможность положить конец всякой оппозиции или дебатам, и ошибка Кондорсе стала шансом для Дантона.

Все его черты характера проявились в последующей борьбе. Он вел ее с помощью дипломатии, которая позже была применена против всей Европы: он заручился поддержкой союзников и изолировал врагов; он убеждал и добивался официальной поддержки, а не (как многие его современники) следовал одной линии мышления. Одним словом, он был ловким и практически добился успеха.

Обратите внимание на качество этого действия. Когда округ собирается 17-го числа (в то время как Коммуна увольняет Кроаре), Дантон понимает, как важно удержать дискуссию в рамках. Это собрание, столь увлеченное абстрактными правами, внезапно оказывается сковано превосходными способностями своего председателя: обсуждение ведется в соответствии с юридическими формальностями, и Дантон на один день налагает на кордельеров столь строгую дисциплину, что из выступлений выделяются только два момента, и именно они могут быть использованы в качестве аргументов. (1.) Что Коммуна была *временной*, и ее *смысл существования* заключался в формировании новой муниципальной системы: в таких случаях (говорят Кордельеры) субъекты эксперимента должны оставаться хозяевами, и было бы абсурдно отнимать у них право контроля, которое позже пришлось бы восстанавливать, когда новая муниципальная конституция должна была быть отправлена в округа для принятия или отклонения: одним словом, они аргументировали на основе *vice de raisonnement* — отсутствия логики — в действиях Коммуны. (2.) Они обратились к Ассамблее, то есть признали и подчинились центру национальной власти[62]. Ассамблея оказалась в затруднительном положении. Она полностью сочувствовала умеренным, Бэйли и Лафайету; с другой стороны, она не могла, не потеряв значительную часть своего престижа, отрицать те самые принципы, на которых основывалась ее собственная власть. Их комитет по этому вопросу желал полного удовлетворения требований Кордельеров; Ассамблея отклонила это и попыталась пойти на компромисс, заявив, что обе стороны должны вернуться к «состоянию дел на 10 ноября», то есть к состоянию дел до присяги и до всех этих беспорядков. Компромисс не сработал. Депутаты, таким образом, законно восстановленные в должности, все (кроме Кроаре) подали в отставку из-за настроений в своих округах, и Кордельеры затем, в полном соответствии с законом, переизбрали своих популярных защитников *мандата императива*.

Коммуна тяжело перенесла свое поражение. Они пытались доказать, что старые члены на самом деле не ушли в отставку. Они отправили комиссию, чтобы опросить их, но комиссия вернулась с доказательствами того, что отставка была добровольной, и, наконец, 28 ноября небольшая группа демократов была приведена к присяге в очень неблагоприятной и нежелающей Ассамблее, и Дантон победил.

Мои читатели должны извинить меня за столь подробный рассказ о событии, лишенном живописных деталей и составляющем лишь небольшую часть того плодотворного зима. С точки зрения общей истории это первое появление *Mandat Imperatif* в действии; а с точки

зрения роли Дантона в революции это событие имеет огромное значение, хотя и представляет собой лишь незначительный перечень ссор. Это была первая победа Дантона, и она была решающей. Она как бы вбила клин в ворота, которые он пытался открыть упорными усилиями; и хотя его окончательная позиция в администрации Парижа была завоевана после многих дальнейших неудач, она является прямым следствием этого успеха в 1789 году. В то же время она показала, что молодой, громкоголосый адвокат из среднего класса мог обладать тем единственным необходимым качеством, которое скрывалось под грубой внешностью: он мог играть в эту игру с тонким чутьем, столь необходимым в страшный год вторжения, с острым умом, которого не хватало мечтателям из-за их неопытности и демагогам из-за их грубости. Эта способность проявилась в речах Дантона и сделала его во время войны человеком, необходимым Франции.

Через месяц или шесть недель после этих событий, в какой-то день января, который мы можем установить только по косвенным свидетельствам, Дантон сам был избран представителем округа. Беспокойное общество вызвало новые отставки, и в Отель де Виль пришли пять новых членов.^[63] Он пришел незначительным, незаметным, известным лишь как демагог, в эту муниципальную ассамблею, в которой заседали самые distinguished, самые ученые и самые представительные члены дворянства и высшей буржуазии, чтобы сидеть под хмурыми взглядами и терпеть молчание, а поначалу и презрение Кондорсе, Д'Эспаньяка, академиков Лахарпа и Суара, астронома Де Кассини, Лавуазье, капитана гвардии Де Моретона-Шабрияна, самих Бэйли и Лафайета. И в самые первые часы его присутствия, еще до того, как он принес присягу, произошел инцидент, который, так сказать, закрепил немилость, с которой к нему относились, и который на год оттеснил его на второй план в совете, которым он в конечном итоге был предназначен управлять. Я имею в виду так называемый инцидент с Маратом.

Марат был более джентльменским, чем Дантон; справедливо также сказать, что он был почти сумасшедшим. Не было двух людей, более разных, чем ученый, раздражительный, мечтательный врач и молодой, здоровый провинциальный адвокат, который на мгновение стал его защитником. Один постоянно сталкивался с правящим классом и страдал от его наглости и привилегий; другой, конечно, имел друзей-профессионалов первого ранга, но всю свою жизнь провел среди торгового среднего класса и, возможно, за всю свою карьеру в Париже ни разу не побывал в салоне и не встретил ни одной из блестящих женщин своего времени.

Марат с самого начала представил первую проблему, с которой сталкивается народ, испытывающий свободу. Он был журналистом и памфлетистом с необузданной свободой, одним из тех, кто не может найти в себе тот контроль, который, когда его нет у публичных писателей, может быть заменен только громоздким, опасным и необходимым механизмом цензуры. Конечно, не ради денег и не из каких-либо недостойных мотивов, а ради благородной цели достижения свободы этот болезненный ум изливал самые дикие, самые сенсационные и самые опасные призывы.

В то время суды находились в процессе перехода; несмотря на быстрое продвижение реформы с лета, большая часть старой судебной процедуры неизбежно оставалась в силе, в том числе и орган, известный как Шатле, ликвидация которого уже была запланирована, но который должен был сохраняться до тех пор, пока новая система не начнет функционировать. Это было очень типично для старого режима. Это был орган привилегированных юристов, многие из которых были молоды и невежественны, занимали свои места по наследству или покупке и отвечали за то, что мы можем назвать полицией столицы. Раньше они обладали (и это еще не было отменено в деталях) правом

произвольного ареста. Свое название они получили от тяжелой крепости, которая когда-то защищала Пон-о-Шанж, когда Париж был ограничен островом Сите; некоторые из ее стен датировались не позднее норманнской осады X века, а под ней находились подвалы, которые на протяжении веков служили тюрьмами для арестованных в Париже городской стражей. Она мрачно и грозно возвышалась на месте современной площади, носящей ее имя, доминируя над узкими улочками Бушери-де-ла-Барри (Boucherie) и обладая в своих ассоциациях и угасающей власти всеми качествами, которые сделали Бастилию ненавистной для народа. Можно представить, как юрисдикция, которой она обладала, привлекала к себе основные усилия реформаторов; однако она не могла прекратить выполнять свои функции, пока не появилось более либеральное учреждение, которое могло бы занять ее место, и она неизбежно вступила в ожесточенное столкновение с тем духом, который был полон решимости силой разрушить то, что резолюции Ассамблеи отменили в теории, но еще не заменили на практике.

Главным объектом тирад Марата был умеренный городской совет, и особенно Бэйи. К тому же, достойный астроном был прекрасной мишенью. Он надевал ливрею, украшал свою карету красивым гербом и, хотя слабо сопротивлялся растущей демократии Парижа, был очень силен в вопросах помпезности. 28 сентября Марат был вызван в суд Коммуны, чтобы ответить за эти нападки на мэра. 6 октября Шатле выдал ордер на его арест, но день был слишком критическим для полицейских действий против отдельного лица. 8-го был выдан другой ордер, и Марат бежал в укрытие на Монмартре, откуда, как безумный пророк на вершине холма, он раздавал памфлеты городу, лежащему у его ног. Таким образом, его споры (хотя и очень разные по своему характеру) были современниками важной борьбы между Кордельерами и муниципалитетом, о которой подробно рассказывается выше. В декабре эти две атаки начали сливаться воедино.

12-го числа того же месяца Марат был выслежен в своем укрытии и доставлен в суд низшей инстанции, но полномочия Шатле в этот период его реформы и исчезновения были настолько запутаны, что обвинение было снято. Воодушевленный этой неудачей своих противников, он поселился и стал открыто печатать свою газету на улице Фоссе Сен-Жермен (Fossés St. Germain), то есть в самом центре района Кордельеров. Что произошло дальше, хорошо известно. В момент, когда борьба между районом и Отель-де-Виль достигла своего апогея, сразу после сцены, в которой делегация Дантона протестовала против поручения мэра офицерам милиции, в то время как оскорбительная ирония термина «милорд» еще звенела в ушах Бэйли, а сам Дантон был фактически избран от района и присутствовал в муниципалитете, готовясь принести присягу, — когда все эти причины для ссоры, так сказать, сошлись в один день, умеренные решили нанести удар. Марат изливался своими невыносимыми тирадами с территории мятежного района, и более благоприятной возможности и быть не могло. Шатле снова выдал ордер на его арест, и на этот раз его поддержал Лафайет, пообещавший предоставить четыре тысячи солдат Национальной гвардии.

Теперь обратите внимание на важность того, что следует далее. Ни одна из сторон в осенней борьбе не одержала окончательной победы. Национальное собрание заняло выжидательную позицию, преимущество кордельеров в вопросе о спорных выборах было достигнуто с помощью уловки, а в тупиковой ситуации между двумя принципами — центральной властью муниципалитета и местной автономией района — ни одна из двух

теорий не была основана на традиции, ни одна из них (в условиях быстрого реформирования) не могла оправдать себя четким заявлением закона. С одной стороны была теория крайне ограниченного избирательного права, правления со стороны социально утонченного класса, скорее принадлежащего к дворянству, чем к народу; эта сторона была полна решимости сформировать армию для поддержки своей политики, и именно она, когда наконец приступила к действиям, добилась — но слишком поздно — резкой и кровавой реакции июля 1791 года. С другой стороны было стремление к широкому, а позднее к всеобщему избирательному праву; решимость подчеркнуть в развитии революционной теории равенство и общую волю, а не порядок и практическое применение новых законов; политическая позиция, которая должна была привести Революцию к интенсивному идеализму 1792 года и закончиться провозглашением Республики. И все это было представлено в требовании, которое по своей природе является выражением крайней демократии — я имею в виду требование местной автономии, идею о том, что акт правительства является наиболее справедливым, когда он исходит не от представителей, а из уст самих управляемых.

Таковы были две противостоящие друг другу силы в деле Марата — силы, которые, если не во всей Франции, то, по крайней мере, в Париже были двумя великими лагерями Революции. Район уже заявил о своем намерении защищать свободу печати в пределах своих границ^[64] и был достаточно мудр, чтобы особо осудить насилие Марата; он уже назначил комитет из пяти человек, чтобы следить за тем, чтобы на его территории не происходило произвольных арестов^[65], когда Лафайет 22 января направил свою милицию, кавалерию и пехоту, чтобы помочь арестовать Марата. Не довольствуясь 3000 человек, он решил дело с помощью пушек, разместив пару орудий в конце улицы Фоссе Сен-Жермен^[66]. Он был полон решимости уладить дело силой и победить экстремистов их же оружием. Его усилия не встретили сопротивления, как он надеялся; они потерпели неожиданную неудачу из-за юридических способностей Дантона.

Район мог собрать в общей сложности 1500 человек и обладал двумя артиллерийскими орудиями, но Дантон был слишком мудр, чтобы использовать их для такой цели, как защита Марата. Уличная драка, причем в «», в которой кордельеры были бы несомненно разгромлены, разрушила бы будущие шансы их политики. Он никого не вооружил и не добавил ни одного человека к небольшой страже, которую каждый район постоянно держал наготове, но назначил им в качестве караульной комнаты на неделю первый этаж дома Марата. Затем он сам отправился туда со своими четырьмя товарищами из вновь избранного комитета и стал ждать развития событий.

Большая часть Национальной гвардии в сине-белой форме собралась в конце улицы, два орудия охраняли ее, и против них не было ничего, кроме небольшой толпы и нескольких аргументов. Сквозь их ряды, в сопровождении небольшого отряда, прошли два офицера или полицейских из Шатле.^[67] Они предъявили свой ордер, и Пленвиль, командир небольшого отряда, сопровождавшего их, попросил разрешения поставить часовых у двери. Комиссары с величайшим удовольствием дали им на это разрешение, но когда офицеры предъявили свой ордер, представилась возможность, которую Дантон с нетерпением ждал. С небрежностью, которая была неотъемлемой частью старого режима, Шатле не выписал новый ордер, а выдал старый, который был использован 8 октября.

Однако с тех пор Ассамблея приняла несколько важных изменений в уголовном законодательстве, в частности, в том же октябре было принято постановление, согласно которому «ордер на арест не может быть выдан в отношении домовладельца, за исключением тех обвинений, которые, в случае их доказательства, привели бы к тюремному

заклучению».[68] Это был очень очевидный принцип, но во Франции старого режима было разрешено задерживать человека, содержать его под стражей и даже отпускать без суда, просто для каких-то целей полиции, и Шатле, возможно, действовал в соответствии с этой традицией (). Добавьте к этому тот факт, что Ассамблея создала выборные советы в каждом округе для защиты интересов каждого жителя, арестованного по уголовному делу,[69] и становится очевидным, что Шатле совершил большую ошибку, значение которой человек, обученный в судах и быстро улавливающий ошибки в процедуре, сразу же признал.

Дантон утверждал, что ордер был незаконным, предложил доказать это и привел офицеров Шатле в зал района. Там он зачитал им новую процедуру, сравнил ее с датой их ордера и так запутал умы этих простых людей, что они подписали *протокол*, в котором заявили, что, выслушав такие доводы, они сомневаются, как им поступить. Они вернулись в сопровождении Фабра д'Эглантина через разъярённую толпу и были встречены офицерами Национальной гвардии с некоторым раздражением. Однако они остались непоколебимы и отказались продолжать арест, пока не смогут проконсультироваться с теми, кто их послал, и в конце концов трудность была устранена благодаря обещанию Дантона обратиться в Национальное собрание и подчиниться его решению. Условия были приняты, часовые покинули дверь Марата, и войска отступили.

Все эти дебаты и беспорядки заняли утро и время обеда, улица Фоссе Сен-Жермен была эвакуирована в начале дня, и к четырем часам того же дня, 22 января 1790 года, Дантон и его товарищи защищали свою позицию в зале Национального собрания. Это была старая политика обращения к Национальному собранию как к последней инстанции и использования этого главного результата революционного движения в качестве оружия против парижских умеренных. Ассамблея оказалась в старой дилемме и приняла старый компромисс. Теоретически оно было демократическим; все его формулировки и многие из его декретов были основаны на «Общественном договоре», но по своему составу и связям оно было естественным союзником высокопоставленных профессионалов, таких как Бейли и Лафайет. Оно поручило Таргету (председателю двухнедельного заседания) написать в округ; он осудил позицию Кордельеров, но парламент «положился на их патриотизм в исполнении воли Ассамблеи». Округ, верный своей политике, сразу подчинился. Они послали Лежандра и Тестулата, чтобы сообщить командующему войсками (который снова вошел в Rue des Fossés), что они больше не имеют права препятствовать аресту; после чего он послал полицию и ждал Марата на улице внизу. Дом был пуст, а Марат был в пути в Англию, страну, с которой он был хорошо знаком и пороки конституции которой уже послужили темой для его слишком легкого пера.

Таковы подробности истории знаменитой пятницы в районе Корделье, события, которые принесли Дантону некоторую известность, но также показали его наиболее образованным людям своего времени, а значит, и потомкам, в несколько ложном свете. Он предстает другом Марата, человека, к которому он не испытывал симпатии, которому он был неизмеримо превосходным и которого он поддерживал только потому, что ссора Марата была тактической возможностью против умеренных. С самого начала быть принятым образованными людьми было бы для него трудно — для этого потребовались бы такт, скромность и молчание. Ведь по своей природе он проявлял именно те грубые жесты и громкие, неудачно подобранные фразы, которые должны были быть признаком глупого и опасного человека; о том, что лежало в основе этого, о его образованности, патриотизме и здравом смысле он должен был дать множество доказательств; но предрассудки, которые он вызвал, были настолько сильны (), что только длительное время смогло стереть ложное впечатление от его первого появления на политической арене. Мы можем ясно видеть

государственного деятеля, но его современники так и не смогли проникнуть сквозь ту завесу, которая окружала его; кое-где справедливые и благородные люди, такие как Кондорсе, признавали свои заблуждения, но для большинства господ у власти он был и оставался демагогом.

Два года осторожных действий не смогли оправдать его, потому что, будучи одним из тех, чьи поверхностные качества отталкивают от себя пристальное внимание, необходимое для справедливого мнения, он также имел несчастье выйти на арену не с той стороны. Те, кто был ближе всего к нему, обожали его, большая часть избирателей его округа подписала горячую декларацию в его пользу, а позже его ближайшие друзья были готовы умереть вместе с ним. Но класс, с которым он был наиболее близок по духу, держался в стороне; он дважды побеждал их в открытом бою; они извиняются за свое знакомство с ним, порочат его в своих письмах, и если его имя вышло из всего этого заблуждения, если ему поставили памятник в период социального порядка и реконструкции, то это потому, что этот человек, который никогда не писал, который оставил после себя только смутную легенду о своей личности, спас свою страну, когда она была в состоянии войны со всем миром, и такие действия заставляют историю проводить расследования и восстанавливать справедливость.

23-го, на следующий день после беспорядков, он был приведен к присяге в неохотной Коммуне, и за этим последовали два долгих года^[70] терпеливых попыток завоевать место, для которого он считал себя подходящим, но годы (в целом) разочарований, в которых его реальное положение в Париже (я имею в виду то место, которое он занимал в сознании людей) странным образом контрастировало с той небольшой ролью, которую он играл.

1790 год содержит в себе столь значительную часть революции и сеет семена стольких будущих расколов и гражданских войн, что кажется смешным ограничиваться описанием ограниченных действий одного человека, который еще даже не достиг власти (). Однако необходимо провести обзор этих ограниченных действий, чтобы мы могли понять более важную роль Дантона в последующие два года.

Итак, Дантон вместе с Лежандром и тремя другими вошел в городской совет, который был очень настроен против него и против района, дух которого он сформировал. Его редко слушали, и нет сомнения, что он сознательно пытался своим молчанием заслужить более справедливое и объективное суждение таких людей, которых он уважал, но которые знали его только по неблагоприятным отзывам. Он не мог не испытывать презрения к большей части Ассамблеи; у них не было инстинкта революционного течения; даже когда они пытались сдержать движение, которое представлял Дантон, они были неэффективными и недостойными противниками, от которых его взгляд, должно быть, отвлекался на великие сражения, которые готовились.

За восемь месяцев, в течение которых он был членом Временной коммуны, то есть с января по сентябрь 1790 года, его имя появляется в дебатах всего лишь дюжину раз^[71]. Более половины из них — это упоминания о комитетах, в которых его здравый смысл и юридическая подготовка были полезны; только в одном, от 4 февраля, он высказывается по поводу предложения, и то в поддержку Барре, чтобы допустить публику при принятии присяги: еще одно (от 19 марта, касающееся формирования «большого жюри») было бы интересно, если бы не то, что вся суть дебатов была лишь повторением гораздо более значимой дискуссии в Кордельерах. Наконец, есть одно небольшое сообщение, наполовину патетическое, наполовину гротескное: он входит в состав комитета из двадцати четырех человек, которому поручено «выразить свою скромную благодарность, во главе с мэром», королю за то, что он подарил муниципалитету мраморный бюст самого себя (). Но все записи

мелкие и неважные: Дантон в Временном муниципалитете 1790 года намеренно молчит — он ничего не может сделать.

Однако если мы обратимся к сфере, в которой он чувствовал себя более комфортно, то увидим, что в том году он более чем когда-либо был лидером Кордельеров, которые сами стали более чем когда-либо лидерами Парижа.

Есть две важные особенности в той роли, которую он играет на собраниях округа весной и летом, когда он был молчаливым членом Коммуны. Во-первых, дело о его аресте; во-вторых, его кампания против того, что можно назвать «муниципальной реакцией».

Что касается первого, то это очень незначительный момент в общей истории Революции, но он оказал значительное влияние на карьеру самого Дантона. Когда дело Марата было (или должно было быть) забыто, Шатле, с той же небрежностью, которую мы видели в деле об аресте Марата, сочло целесообразным выдать еще один ордер, на этот раз на арест самого Дантона. В очередной раз этот непопулярный и умирающий трибунал поставил себя на сторону закона, и в очередной раз он выбрал для своих действий самый неподходящий момент. Ордер был выдан 17 марта^[72], почти через два месяца после инцидента — двух месяцев, в течение которых Дантон усердно работал над тем, чтобы стереть его последствия для своей репутации, — и мотив ареста, указанный в пергаменте, был самым неоправданным. На районном собрании в тот день, когда полицейских привели в зал Кордельеров и зачитали им изменения в законе, Дантон использовал резкую фразу: « » — ее точные слова неизвестны; некоторые говорили, что он угрожал «вызвать Фобур Сен-Антуан и заставить челюсти гвардии побелеть». Другие свидетели отказались приписывать ему эти слова, но обвинили его в том, что он сказал: «Если бы все думали так же, как я, у нас было бы двадцать тысяч человек в спину»; его друзья признали, что он произнес несколько гневных и неосторожных слов, в чем он часто был виновен, но утверждали, что он добавил: «Боже упаси, чтобы такое произошло; дело слишком важно, чтобы подвергать его такой опасности».

Что бы он ни сказал (и, вероятно, он сам не мог точно вспомнить), место и время были привилегированными. Это был испытательный случай, но логика такой привилегии была очевидна. Здесь у вас есть совещательные собрания, которым в конечном итоге доверено формирование правительства Парижа: то, что говорится на таком учредительном собрании, как бы неосмотрительно это ни было, по самой своей природе должно быть допущено; в противном случае вы ограничиваете обсуждение первостепенных вопросов, а если вы ограничиваете это обсуждение, вы подрываете всю теорию, на которой строилась новая конституция. Необходимо тщательно помнить, что мы имеем дело не с давно существующими совещательными органами, обладающими центральной властью и имеющими привилегии по традиции и в силу своей важности в государстве; мы имеем дело с элементарными совещательными собраниями в период, который, правильно или неправильно, преобразовывал все государство на основе одной совершенно определенной политической теории, а именно, что эти первичные собрания были единственным источником и справедливым источником власти. Поэтому, когда парижская общественность резко выступила в защиту президента района, подвергшегося такой атаке, когда триста из пятисот избирателей подписали петицию в пользу Дантона, когда он был переизбран президентом района через двенадцать дней после выдачи ордера, это произошло потому, что все избиратели испытывали большой и оправданный страх перед тем, что осталось от старого режима. Шатле поступил так не из-за тщательной оценки общественной опасности, для отражения которой ему были предоставлены временные полномочия, а потому, что он был ослеплен старостью; потому, что он относился к прошлому и состоял из людей, которые

ненавидели все совещательные собрания, и справедливо считалось, что, если такие действия оправданы, то вся система революционного Парижа находится в опасности.

Как будто в подтверждение ложного мнения, которое Шатле имел о своем человеке, 19 марта, через два дня после выдачи ордера, Дантон настаивал на замене Шатле большим жури; он восхищался старой английской системой и хорошо ее знал, и именно против человека, пытавшегося провести столь мудрую реформу, последний пережиток старой юриспруденции и нанес удар.

В Национальное собрание была подана апелляция, и 18 мая Антуан зачитал перед собранием длинный отчет. Этот отчет был явно в пользу Дантона. Он был составлен специальной комиссией, не имевшей никакой партийной принадлежности, и после изучения всех доказательств пришел к заключению против Шатле. Тем не менее, Палата, состоящая из почти тысячи человек, для большинства которых имя Дантона означало лишь громкий радикальный голос, колебалась. Принятие доклада могло бы непоправимо ослабить Шатле, а Национальное собрание было чрезвычайно нервозно по поводу порядка в Париже. В конце концов, заседание было отложено. Отчет остался в пользу Дантона; его не арестовали, но это дело было для него неудачным и позже отбросило его назад в очень важный момент, когда он мог бы мирно прийти к власти в мирное время.

Но пока это дело подходило к концу, в те самые месяцы апреля и мая, когда он был частично оправдан, Кордельеры занимались другим, гораздо более важным делом, в котором они направили всю свою энергию на поиск законного решения, но, к несчастью для города, потерпели неудачу.

Еще со времен октября — а если угодно, и раньше — в Париже нарастало сильное настроение, о котором я уже не раз упоминал и которое, за неимением лучшего названия, можно назвать умеренной реакцией. Трудно охарактеризовать это сложное явление одним прилагательным, и я не могу удлиннять и без того слишком длинную главу подробным рассмотрением его происхождения и развития. Достаточно сказать, что от высшей буржуазии (в целом), от тех, кто в теории был почти республиканцами, но чья жизнь проходила в искусственной обстановке богатства, и, наконец, от важной группы финансистов, которые больше всех желали практических реформ и больше всех ненавидели идеалы, от этих трех групп, поддерживаемых многими мелкими лавочниками и бюрократами, исходило все более энергичное требование создания консервативного муниципального учреждения — такого, которое было бы ограничено в своих основах, почти аристократического характера и в значительной степени занималось поддержанием правопорядка, а не идеей муниципального самоуправления.

Это характерная черта французского народа — робкость мелких собственников и их опора на установленную власть. Редко замечают, но это объясняет всю историю Парижа: это чувство не присуще какой-то особой группе людей, но, как ни странно, присутствует в сознании почти каждого француза, сосуществуя с другим набором чувств, которые порой могут сделать их самыми ярыми идеалистами в мире.

На тот момент это сильное стремление к порядку было преобладающим в умах тех немногих, кому было позволено голосовать. В Кордельерах подчеркивалась и развивалась другая черта характера парижан. Они были настроены на демократию, как и все остальные, но, в отличие от остальных, не боялись опасного пути. Их вдохновлял и вел человек, единственным большим недостатком которого было страстное пренебрежение опасностью. По этой причине, хотя они и являются налогоплательщиками и буржуа, адвокатами, врачами,

литераторами и т. п., они делают все, что в их силах, чтобы помешать вступлению в силу новой муниципальной системы, но терпят неудачу.

Теперь рассмотрим Ассамблею. Это великое собрание справедливо боялось Парижа; более того, человек, который значительно превосходил всех остальных — Мирабо — был за то, чтобы вообще покинуть Париж. Ассамблея, в свою очередь, взяла на себя всю задачу по переустройству Франции и не могла не хотеть, чтобы Париж, в центре которого она находилась, был заткнут. На протяжении всех дебатов Временной коммуны было легко заметить, что Бэйли и Лафайет побеждали, и что парламент будет еще более умеренным, чем они. В центре борьбы стояли три вопроса: во-первых, ограниченное избирательное право, которое должно было быть введено[73]; во-вторых, власть, которую должны были осуществлять над новой Коммуной власти департамента; в-третьих, упразднение шестидесяти демократических клубов, округов, и их замена сорока восемью секциями, специально созданными для того, чтобы разорвать связи соседей и ассоциаций, которые сформировались в начале революции. Это было направлено, в первую очередь, против кордельеров.

По первому пункту Кордельерам было мало что сказать. Как ни странно, идея всеобщего избирательного права, которая так тесно связана с нашими представлениями о революции, в начале 1790 года практически не обсуждалась. По второму пункту они провели дебаты, но не приняли постановления; наиболее энергичные действия они предприняли по третьему пункту. Закон, который санкционировал новую муниципальную схему, был принят 27 мая, и, верные своей политике, кордельеры не пытались спорить с Национальным собранием, но они яростно боролись против применения закона Бейли и его партией. Закон был подписан королем 27 июня, и в тот же день мэр расклеил на стенах объявления, предписывающие немедленное введение новой системы. 27-е число было субботой. В течение недели должны были быть организованы новые секции, а в понедельник, 5 июля, должно было начаться голосование. Уже на следующий день, 28-го, кордельеры выступили с энергичным протестом, в котором призвали 59 других округов обратиться к Национальному собранию с просьбой сделать для города Парижа особое исключение, учесть великую федерацию 14 июля, которая должна была быть утверждена до выборов, и, наконец, дать городу время для обсуждения столь важных изменений. В течение всей недели, 1, 2 и 3 июля, они публиковали энергичные призывы. Они частично добились успеха, но в своей главной цели — восстановлении аристократической схемы и возбуждении общественного духа против нее — они полностью потерпели неудачу. 2 августа Бэйли избран мэром огромным большинством голосов — практически 90 процентами. Старые округа исчезают, и, как и все остальные, знаменитые Кордельеры объединяются в более крупный округ Театра Франсе. Он не может заседать постоянно; он не может (за исключением специального запроса пятидесяти граждан) собираться вообще; он является лишь избирательной единицей, и в будущем около 14 000 человек из города с населением почти в миллион человек будут управлять всем. Местный клуб, управляющий своей вооруженной силой и обращающийся к своим товарищам, упраздняется. Дантон потерпел поражение.

Но, как мы увидим позже, исключение стало правилом. Никакие механические устройства не могли остановить революцию. Требование создания постоянных секций было непрерывным и успешным. Из этих подразделений, которые должны были быть просто отметками на карте, вышли пушки 10 августа (), и именно секция Théâtre Français, в которой должны были быть забыты традиции и само название Кордельеров, первой в Европе провозгласила и осуществила право всего народа на управление.

Если позволите, я повторю банальную фразу, которую я постоянно использовал в этой книге: поток революции в Париже был сдержан высоким барьером; его подъем нельзя было остановить, и он в конце концов неизбежно вырвался бы с силой и разрушительной энергией наводнения.

ГЛАВА IV

ПАДЕНИЕ МОНАРХИИ

Я взял за поворотный момент в карьере Дантона муниципальные перемены, которые ознаменовали лето 1790 года, завершив этим событием первую главу его политической деятельности и сделав его началом новой фазы. Позвольте мне объяснить причины, которые побудили меня провести такое разделение в момент, который не отмечен никакими яркими событиями в области военного дела, политики или дебатов.

Во-первых, изложение жизни Дантона должно обязательно следовать за судьбой столицы. Дух народа, трибуном которого он был (его растущий энтузиазм, а позднее и гнев) — этот дух является главным ориентиром в интерпретации его политики, но механические преобразования городского правительства образуют, так сказать, каркас, на котором соткано парижское настроение. Детали сухи и часто игнорируются; простое принятие конкретного закона, дающего Парижу особую конституцию, систему, которая не была неожиданной и, по-видимому, хорошо подходила для первого года Революции, может показаться событием, не имеющим большого значения для развития реформы; но некоторые аспекты этого периода придают этим деталям весьма значительную важность. В условиях быстрой трансформации, которая перестраивала французское общество, закон, каким бы новым он ни был, обладал силой, которую в настоящее время мы можем оценить лишь с трудом. В устоявшемся и традиционном обществе обычаи имеют настолько огромный вес, что закон может действовать только в соответствии с ними; внезапное изменение в механизме управления () привело бы к его саморазрушению — более того, в таком обществе едва ли могут быть приняты законы, кроме тех, которые требует развитие традиций. Но в период революции этот постулат социальной истории не работает. Когда весь народ начинает создавать для себя новые условия, каждый указ становится источником; силы, которые в более спокойные периоды формируют и контролируют законодательную деятельность, в период лихорадочной перестройки усиливаются и дают импульс новым институтам; энергия общества, которая в годы довольства и порядка контролирует невидимым давлением, в годы революции используется для открытого и механического запуска механизма, разработанного новой теорией. Таким образом, можно наблюдать, как при разработке американской конституции каждый пункт конкретного обсуждения приобретал огромное значение для Соединенных Штатов; таким образом, в наше время Германская империя обрела свою силу в наборе произвольных декретов, созданных за десятилетие; так в средние века реформа Гилдебранда сформировала в жизни одного человека институты, которые остаются сильными и по прошествии восьмисот лет; и так во время Французской революции новая, теоретическая и механическая муниципальная организация была достаточно сильна, чтобы не выдержать столь страшной бури, но придать всему движению постоянное изменение направления.

Таков, значит, переходный характер лета 1790 года в отношении конкретной жизни Дантона и конкретного города Парижа. То, за что кордельеры так упорно боролись, чтобы добиться

конституционной реформы, провалилось. Прямое воздействие округов на муниципалитет, по-видимому, было утрачено навсегда, и центр новой системы в будущем должен был контролироваться в выражении идей и парализоваться в своих действиях. То, что Кордельеры представляли в духе, хотя и не сформулировали в декретах — правление всего народа — было, по-видимому, также утрачено. Закон от декабря (установивший «активных и пассивных граждан») действовал как для Парижа, так и для всей Франции; и хотя избирательное право, допускавшее к голосованию две трети мужского населения, нельзя было назвать ограничительным, тем не менее исключение мужчин, работающих за плату под крышей своего хозяина, необходимость проживания в течение года и требование уплаты налогов привели к образованию очень узкой олигархии в таком городе, как Париж: ремесленники были исключены, и тысячи управляемых оказались за пределами границ, определяющих муниципального избирателя. Дантон может принимать провинциальных делегатов, может произносить речи на празднике в Булонском лесу, но как только орган власти закрыл свои двери для его идей, путь к демократии лежит через незаконность и восстание.

Теперь у этой годовщины падения Бастилии есть еще одно, более широкое значение. Это момент, в котором мы можем лучше всего остановиться и осмотреть начало того накала, который превратил Революцию из внутренней реформы французской нации в пожар, способный изменить природу всей нашей цивилизации. Я не имею в виду, что вы найдете эти споры в данный момент; в 1790 году нет ни духа, который сверг монархию, ни видений, которые вдохновили Жиронду; нельзя даже справедливо сказать, что существуют общие угрозы или ропот войны, хотя Ассамблея сочла целесообразным их опровергнуть: пройдет год, прежде чем возникнет страх перед такими опасностями. Но в этом лете есть что-то, что нужно обнаружить, а именно объяснение того, почему два периода, столь глубоко различающиеся по своему характеру, так внезапно и с таким резким контрастом встречаются в одной точке истории движения; именно с лета 1790 года и далее принимаются законы, начинаются расколы, которые в конечном итоге отчуждают короля, приводят к его измене, возбуждают Европу и в результате вторжения порождают террор, армии и империю. Ум нуждается в связи между двумя такими разными вещами, как реформа и насилие, и поскольку эта связь не обеспечивается простым объявлением войны или простым бегством в Варенн, люди совершают ошибку, вкладывая дух Республики в дни Мирабо или даже видя умеренную политику в апостольском безумии 93-го года. Некоторые, более невежественные или менее одаренные, чем обычный читатель, объясняют это, постулируя в характере французской нации странные отклонения, которые могут быть присущи отдельному человеку, но которые никогда не существовали и не могут существовать в любом сообществе людей.

Позвольте мне подытожить и определить проблему, которая, как мне кажется, может быть решена, если взять за основу годовщину созыва Генеральных штатов.

Итак, в истории Революции есть две фазы, настолько отчетливые, что их признание является основой всех справедливых взглядов на этот период. В первой фазе лидеры нации нацелены на практические реформы; монархия является инструментом для их осуществления; начертан эскиз новой Франции, и его очертания даже начинают заполняться умелыми и опытными руками. В эти тридцать месяцев можно найти множество фраз, потому что фразы — это крещение идей, и ни одна нация, воспитанная в духе римской традиции, не могла бы приступить к какой-либо работе без четких определений, которые бы ее направляли. Но эти фразы, хотя и часто крайне абстрактные, никогда не являются агрессивными, и сама

ораторская речь Национального собрания редко выходит за пределы, отделяющие искусство убеждения от простой практики неповиновения.

На втором этапе, который часто обозначается названием Конвенции, подземные пожары, которые ранее подавлялись корой традиций и слоистыми породами общества, вспыхивают с неотразимой силой. Творческая работа революционной идеи реализуется скорее в литье расплавленного металла, чем в ковке, а форма, которую она использует, разработана на основе концепции скульптуры, а не архитектуры. Величественный идол Республики, в поклонении которому нация с тех пор обнаружила всю свою славу и все свои несчастья, создан этими художниками идеала; но они забывают, а может быть, и не знают о страшных наказаниях, которые сопутствуют сверхчеловеческим попыткам, о реакции исключительного идеализма.

Что сделало второе из первого? Что заставило Францию, которая обсуждала Съеса, слушать Сен-Жюста или даже Эбера? Ответ на этот вопрос можно найти, обратив внимание на роковые семена, посеянные этим летом 1790 года, которые через два года принесли плоды гражданской войны и вторжения.

Во-первых, как мы видели, этим летом в Париже царило недовольство — столица, подавляющее большинство населения которой отказывалось обучаться искусству самоуправления, а общее мнение которой отказывалось слушать.

Во-вторых, это момент, когда недовольство в армии достигает своего апогея. Открытая угроза военной реакции со стороны ряда офицеров, их сильная враждебность по отношению к декретам об отмене титулов, их растущее отвращение к привилегиям, предоставленным рядовым солдатам — все это сталкивается с унтер-офицерами и рядовыми, которые полны новых свобод. В этих низших чинах были амбициозные люди, чьи способности, честные и лояльные люди, чья искренность привели французское оружие к успехам революционных войн.

В-третьих, это завершение ошибки, заключавшейся в попытке создать в Франции официальную национальную церковь. Перед лицом этого последнего несчастья сотни других мелочей этих месяцев, которые были столькими источниками раздора, теряют свое значение. Гражданская война, впервые зародившаяся на юге, контрреволюционные учения в Савойе, петиция духовенства Нима, вопрос об эльзасских поместьях, парижские газеты, проповедующие крайнюю демократию, якобинцы, выступающие как организованная и пропагандистская организация, пророческий крик Ламета — все эти события были лишь инцидентами, которые были бы забыты, если бы не главная причина беспорядков, которую можно найти в гражданской конституции духовенства.

Конечно, короли бы напали, но они были разделены и не имели даже общего мотива. Конечно, свобода, в какой бы форме она ни пришла, подействовала бы на умирающее тело Европы как лекарство, и до тех пор, пока не проявился бы ее эффект, считалась бы ядом. Но против ненависти каждого угнетателя выступил бы дисциплинированный и единый народ, трезвый по инстинкту, традиционно медленный в формировании суждений, традиционно стойкий в своих мнениях, когда они однажды были сформированы. Для французского народа было бы достаточной славой сломить наглость агрессоров, иметь в своих списках имена Марсо и Хоша.

Но ложный шаг, который привел к гражданской войне, который сделал горячий и либеральный Запад внезапным противником, который в конечном итоге поднял Лион и отчуждил половину южных городов, который потерял Тулон, который привнес крайний

фанатизм в самые мудрые и лояльные умы — такая щедрая и легкая война была обречена, и Революция была предназначена для более трагической и более благородной истории. Бог, позволивший этой гордой глупости исходить от педантичной аристократии, предвидел вещи, необходимые человечеству. В отчаянии философов по обе стороны великой битвы возникнет энтузиазм, который, откуда бы он ни дул, является свежим ветром для души. Вот идут герои и эпические песни, которых так жаждало человечество, и сцены из жизни одного поколения людей дадут нам в Европе наши вероучения на века. Вы услышите «Chant du Départ» как великий гимн в армии Самбр-э-Мёз и крики людей, спускающихся на *Vengeur*; голос молодого человека, призывающего гренадеров в Лоди и Арколе; шум гвардии, взбирающейся на замерзший холм в Аустерлице. Уже леса под Пиренеями полны испанских партизан, и спустя сколько сотен лет любовь племени вновь проявилась над конвенциями, которые ее покрывали. Три цвета стоят на фоне деревьев на севере и юге; и нежное женственное лицо Нельсона смотрит через борт «*Виктори*», над ним медленно плывут белые облака и дует легкий октябрьский ветер, а перед ним — паруса врага в лучах солнца и черные скалы побережья.

Возможно, стоит, за счет некоторого отступления, объяснить, почему законы, затрагивающие духовенство, следует рассматривать как имеющие первостепенное историческое значение. Они разрушили положение короля; они поставили перед очень большой частью нации не один, а два идеала; и какая регулярная структура может сформироваться вокруг двух непохожих ядер? Наконец — то, что мы теперь можем ясно видеть, хотя тогда даже самые мудрые не смогли этого понять — они шли вразрез с настроениями нации.

Часто звучит обвинение, что революция совершила смертный грех, будучи неисторической. Работа Тэна — это длинное проклятие, произнесенное против людей, которые осмелились отрицать догмы эволюции до того, как эти догмы были сформулированы. Такая критика ошибочна и тщетна; в устах многих она лицемерна. Большая часть того, что сделала революция, шла в ногу со временем. Например: воссоединение Галлии происходило само собой на протяжении тысячи лет — революция достигла его; крестьянин был фактически хозяином своей земли — революция сделала его таковым по закону и по факту; Европа веками обучалась римскому праву — именно римское право торжествовало в великой реформе, и большая часть ее результатов, вся ее терминология, взята из гражданского кодекса. Но в этом одном аспекте конституции духовенства она пошла против природы Франции. По необходимости парламент был сформирован из образованных людей (), пропитанных философией того времени, и по необходимости он работал под пристальным вниманием населения большого города. Другими словами, государственные деятели, которые провалились в этом вопросе, и ремесленники, которые составляли их ближайшее окружение, были взяты из двух классов, которые больше всего страдали от недостатков иерархии во Франции.

Мирабо, например, прожил свою жизнь в среде, где богатые аббаты блестяще богохульствовали; парижские ремесленники прожили свою жизнь без защиты и без поддержки со стороны священников, главной обязанностью которых является поддержание человеческого достоинства бедных. Добавьте к этому янсенистскую легенду, ярким представителем которой был Камю, и англomанию, которая привлекала лучшие умы к худшим экспериментам, и этот любопытный проект становится неизбежным.

В этих первых попытках европейской демократии, как всем известно, была страсть к выборам. Напрасно Руссо указывал на фундаментальную ошибочность представительства в любой схеме самоуправления. Перед ними был пример Америки; порочное искушение

очевидного ввело их в заблуждение; и пока суровые уроки войны не научили их истине, представительство само по себе, как своего рода игра, казалось, было навязчивой идеей высшего класса во Франции. Они допустили его в организацию Церкви.

Теперь давайте подробно рассмотрим эту попытку сделать католическую церковь XVIII века смесью администрации Константина, пресвитериев первых веков и «ветви гражданской службы», которая так хорошо подходила цивилизации, столь отличной от французской.

Главной особенностью этой реформы была попытка подчинить всю церковную организацию государству. Я, конечно, не имею в виду установление догматов путем гражданских дискуссий или вмешательство во внутреннюю дисциплину; но иерархия должна была избираться, от приходского священника () до епископа; новые епархии должны были соответствовать новым департаментам, и, что наиболее важно, их утверждение не должно было требоваться от Папы, но «письма о причастии» должны были отправляться главе Церкви с уведомлением о выборах.

Этот план был одобрен Палатой 12 июля 1790 года, за два дня до великого праздника федерации. Время, интеллект которого был чужд Церкви, класс, привычки которого были не католическими, предприняло попытку реформации. Почему эта попытка была ошибкой? Просто потому, что она была ненужной. Были определенные идеи, на которых основывалась реконструкция Франции; они постоянно упоминаются в этой книге; это то, что французы называют «принципами 89-го». Необходимо ли было им влиять на Церковь? Да, но при логическом осуществлении они повлияли бы на Церковь исключительно негативным образом. Очевидной частью новой эры было отрицание *imperium in imperio*. Революция лишила бы себя смысла, если бы она оставила без изменений ограничения прав протестантов и евреев, если бы она продолжала поддерживать внутреннюю дисциплину Церкви с помощью гражданской власти. Было логично, когда она сказала религиозным орденам: «Вы — частные общества; мы не будем принуждать ваших членов оставаться, как и не будем принуждать их покидать свои монастыри» (в декрете от 13 февраля 1790 года). Было бы логично, если бы она сказала Церкви: «Возможно, вы — жизнь общества; возможно, ваше влияние — зло; мы оставляем вам свободу доказать свое качество, ибо свобода действий и конкуренция — наш основной принцип». Но вместо того, чтобы оставить Церковь свободной, они развлекались, создавая фантастическую и механическую структуру, а затем обнаружили, что заставляют религию войти в тюрьму. Ничего более бесполезного и опасного и представить себе нельзя.

С другой стороны, если эта схема в целом была бесполезной, то некоторые ее детали были необходимым результатом действий самого духовенства, а некоторые, если и не были строго необходимыми, то, по крайней мере, пережили революцию и сегодня являются действенными институтами. Рим мог бы использовать их в качестве основы для компромисса, и вполне возможно, хотя и маловероятно, что окончательный план мог бы оставить Церковь нейтральной в грядущих войнах. Но если советы Святого Престола были недалекими, то парламент был еще менее разумным; его крайняя чувствительность к вмешательству из-за рубежа сочеталась с крайней педантичностью Ланжуэна, и план в целом был навязан Людовику. Он, почти единственный набожный человек при дворе, который настолько пренебрегал религией, что ненавидел народ, в отчаянии написал папе, но до того, как пришел ответ, он подписал закон и в тот момент подписал приговор к своей собственной смерти и смерти тысяч других лояльных и патриотичных людей.

В то время как готовились эти будущие расколы, в течение остальной части 1790 года положение Дантона становится более заметным. В официальных документах о нем

упоминается немного меньше по той простой причине, что он перестал быть членом официального органа, или, скорее (поскольку первая коммуна была фактически распущена только в сентябре), он остается менее заметным из-за того, что политика, которую он представлял, потерпела поражение; но его личность производит все большее впечатление на Париж и на его врагов. Мы увидим, как он впервые проявляет умеренность и впервые сталкивается с систематическими клеветническими нападениями. Хотя он еще не занимает особого положения, он приобретает признаки будущего успеха, поскольку его начинают выделять в качестве особого объекта нападков; и в течение всего лета и осени он все больше и больше практикует привычку выбирать свой курс, которая до самой смерти отличает его от экстремистов.

Неудача его политики, сдерживание Кордельеров и бесполезность их протестов 1, 2 и 3 июля оказали заметное влияние на положение Дантона даже в его собственном округе. Он был президентом, когда они были изданы, а его друг Д'Эглантин был секретарем. Можно сказать, что политика сопротивления была политикой Дантона и что без его лидерства она осталась бы незамеченной. Поэтому, когда она потерпела известную неудачу, та огромная масса людей, которые (при отсутствии партийной системы) следуют за событиями, потеряла в него веру.

2 августа Бейли был избран не только подавляющим большинством голосов во всем Париже[74], но даже в собственном округе Дантона, который теперь стал секцией Французского театра, на время отказались от его политики. В ходе голосования из 580 голосов 478 были отданы за Бейли.

В этот момент поражения он мог бы с большой легкостью бросить все силы, которые на данный момент были нерегулярными. Федерация июля привела в Париж толпу депутатов из департаментов, и для этих провинциалов добродушие и товарищество этого шампанца имели нечто привлекательное. В Париже, который сбивал их с толку, они находили в нем что-то, что могли понять. На собрании, проведенном частью из них в Булонском лесу, ведущей фигурой является Дантон. Когда депутаты из Марселя просят поставить «Карла IX» Шение, именно Дантон добивается этого в Театре Франсе, несмотря на сопротивление двора; и снова именно Дантон становится мишенью личных нападков лоялистов, которые пришли, чтобы освистать пьесу, во время *антракта*[75].

Непредставленные по-прежнему следовали за ним, и он по-прежнему вызывал смутный страх в умах таких людей, как Лафайет. Не имея отношения к насилию, он олицетворял (для тех, кто видел его издалека) восстание. Его помнили как защитника Марата, а Марат, в свою очередь, раздражал его постоянными упоминаниями и похвалами в своем нелепом журнале. Следует также отметить, что в то время два лагеря постепенно разделялись, и роль демагога была столь же заманчива для глупого человека из числа радикалов, как роль истинного рыцаря — для многих глупых людей из числа консерваторов. Каждая из этих ролей была легка для исполнения и бесполезна.

Дантон отказался от такого искушения. Он, почти единственный в тот момент (за исключением Мирабо, находившегося в гораздо более высокой сфере), был способен извлечь урок из поражения. Он желал иметь прочную основу для действий. Здесь были определенные существующие вещи: клуб Кордельеров, который на время подвел его; Друзья Конституции, которые были растущей силой; ограниченное избирательное право Парижа, о котором он сожалел, но которое было единственной законной силой, к которой он мог обратиться; новая муниципальная конституция, которой он яростно противостоял, но которая была свершившимся фактом. Теперь он обращает свое внимание на все эти реалии.

Он вернет себе место в секции и сделает квартал Одеон новой Республикой Кордельеров. Он восстановит свое положение в Париже. Он попытается войти в этот новый муниципалитет и, возможно, позже контролировать его. Именно за такую позицию Сен-Жюст так резко упрекнул его в обвинительном акте апреля 1794 года, в то время как в момент принятия этой позиции он был мишенью самых яростных нападок со стороны консерваторов. Ничто не характеризует Дантона в этот момент так ясно, как тот факт, что он единственный из народной партии умел быть практичным и наживать врагов.

Август можно считать временем, когда Дантону нужно было быть наиболее осторожным, если он хотел сохранить свое положение и избежать впадения в насилие и неразумие. Именно 2-го числа этого месяца (как мы уже сказали) состоялись выборы Бэйли, а 5-го числа Дантон получил личный удар, поскольку в этот день он получил всего 193 голоса из более чем 3000 присутствующих за должность, которую он действительно жаждал и на которую был кандидатом.

С этого момента он посвящает всю свою энергию восстановлению. Первые признаки его нового отношения появляются в начале сентября. Старое собрание Кордельеров уже было преобразовано в клуб, и его влияние снова набирало силу в дебатах и в местном батальоне Национальной гвардии, когда в Париж пришла весть из Нанси.

Конфликт между Национальной гвардией и народом, пример того, чем Лафайет постоянно угрожал Парижу — конфликт вооруженной буржуазии и ремесленников, или, скорее, милиции, используемой в качестве профессиональной армии против народа — наконец произошел. Это был повод для ярости. Марат громко выражал свою ярость, а роялисты со своей стороны давали волю не мало самодовольной ярости. В большом вопросе о том, должна ли армия быть демократической или нет, должна ли реакция обладать своим старым дисциплинированным оружием, казалось, что реакция победила, и Франция увидела небольшую репетицию того, что через десять месяцев привело к событиям 17 июля.

В таких условиях позиция кордельеров имела реальное значение. Во время всех попыток Лафайета централизовать парижскую милицию этот батальон оставался независимым; его позиция в октябре, его защита Марата в январе доказали это. Кризис, казалось, требовал от этого революционного органа решительного протеста против использования милиции в качестве армии, направленной против народа. Такой протест мог стать причиной восстания в Париже. В этих условиях Дантон — какими аргументами, мы не можем сказать (поскольку все это дело известно нам только по нескольким строкам Демулена) — добился от своего батальона тщательно сформулированного заявления. «Несмотря на высокое мнение, которое мы имеем о национальной гвардии, принимавшей участие в событиях в Нанси, мы не можем выразить ничего, кроме сожаления о том, что произошло»^[76]. Это было умеренно до банальности, но спасло Дантона от пропасти и от улицы.

Затем последовала еще одна проверка, в которой он вновь продемонстрировал свою силу самоконтроля. «Знатные» — что-то вроде членов городского совета в нашей новой муниципальной системе в Англии — должны были быть избраны в Париже вскоре после выборов мэра и губернатора коммуны. Каждая секция должна была избрать трех, и Дантон к тому времени настолько восстановил свое влияние на родине, что был избран от Французского театра.

К сожалению, новая конституция Парижа была снабжена одним из тех сдерживающих механизмов, главная цель которых — помешать прямому представительству. Выбор каждого секции подлежал цензуре или одобрению всех остальных. Именно по их решению мы можем лучше всего судить о подозрениях, которые питала к нему большая часть его равных. Против

него была развернута настоящая кампания. Было поднято дело Марата, в особенности ордер на арест Дантона, выданный Шатле шесть месяцев назад. Был использован самый излюбленный прием в предвыборной борьбе — сомнение в подлинности кандидатуры. Избирателям, не слишком хорошо осведомленным в деталях законодательства (особенно в период, когда все законы пересматривались), сказали, что ордер делает кандидатуру Дантона незаконной. Говорили, что он продался Орлеанам, потому что часто бывал в Палей-Рояле и ненавидел Лафайета. К нему приклеили ярлык демагога — единственное, чего он хотел избежать, — и он был единственным из всех нотаблей, кого отвергли сорок три секции (только пять проголосовали за него) в период с 9 по 16 сентября[77].

В эти пять входили Посты, Инвалиды, Люксембург. Дантона поддерживали не столько чисто народные кварталы, сколько университет и юристы.

Он воспринял свое поражение как сигнал к еще большей сдержанности, позволив своему имени уйти на второй план и отказавшись любыми действиями или высказываниями затмевать свою репутацию новыми проблемами. Эта тактика увенчалась успехом. Когда в октябре понадобился публичный оратор, они вспомнили о нем, и он выступил с докладом 10 ноября. Обстоятельства были следующими:

Министерство, окружавшее короля, было откровенно реакционным. Я не имею в виду, что оно было против действующей конституции. Возможно, большинство (и менее значимые) его членов не хотели бы возвращения чего-либо, напоминающего старый режим. Но в революции были не только факты, но и тенденции, и в период, когда каждый день приносил свои изменения, за тенденциями следили с крайней осторожностью. Франция, возможно, думала, глядя на федерацию на Марсовом поле и на алтарь, где Тальеран отслужил мессу, что революция закончилась и новое положение дел установилось в мире, но те, кто жил в столице, знали лучше; и люди, непосредственно окружавшие короля, которые видели неизбежные последствия подписания им гражданской конституции и растущий разрыв между ним и ассамблеей, — эти люди были на стороне короля. Случай в Нанси, вызвавший столько страстей, был тем, что окончательно пробудило парижскую общественность; и в тот самый момент, когда король тайно планирует бегство в Монмеди — бегство, которое шесть месяцев спустя закончилось неудачей, — Париж впервые заявляет о своем праве управлять делами королевства.

Именно секции начали это движение, те секции, чья деятельность должна была быть столь ограниченной, но которые, напротив, становились постоянными органами выражения мнения в столице.

22 октября секция Моконсейль направила прошение об отставке кабинета министров и обратилась к Национальному собранию. Секция Национальной библиотеки последовала ее примеру три дня спустя и направила свое прошение не только в Собрание, но и королю. Необходимо помнить, что в то время бытовала легенда о хорошем короле, обманутом своими советниками. Действительно, она пережила бегство в Варенн, частично пережила 10 августа, и только недавние исследования ясно доказали постоянные интриги, главой которых был король.

27-го числа Моконсей снова выступил с петицией к мэру Бэйли с просьбой созвать общий совет коммуны и рассмотреть жалобы. Четырнадцать других секций поддержали эту

петицию. Бэйли колебался, и пока он выжидал, все сорок восемь секций назначили комиссаров и отправили их на неформальное собрание в архиепископство[78].

Дантон был членом этого большого комитета и был назначен секретарем. Он составил обращение; мэр дважды вызывался для созыва общего совета Коммуны. Колебаясь и боясь, Бэйли наконец сделал это, и после бурных дебатов резолюция была принята. Бейли был отправлен городом «представить коммуну перед Ассамблеей и потребовать отставки» министров юстиции, войны и внутренних дел — Де Сисе, Ла Тур дю Пен и Сен-Прие.

Дантон был выведен из неформального органа, в котором он исполнял обязанности секретаря, и попрошен выступить оратором законной Коммуны. 10 ноября произошла очень любопытная сцена.

Бейли с жалостным видом извинился глазами и привел представительный орган Парижа. Он впервые присутствовал в Национальном парламенте, и менее чем через три года Париж должен был стать хозяином парламента. В настоящее время они были не на месте; их требование пугало их. Потребовался голос Дантона, чтобы успокоить их и привести противоборствующие силы к сражению.

Его голос, громкий, грубый и глубокий, возможно, с легким провинциальным акцентом, помог укрепить ложное представление, которое сложилось у господ из парламента. Этот Дантон, о котором они так много слышали, появился внезапно, не на своем месте — ведь он не занимал никакой официальной должности — и правые были в ярости.

Тем не менее, речь Дантона была умеренной и разумной. В ней есть один интересный отрывок о положении Парижа во Франции, который интересен своей оригинальностью, но большая часть речи представляет собой череду простых аргументов. Этот отрывок звучит следующим образом:

«Эта коммуна, состоящая из граждан, которые в некотором роде принадлежат к восьмидесяти трем департаментам — (*Правые*: Нет! нет!) — ревностно желая выполнять от имени всех добропорядочных граждан обязанности стража конституции, спешит выразить требование, дорогое всем врагам тирании — требование, которое услышали бы все секции империи, если бы они могли объединиться с той же быстротой, что и секции Парижа»[79].

В остальном он постоянно настаивает на праве парламента управлять — прежде всего, на праве представительного органа отправлять в отставку министерство. В этом, как и в некоторых других вопросах, он придерживался очень английской точки зрения, и, безусловно, его аргументы были убедительными. Но его постоянно прерывали, и даже в « » — сухом отчете «*Moniteur*» — мы получаем хорошее представление о том, как, должно быть, выглядела эта сцена:

«Отставка, которую Ассамблея имеет право требовать».

Аббат Мори: «Кто это сказал?» [Последовал шум и обсуждение. Аббата призвали к порядку, когда...].

М. Казалес заметил: «Наш долг — слушать, даже если они говорят чепуху».

Дантон снова начал: «Парижская коммуна лучше способна судить о поведении министров, чем...».

Аббат Мори: «Почему?» [Его снова призывают к порядку.]

И так продолжалось дальше. Но в дуэли такого рода оружием являются легкие, а у Дантона были самые сильные легкие в зале. У него был, пожалуй, и самый здравый ум из всех, но аббат Мори и его друзья выбрали более быстрые методы, чем аргументы. Короткая речь закончилась (ее прочтение заняло не больше четверти часа), и делегация покинула Ассамблею. Последняя обсудила и отклонила декрет, но Коммуна добилась успеха, поскольку через несколько дней архиепископ Бордо покинул Министерство юстиции, а Ла Тур дю Пен, «считавший, что только пергамент делает человека дворянином» (фраза Дантона, которая возмутила правых), покинул Министерство войны.

Делегация подала петицию в среду, 10 ноября. Четыре дня спустя он был избран главой батальона милиции, в котором он служил в течение года^[80]. Есть некоторые сомнения относительно того, долго ли он оставался на этом посту. Некоторые противники неопределенно говорят о том, что он «возглавлял свой батальон» в 1792 году, но никогда не выступают в качестве очевидцев. С другой стороны, существует письмо, в котором говорится об отставке Дантона, но оно не подписано и не датировано. Только кто-то написал карандашом: «Гувион, 22 ноября».^[81]

В любом случае, интерес этого небольшого инцидента заключается в том, что он означал встречу Дантона и Лафайета, и, как замечает Фрерон в своем дневнике, «Cela serait curieux»^[82]. Возможно, они не встретились.

Кампания, постоянно направленная против Дантона, была столь же активна в этом вопросе, как и во всех других. Например, о том, как управлялась и дисциплинировалась гвардия, можно судить по тому, что «капрал Кутра ходил и собирал подписи против назначения Дантона».^[83] Он только что превзошел успехи своих врагов. Ноябрь снова поставил его на прочную основу, и в январе он достиг того места, к которому так долго стремился, — управления Парижем.

Следует помнить, что голосование проходило в два этапа. Избиратели назначали «избирательную коллегию», которая избирала коммуну и ее должностных лиц. Уже в октябре Дантон был включен в избирательную коллегию двадцатью шестью членами, выбранными его секцией, но не без яростного сопротивления. Наконец, после восьми туров голосования, 31 января 1791 года он стал членом администрации города — двадцать вторым в списке из тридцати шести избранных. Однако ему не удалось быть избранным «прокурором», и на протяжении всего 1791 года он сохраняет свое место в администрации Парижа лишь как трамплин. Он не много говорит в Совете. Он использовал свой частичный успех только для того, чтобы занять определенную должность, с которой он мог бы осуществлять определенный исполнительный контроль; эту должность он наконец занимает (как мы увидим) в следующем году декабря, и именно с этой должности он может руководить движением 1792 года.

1791 год не составляет единого целого в истории Революции. Он резко делится на две части бегством короля в июне. До этого события дела шли с определенным спокойствием. Можно обнаружить тенденцию к реакции и тенденцию к крайней демократии, но нет сомнений в том, что общественное сознание охватила своего рода апатия. В конце концов, преимущества революции очевидны. Два года дискуссий, бесполезная резкость предыдущей осени начали утомлять избирателей — в обществе царит веселое настроение.

После бегства короля все изменилось. За периодом развития последовал период бурного прогресса, а затем еще более бурного отступления; во Франции впервые появилось слово «республика», и все персонажи, окружавшие Лафайета, вступили в открытый конфликт с массами. Действия войск на Марсовом поле открыли первую из тех непреодолимых

пропастей между партиями, и с этого момента возникла ненависть, которую можно было удовлетворить только смертью политических противников.

Таким образом, в тот первый период, который был нарушен смертью Мирабо, поставлен под угрозу 18 апреля и завершен бегством короля, роль Дантона, как и всех демократов, была стерта. Почему бы и нет? Бурные дискуссии, последовавшие за делом Нанси, привели, так сказать, к двойному удовлетворению: лояльная партия увидела, что, в конце концов, радикалы не разрушают государство; радикалы, с другой стороны, поняли, что лоялисты не могут сделать ничего явно вредного для нации, не будучи обнаруженными. По крайней мере, они думали, что поняли эту истину. Они не знали, как в течение нескольких месяцев Мирабо был на службе у двора и как исполнительная власть заботилась скорее о короле, чем о нации.

Признаком этого умиротворения в бурные времена (движение, кстати, которое было именно тем, чего желал Дантон) является его письмо к Ларошфуко, президенту департамента, когда стало известно об успешных выборах, о которых я рассказывал выше. Это письмо, одно из немногих, которые оставил Дантон, является необычайно талантливым сочинением. Он намекает на недоверие, которое вызывало упоминание его имени; он не отрицает мятежный характер того квартала Парижа, который он вдохновил. Но он отвечает: «Теперь, когда я занимаю государственную должность, я позволю своим действиям доказать мою позицию, и если я занимаю ответственную должность, это будет иметь особое значение, показывая, что я был прав, постоянно требуя общественного контроля над административными функциями». Все это длинное письмо^[84] очень хорошо сформулировано; это говорит сам Дантон, и трудно усомниться в том, что в этот момент он также был одним из тех, кто думал, что они приближаются к завершению реформы, к той цели, которая всегда ускользала от людей, которые наиболее искренне ее искали.

Однако он не часто посещал Совет — не более чем четверть его заседаний; кроме того, люди, входившие в его состав, по-прежнему смотрели на него с подозрением, и когда 4 мая были сформированы комитеты, его имя было опущено. На следующий день он попросил включить его в комитет, в который входил Съес, и его просьба была удовлетворена.

Деятельность Дантона в течение этих нескольких месяцев не проявлялась даже в Кордельерах; хотя этот клуб иногда выслушивал его, он в основном выступал в якобинцах.

Этот знаменитый клуб, от которого в значительной степени зависела судьба революции, в тот период отнюдь не был той крайней и робеспьеровской организацией, с которой мы обычно ассоциируем его название. Он еще даже не называл себя «скими якобинцами», а скорее придерживался своего первоначального названия «Друзья Конституции». Его происхождение восходит к небольшому собранию бретонских депутатов, которые, пока Ассамблея еще находилась в Версале, имели обыкновение собираться вместе, чтобы обсудить общий план действий. Когда Ассамблея переехала в Париж, это общество, в которое к тому времени вступило очень большое число депутатов, заняло свое место в зале доминиканцев или «якобинцев», расположенном недалеко от улицы Сент-Оноре. (Сегодня это место находится к востоку от площади Вандом.) Это было объединение всех, кто желал реформ, и в первой половине 1790 года оно было примечательно тем, что давало общую площадку, где могли встречаться умеренные и экстремисты, все, кто желал реформ. Среди его президентов был герцог де Брольи. Именно роялисты, крайняя партия двора, прозвали этих «друзей Конституции» «якобинцами», и только несколько позже они сами приняли это прозвище и стали им гордиться. В него входили не только депутаты, но и все лучшие и

наиболее образованные парижские реформаторы, почти все из знати или профессиональных классов, которые проводили торжественные заседания, на которые не допускалась публика.

Почти в одно и то же время, а именно осенью и зимой 1790 года, в нем проявились две особенности. Во-первых, умеренные начали покидать его, и образовался раскол, который в конечном итоге привел к появлению «фейантов»; во-вторых, со всей Франции поступали требования от местных народных обществ о присоединении к великому клубу в Париже. Эти требования были удовлетворены. Возникает своего рода «якобинский порядок», который проникает даже в маленькие провинциальные городки, везде проповедует одну и ту же доктрину, везде ставит своей задачей следить за реакцией. Эти местные клубы с чем-то вроде суеверия полагались на декреты того, что, без слишком сильной метафоры, мы можем назвать «Материнским домом» () в Париже; именно эта организация пробудила апатию провинциальной Франции и обучила новых избирателей политическим дискуссиям, и именно она позже была захвачена Робеспьером, который, как своего рода верховный жрец, руководил дисциплинированной организацией везде, где существовали аффилированные общества.

Дантон впервые присоединился к обществу именно в тот момент, когда происходила эта двойная перемена, в сентябре 1790 года. Его энергия, которая была задействована в клубе для урегулирования конфликта с умеренными (если это было возможно), также была использована (цитируя известную фразу) для того, чтобы «Франция услышала Париж». Кордельеры были по сути парижанами; проникнувшись этим чувством, Дантон обратился с улицы Сент-Оноре ко всей нации.

В конце марта он начинает быть услышанным в речи, в которой он атакует Коло д'Эрбуа, поскольку этот неприятный человек был тогда умеренным. Именно в связи с этой речью «сабо-якобиты» дают нам сатирический стишок о Дантоне, который напоминает его лицо, когда он говорил, выглядящее еще более уродливым из-за энергии, которую он вкладывал в свои слова:

«Месье Дантон,

Quittez cet air farouche,

Monsieur Danton,

On vous prendrez pour un démon»^[85].

3 апреля в Париже стало известно, что Мирабо умер. Он был убит переутомлением, пытаясь спасти короля от самого себя. Мастерская интрига, двойная игра, которая скрывалась в течение целого поколения, измотала его, и в ужасном напряжении, пытаясь уравновесить такие противоположные интересы, как интересы Франции, которую он обожал, и Людовика, которому он служил, его двухлетняя борьба внезапно обрушилась на него и сокрушила его. Он улыбнулся солнцу и назвал его Божьим двоюродным братом, хвастался как гений, произнес отчаянную фразу о монархии, потребовал сна и умер.

Дантон всегда, издавек, понимал своего брата в шелке и с мечом. В этот день он страстно оплакивал его утрату. Как и весь Париж, якобинцы забыли измену Мирабо и вспомнили о его заслугах, когда к ним пришла весть о его внезапной смерти. С трибуны Дантон выступил с речью, в которой почти в одиночку предсказал грядущую реакцию, и оказался прав. Король, которого с трудом удерживал от безумия компромисс великого государственного деятеля,

погрузился в него, когда его поддержка была отозвана. Раньше он был наполовину человеком Мирабо, теперь он был полностью человеком Антуанетты.

Именно роковой вопрос о религии ускорил кризис. Людовик не мог честно принять пасхальное причастие от конституционного священника. С другой стороны, он мог бы принять его тихо, в своем доме. Он решил сделать это публичной церемонией и с помпой отправиться в Сен-Клу для выполнения своих пасхальных обязанностей. Он должен был выехать 18 апреля, через день или два после смерти Мирабо. Как и следовало ожидать, улицы сразу же заполнились людьми. Многочисленные батальоны Национальной гвардии, которые были на стороне демократов, помогли народу остановить карету; в их глазах, как и в глазах народа, поездка короля в Сен-Клу была лишь частью плана покинуть Париж, чтобы собрать армию против Ассамблеи[86].

С другой стороны, те из Национальной гвардии, кто подчинялся Лафайету[87], не могли, по самой этой причине, двигаться, пока Лафайет не отдал им приказ. Таким образом, карета простояла несколько часов, пока, наконец, в отчаянии король не вернулся в Тюильри.

А что же происходило в мэрии? Свидетельства противоречивы, и вся история запутана, но правда, по-видимому, была примерно такова. Лафайет, безусловно, обратился к администрации департамента с просьбой ввести военное положение. Бэйли, безусловно, был готов это сделать. Дантона вызвали из его рядов, и он выступил против этого; но закончил ли он дело своей речью? Камиль Демулен[88] утверждает, что да, и рисует прекрасную картину, как Дантон увлек за собой администрацию, как он увлекал за собой клуб или улицу. Но Демулен часто бывает неточен, и здесь его рассказ маловероятен. В собственной заметке Дантона об этом событии (которую он счел достойной того, чтобы приложить к семейным бумагам) говорится: «Я был присутствовал в Департаменте, когда господа комендант и мэр потребовали введения военного положения». Ничего больше.

Демулен делает еще одну ошибку, когда приписывает Дантону письмо, которое было написано королю и отправлено в ночь на 18-е число; в нем ему вменялись в вину его действия и резко критиковалось его неприятие конституционных священников. Это письмо написал не Дантон, а Талейран (также член Департамента).

Вероятно, Дантон и Талейран были знакомы. Талейран был хорошим знатоком людей и имел много козырей в рукаве — мы знаем, что в критический момент 1792 года он полагался на доброту Дантона, — но стиль письма не похож на стиль Дантона, и документ, который мы находим у Шмидта, определенно приписывается Талейрану.

Это все, что мы можем собрать о его месте в народном восстании, направленном на то, чтобы не дать королю покинуть Париж. Кордельеры выпустили плакат с некоторыми насильственными высказываниями, в котором говорилось, что он «запретил Лафайету стрелять в народ», но Дантон отрекся от него на заседании Департамента.

Одно можно сказать наверняка: 18 апреля наконец-то поставило Дантона и Лафайета лицом к лицу, и всем в Париже было известно, что в следующем кризисе они станут лидерами противоборствующих сил. Но их роли оказались прямо противоположными тому, что могли бы предсказать люди. Именно Лафайет стрелял и грозился, и именно он на короткое время обрел власть; именно Дантон совершил фланговое движение и одержал окончательную победу. Следующим кризисом стало бегство короля.

Было бы неуместно рассказывать об этом бегстве в жизни Дантона. Наша задача — понять Дантона, проследив точный ход его действий в июне и июле и точно описав характер движения, в котором его отношение приняло ту форму, которую мы исследуем.

Две вещи привлекают внимание, когда мы изучаем Францию 1791 года. Франция была монархической, и Франция боялась. История знает, что последовало за этим; люди того времени не знали. В их умах лежали столетия истории, которая уже была; их будущее было для них невообразимым и столь же нереальным, как наше будущее для нас. С самого первого момента настоящей революции можно заметить страсть к королю. Для большинства он был отцом, но для всех — необходимым человеком. Они вернули его в Париж, заставили его заявить о лояльности, а затем, в порыве безумного желания, приняли за настоящую эмоцию, которую они сами же и продиктовали. Таково было движение 4 февраля 1790 года; таково было настроение Федерации в июле того же года. И народ понимал его нежелание причащаться у священника, не принесшего присяги, как бы ни удивлялись этому высшие классы. Никто не понимал, что только Мирабо стоял между короной и ее самыми гнусными искушениями; только его гениальный баланс, его великий и достойный восхищения компромиссный характер не давали Людовику поддаться своей наименее королевской стороне, и пока он жил король французов предпочитал нацию своей собственной личности. Но Мирабо был мертв. Те, кто учуял его измену и догадался о слабости художника в нем, поступили правильно, оплакивая его; они поступили правильно, простив его; его голова не понимала Францию, но его широкие французские плечи поддерживали ее. 18 апреля было прямым следствием его смерти; 21 июня было падением через сломанный мост: Людовик поддался себе.

Что ж, Франция тоже боялась. Эта демократия (как она стала), эксперимент, основанный на видении, знала, насколько опасен путь между старыми и новыми идеалами. Она боялась божественного солнечного удара, угрожающего дороге в Дамаск. В этом проходе, ограниченном с обеих сторон бездной, ее ноги шли медленно, одна за другой, и она постоянно оглядывалась назад. В извилистых приливах ночи ее единственным якорем, удерживающим ее в старом времени, была монархия. Поэтому, когда Луи бежал, возникло ощущение, что сломалась опора. Франция требовала только одного: «Верните короля». Привяжите балку — временное решение — что угодно, только не новое основание.

Вот какова была позиция Дантона в этом кризисе. Франция не республиканская, а его друзья в Париже — республиканцы. Он склоняется к Франции. Именно Дантон, больше чем кто-либо другой, в конечном итоге подготовил Республику, но Республика никогда не была для него идеей. Его целью были последствия республики; что же касается систем, то системы не были частью его мышления. В конце этой главы мы увидим, как он свергает корону; он сделал это, потому что считал, что это единственное действие, которое может спасти Францию; но корону как идею он никогда не ненавидел: он жил в существующих вещах.

Вот почему он колебался в этот момент. Как человек, понимающий Европу, он видел, что правительства не готовы к переменам; как человек, понимающий свою страну, он видел, что король вернется на свое место; с другой стороны, как человек, который встречал и ценил идеалистов, он видел, что республика уже существовала в умах; и как человек, который понимал характер своих соотечественников лучше, чем любой другой современник, он видел, что люди, которые должны были возглавить движение, были склонны к декларации против короля. Он пострадал больше, чем того заслуживали его действия, и, несмотря на всю свою осторожность, пережил несколько дней острой опасности из-за своих связей и друзей.

Когда стало известно, что Людовик бежал, и когда Париж, бдительный больше, чем провинции, и обманутый апрельской декларацией, пережил первую волну страстей, слово «республика» начало произноситься вслух. Теоретики впервые оказались в согласии с настроениями общественности; и против рвения, если не численности, тех, кто требовал отречения короля по его возвращении, стояли два барьера — Ассамблея и умеренное состояние столицы. Дантон жил с первым, думал о втором и практически молчал.

Бюст Людовика XIV перед мэрией был разбит; люди взбирались по лестницам, чтобы отколоть лилии с дворцов, и вскоре появилось новое предзнаменование: кто-то воскликнул: «Только республика может защитить себя в конце концов».

На этот несколько сбивчивый призыв к республике последовало очень резкое заявление от никого иного, как Кондорсе. Кондорсе, умеренный и просвещенный, был также наполовину мечтателем, и в его голове всегда витала идея договора, которым Англия оправдала движение 1688 года, но который Франция восприняла всерьез. Англия привлекала его так же, как и всех профессионалов того времени — притяжение, которое длилось до катастрофы 1870 года и которое вы еще можете обнаружить здесь и там среди тех, кто является наследниками Ламартина. Англия дала им Локка, и рассуждения Кондорсе о бегстве короля[89] читаются как отрывок из Билля о правах. Тем не менее он был добрым и искренним человеком и умер из-за простоты сердца.

4 июля, через десять или более дней после того, как король был возвращен в Париж[90], именно Кондорсе выдвинул требование о провозглашении республики; в речи в клубе Фоше он потребовал созвать Национальное собрание для решения всего вопроса. Он писал об этом в газетах[91] в течение всего июля и даже после событий на Марсовом поле продолжал свою агитацию.

Как же мы узнаем о позиции Дантона? Кордельеры представили петицию 21 июня и потребовали республику. Именно из этого документа в основном и возникла ошибка. Но Дантон тогда не был с Кордельерами; его имя в петиции не фигурирует. Его голос слышен в якобинцах, а якобинцы заняли явно монархическую позицию. 22 июня они все как один поднялись и единогласно проголосовали за конституцию и короля[92]. Дантон присутствовал при голосовании и только что услышал освистывание петиции Кордельеров; он молчал. Томас Пейн требует республики в «Мониторе»; Съес отвечает в защиту монархии[93]; даже Робеспьер с опозданием высказывается в пользу идей и против изменения этикета; Марат призывает к диктатуре[94]; Дантон, почти в одиночку, отказывается быть уверенным. 23 июня он выступил в якобинцах в пользу совета, который должен быть немедленно избран департаментами, входящими в состав « », но не предложил ничего относительно его действий; это была просто его постоянная идея о центральной, сильной власти.

Лафайет развлекался арестами людей, которые повторяли это на улицах, но Лафайет слепо ненавидел Дантона. Ничего республиканского нельзя было извлечь из речи, которую его враги называли «лазейкой для Орлеана».

Дантон напал на Лафайета: он видел людей яснее, чем идеи, и Лафайет был кошмаром Дантона. Он был тем существом, которое Дантон считал самым опасным на земле, воплощением всех недостатков, которые он атаковал до самой своей смерти; в Людовике, в Робеспьере, «слабом человеке у власти». 21-го он изгнал его из якобинцев, а позже в тот же день выкрикнул на улице лозунг против своего врага, который так преувеличили страхи Ассамблеи.

Ведь события последних суток только усилили его естественную оппозицию Лафайету, и, рассказывая о них с точки зрения Дантона, мы увидим, что в идее о том, что он возглавил движение, есть доля правды, а именно, что три дня бегства и повторного захвата короля, хотя и поставили Лафайета в положение большой власти, но также сделали Дантона его противником, лидером протеста против методов генерала. Тем более примечательно, что в таких условиях слово «республика» никогда не срывалось с его губ.

В одиннадцать часов вечера в понедельник, когда король бежал, Дантон и Демулен возвращались домой одни из якобинского клуба. Оба заметили друг другу пустоту улиц и отсутствие патрулей, и в тот момент, когда о побеге еще мало кто подозревал, у каждого из них возникло смутное подозрение, что Лафайет имел какие-то причины для концентрации Национальной гвардии[95]. Демулен даже утверждал, что видел, как тот входил во дворец, когда два друга проходили мимо Тюильри.

На следующее утро в Кордельерах Дантон на мгновение выступил против Лафайета, а затем в якобинском клубе произнес речь, о которой говорилось выше. Он постоянно нападает на человека, который готовил контрреволюцию, но я не верю, что в тот момент он придавал бы малейшее значение изменению в этикете правительства. Таким образом, когда во второй половине дня Ассамблея вызвала Департамент, Дантон пришел позже своих коллег, обеспечил себе охрану и, пересекая сады Тюильри, произнес речь перед народом, но против Лафайета, а не против короля.

Теперь, чтобы убедиться в этой особенности, в дуэли между Лафайетом и Дантоном, и увидеть, что это было главным событием того времени, вернитесь еще раз к сцене в якобинцах и сравните ее с мемуарами Лафайета, и вы увидите, что Дантон был ужасом спасителя двух миров и что именно на Лафайета Дантон направил всю свою артиллерию.

Вот Дантон в якобинском клубе, сидящий рядом с Демуленом; он поднимается на трибуну и говорит о позоре и опасности, которые принесли умеренные. Когда Лафайет вошел во время речи, он внезапно повернулся к нему и произнес одну из тех прямых фраз, которые позже сделали его лидером Конвента: «Я буду говорить так, как будто я стою перед судом Божьим, и я скажу перед вами, месье Лафайет, то, что я сказал бы в присутствии Того, Кто читает все сердца... Как так получилось, что вы, который притворяетесь, что ничего не знаете обо мне, пытались подкупить меня своими взглядами на измену? Как так получилось, что вы арестовали тех, кто в феврале этого года требовал уничтожения Винсенна? Вы здесь, попробуйте дать ясное объяснение... Как так получилось, что те же самые люди, которые стояли на страже, когда король пытался уехать в Сен-Клу 18 апреля, стояли на страже прошлой ночью, когда король бежал?... Я не буду упоминать о 6000 человек[96], которых вы выбрали в качестве гарнизона для короля; только ответьте ясно на эти три обвинения. Ведь в свете этих обвинений вы, отвечавший головой за то, что король не должен бежать, являетесь либо предателем, либо глупцом. Ибо либо вы позволили ему бежать, либо взяли на себя ответственность, которую не смогли выполнить: в лучшем случае вы не способны командовать стражей... Я покидаю трибуну, ибо я сказал достаточно»[97].

Это достаточно ясно, чтобы показать, чем был занят Дантон в июне 1791 года. А если, с другой стороны, вы обратитесь к мемуарам Лафайета, третьему тому, 83-й и следующим страницам, то обнаружите, что Дантон был предметом заботы Лафайета и что он использует этот момент, чтобы выдвинуть самое определенное и (к счастью) самое очевидно ложное из своих многочисленных обвинений в продажности. Он говорит нам, что не мог ответить, потому что это «стоило бы Монморену жизни»; что Монморен «имел квитанцию на 100 000

франков»; что Дантону «было возмещено 100 000 франков за место, стоимостью 10 000», и так далее. Сейчас мы точно знаем сумму компенсации, выплаченную ему и его коллегам в апелляционном суде[98], и мы знаем, что Лафайет, писавший поколением позже, движимый горькой ненавистью и помня, что кто-то заплатил Дантону, и с головой, полной смутных слухов о подкупе, впал в одну из тех непростительных ошибок, свойственных тщеславным и колеблющимся людям. Но в данном случае главный момент, который следует уловить, заключается в том, что Дантон использовал уклонение короля, чтобы атаковать Лафайета со всей своей мощью, и что спустя поколение старик в основном запомнил Дантона как лидера народного гнева, который командир гвардии считал своим долгом подавить. Именно это объясняет, почему Дантон, который так тщательно избегал давать сигнал к «фальстарту» республиканцев, был все же выделен, бежал и вернулся, чтобы возглавить оппозицию.

Кордельеры последовали примеру Дантона. Они составили петицию[99], подписанную 30 000 жителей Парижа, в которой требовали, чтобы это дело было вынесено на суд страны, но не требовали отмены монархии. Мемдар, их президент, объявил себя монархистом. Но петиция, хотя и была зачитана в Ассамблее, не была принята, и 9 июля кордельеры представили другую. Шарль де Ламет (который был президентом в те две недели) отказался ее зачитывать. Другими словами, Ассамблея молчала; она была решительно настроена (как и ее преемница год спустя) ничего не делать — позиция, которая (насколько она знала) могла быть очень мудрой, а те, кто следовал за Дантоном, определились с четкой политикой. В пятницу, 15 июня, в якобинском клубе было решено составить петицию, в которой Ассамблея просила, *во-первых*, признать, что Людовик отрекся от престола, бежав из страны, если только народ не проголосует за его восстановление, и, *во-вторых* (в случае, если народ этого не сделает), принять меры для его конституционной замены. Теперь конституция была монархической.

Петиция должна была быть зачитана на Марсовом поле на алтаре, где и собирались подписи. Ее составили Дантон, Сержен, Лантанас, Дюканель и Бриссо, которые написали ее и сформулировали большую ее часть. Следующие события необходимо отметить с особой тщательностью, поскольку от их точной последовательности зависит наше суждение о действиях Лафайета и политике Дантона.

В субботу[100] 16-го числа, около полудня, делегация из четырех якобинцев прибыла на Марсово поле. Петиция была зачитана с одной стороны маленьким светловолосым англичанином, а с другой — рыжеволосым французом в красном пальто; это были живописные, но неважные детали. Дантон вскочил на угол алтаря и зачитал ее еще раз перед густой толпой. Подписи были собраны в большом количестве, и когда готовый документ уже собирались отправить в Ассамблею, а делегация, которая должна была его доставить, была уже сформирована, внезапно распространилась весть о том, что Ассамблея проголосовала за оправдание Людовика.

К якобинцам обратились с просьбой, и они ответили, что в таких условиях составленная ими петиция не может быть представлена. Однако кордельеры потеряли самообладание, и Роберт решил составить новую петицию. В этой второй акции Дантон не принимал участия. Именно эта новая петиция (подписанная Робертом, Пейром, Вашаром и Демоем) была поспешно составлена на Марсовом поле в воскресенье 17 июня, к ней были приложены 6000 подписей, и именно она требовала созыва «Конвента для суда над королем». За этим последовало введение военного положения, появление Лафайета и Бейли на Марсовом поле

с красным флагом, конфликт между Национальной гвардией и толпой и все то, что называется «резней на Марсовом поле».

Эта петиция не была подписана Дантоном.^[101] Он даже не был там присутствовал,^[102] как мы знаем из его речи по поводу его избрания «Substitut-Procureur» (заместителем прокурора), и особенно из того факта, что в течение двух недель террора, когда красный флаг развевался над Отель-де-Виль, когда демократы были арестованы или скрывались, когда дверь Кордельеров была закрыта и забита гвоздями, а радикальные газеты были запрещены, не мог быть выдан ордер на арест, потому что против него не было ничего определенного. Лафайет, однако, был полон решимости действовать по-военному, и 4 августа был отдан приказ об аресте Дантона по какому-то другому поводу, о котором он упоминает в своей речи в следующем январе, но точные условия которого до нас не дошли.

Он сразу же покинул Париж, когда увидел, что Лафайет на данный момент обладает практически абсолютной властью. Сначала он отправился к своему тестю Шарпантье в Росни-сюр-Буа, а затем бежал в Арси. До того, как ордер был фактически оформлен, Лафайет послал человека следить за ним в Арси. Он «устраивал обед. Чтобы арестовать его, понадобилась бы целая кавалерийская рота. Все были на его стороне»^[103]. Марсель и Бар выступили в его защиту. Но нападки только усилились. 31 июля он снова переехал в Труа, в дом Мийо, друга своего отца по профессии, потому что опасался нового прибывшего из Парижа человека, который, по-видимому, был шпионом^[104]. Он был там, когда ордер на арест был отправлен «прокурору»; этим чиновником был Бюгно, и Бюгно шутливо сказал Дантону, что не будет его арестовывать. Дантон не счел это достаточной гарантией, и, поскольку его отчим Рекоден уехал в Англию, чтобы купить оборудование для хлопкопрядильной фабрики, которую он собирался открыть, Дантон отправился с ним в Англию и остался в этой стране на месяц, живя в доме сыновей своего отчима, которые поселились в Лондоне. Он прибыл в последние дни июля или в первые дни августа () ^[105] и не возвращался в Париж до тех пор, пока его друг Гарран де Кулон не был назначен президентом Апелляционного суда. 12 сентября он снова появляется в якобинском клубе; некоторые говорят, что он был в Париже 10 сентября ^[106].

Было бы чрезвычайно интересно узнать, как он провел эти тридцать или сорок дней. К сожалению, нет прямых свидетельств о том, с кем он встречался и какие переговоры вел. Что касается его английских знакомых, его писем от Пристли и Кристи, его отношений с Талейраном и их совместной дипломатической деятельности по заключению союза с Англией, то все это относится к Дантону, находившемуся у власти, министру, руководившему Францией после августа 1792 года, и именно в этом месте будет рассмотрено. Мы не имеем никаких сведений об исторических событиях, произошедших во время его путешествия, и нет более прискорбного пробела в очень разрозненной серии установленных фактов, касающихся его.

По возвращении он обнаружил, что Секция Французского театра назначила его членом избирательного колледжа, который заседал в дворце архиепископа. Многие члены этой Ассамблеи были арестованы или бежали во время жестоких репрессий Лафайета в августе и сентябре. Новый парламент, который только что собрался, не объявил амнистию (как его просили сделать 5 сентября), но, конечно, он был гораздо более демократичным, чем старая Ассамблея, и было понятно, что он молчаливо поддерживает возвращение тех, кого изгнал

Лафайет. Следуя примеру Дантона, они постепенно возвращались, но любопытный инцидент показывает, насколько велика оставалась опасность.

13 сентября парламент по желанию короля проголосовал за амнистию. Во время голосования констебль по имени Дамьен проник в галерею зала, где Дантон и избиратели вели дебаты, и передал президенту записку с просьбой разрешить арест. Президент и коллегия выборщиков (которые, кстати, не любили Дантона и не дали ему более сорока голосов при выборах депутатов от Парижа) все же приказали Дамиану произвести арест, и только когда они узнали об амнистии, Дантон был освобожден по собственному ходатайству.

Только что было сказано, что Дантон не был избран: давайте укажем на условия, в которых собрался Законодательный совет, этот короткий парламент сроком на один год, который развязал войну и с ужасом наблюдал за концом монархии.

Законодательное собрание не было избрано в один из тех решающих моментов, которые стали определяющими для Революции. Оно возникло в очень любопытный момент и во всех своих первых действиях проявило явную нерешительность.

Члены были выбраны под влиянием своеобразного сочетания, или, скорее, смешения эмоций. Король бежал, был пойман. Франция, из многих возможных зол, выбрала то, что считала наименьшим, когда восстановила его на троне. «Новый пакт» был принят даже теми, кто в июле говорил о республике. Кондорсе, который привел гражданских теоретиков к республике, теперь ведет их и в этом движении примирения. Опять же, это были первые выборы, проведенные после того, как средний класс и крестьянство получили право голоса над головами ремесленников: политику момента диктовала самая трезвая часть Франции. Разногласия, которые обнажила бегство короля, острая реакция и террор на Марсовом поле — все это было забыто.

Таким образом, парламент не избрал Гаррана-Кулона своим первым президентом, но на следующий день принял «» — крайне демократический этикет в отношении приема короля в случае его визита в Ассамблею. На следующий день он отменил его, и когда король действительно посетил Ассамблею, его встретили взрывом лояльности и любви.

Что касается партий, то власть, как всегда в французской Ассамблее, принадлежала центру — примерно тремстам людям, не имеющим большого значения и не имеющим твердых убеждений, за исключением, пожалуй, стремления заставить законодательный орган выполнять ту работу, для которой он был избран, то есть двигаться умеренно по линии, намеченной для него конституцией 1791 года.

Правые, хорошо организованные, лояльные и смелые, были феюантами, то есть они были монархическими и конституционными, но в большей степени монархическими, чем конституционными. Они поддерживали Лафайета, и в целом центр голосовал с ними по всем важным вопросам.

Но слева сидела менее сплоченная группа, полная личных амбиций и личных убеждений, в которую входили почти все ораторы, чьи имена прославились в следующем году. Это была всего лишь группа из 130 человек, даже если включить всех, кто подписал реестр якобинцев, когда собралась Ассамблея; однако ей, несмотря на плохую дисциплину, частично дику и частично неискреннюю, суждено было возглавить всю Францию. Почему? Потому что король сделал невозможным действие умеренных, потому что его интриги заставили французов выбирать между ним и Францией, и в неизбежной войне люди, которые были полны решимости осуществить революцию, не могли не стать лидерами.

Как уже было сказано выше, Дантон не был избран. Избирательная коллегия, членом которой он был, выбрала в основном умеренных, таких как Пасторе и Де Квинци, и узкое избирательное право отражало истинные настроения Парижа только в случае нескольких человек — Де Сешеля, Бриссо, Кондорсе и еще нескольких. Но хотя Дантон и не заседал в Законодательном собрании, он был свободен для действий в двух других направлениях, которые (как оказалось) были ведущими позициями в великих переменах, пришедших с войной (). Он был свободен для достижения административной должности в муниципалитете Парижа и свободен для использования своего ораторского таланта в якобинском клубе.

Что касается первого, то это произошло благодаря его умеренному, но важному успеху на муниципальных выборах в конце года. Бэйли, испугавшись за свое место, наполовину сожалея о своих действиях на Марсовом поле, подал в отставку, и 16 ноября на его место был избран Петион. Проголосовало только десять тысяч человек, и он получил 6700 голосов. В тот же день должен был быть избран прокурор новой коммуны. Прокурор в новой системе занимал чрезвычайно важную должность. Он был, так сказать, адвокатом города, его трибуном в органе управления, и вместе со своими двумя заместителями (которые помогали ему и иногда заменяли его) должен был формировать своего рода небольшой комитет, задачей которого было следить за интересами и определять позицию избирателей, когда эти интересы были под угрозой или эта позиция противоречила политике избранного органа. Эти три должности были опасными, но приносили популярность и, возможно, власть, если ими руководил человек, обладающий определенными способностями. Именно такой властью, качеством трибуна, обладал, как он сам знал, Дантон.

Его кандидатура на главную должность была горячо поддержана кордельерами, но якобинцы были разделены и колебались. Был избран Мануэль, а Дантон занял только третье место. Однако это голосование не было решающим, и 2 декабря состоялся второй тур. В нем Мануэль был окончательно избран.

Кайе де Жервиль (второй заместитель) был назначен министром внутренних дел, а Дантон 6 декабря^[107] был избран на его место большинством в 500 голосов, опередив Коло д'Эрбуа. Именно с этой должности он готовил 10 августа, и именно в качестве заместителя он оставался рядом с восставшей коммуной, придавая ей некоторую легитимность после свержения короля.

Прежде чем оставить эту тему, позвольте мне точно определить положение, в котором он оказался благодаря своему новому достоинству. Защитой общественного мнения занимались три человека: прокурор и два его заместителя. Мануэль, избранный на главную должность, был энергичным, добрым и добросовестным, но не обладал гениальностью; он был добр к мадам де Сталь в сентябре, о чем свидетельствует ее довольно презрительное описание того, как она просила его о защите; он сделал все, что в его силах (не имея никакой власти), чтобы остановить массовые убийства в то же время. Он любил работу и был немного напыщенным в своем представлении о должности; поэтому он был человеком, который оставлял своим заместителям только менее важную работу и, находясь рядом, был бы доминирующим членом этой тройки. С другой стороны, его нерешительность и отсутствие инициативы затмевали его в моменты опасности или новых начинаний, и поэтому, если смотреть издали, с точки зрения народа, который оглядывается только тогда, когда слышен шум, лидером кажется его второй заместитель.

Первым заместителем был Демуссо. Он не подал в отставку и поэтому не был переизбран. Являясь членом старой Коммуны и занимая должность с зимы 1790 года, он был умеренным по своим предпочтениям и давней традиции.

Что же касается самого Дантона, занимавшего третье место в группе, то для него это было положение чести и достоинства. Эта часть его личности, столь способная к высоким должностям и столь жаждущая возможности действовать, была хорошо обслужена выборами. Казалось, что они положили конец заблуждениям, которые создали его личность, его недостатки и ход революции. Но великий поток событий двигался по своей воле. Эта должность, на которой он хотел проявить себя как администратор, а не как лидер неразумных людей (), в случае опасности как раз подходила для проявления тех других качеств, которые вызывали презрение со стороны многих, кого он сам уважал, и вызывали против него ненависть — страсть, которую он сам никогда не позволял себе испытывать из-за гнева.

Если бы дух 1791 года сохранился и если бы после стольких ложных обещаний революция действительно состоялась, то в нем проявился бы чиновник или, если угодно, государственный деятель. Я вижу его в тех трудностях, с которыми пришлось бы столкнуться даже устоявшемуся королевству, убеждающим своих современников так же, как он убедил потомков. Он был человеком, способным внушить другим истинное отношение к Европе — единственным дипломатом среди патриотов. Его недостатки были такого рода, что о них забывали при постоянном доказательстве его способностей; а его образование, которое было именно таким, какое требовалось в новом режиме (знание языков, права, окружающих народов, сочетание внимания к деталям и понимания), — это образование сделало бы необходимым человека, столь популярного среди народа, которым нужно было управлять, и, в вопросах сердца, столь честно преданного своей стране. Если бы Франция, скажем, каким-то чудом избежала своих страданий и ей было позволено быть счастливее и меньше делать для мира, то, когда новый режим устоялся бы в нижних слоях спокойствия и довольства, я полагаю, Дантон остался бы для нас именем, возможно, менее великим, но, безусловно, одним из первых. Англии это было позволено. Ей улыбнулась удача, и судьба не потребовала от нее спасти цивилизацию своей кровью, и поэтому в Англии мы привыкли к таким карьерам: люди, чье происхождение, внешность и недостатки могли бы привести их в изгнание, поднимались от муниципальных до имперских должностей, потому что обладали высшими способностями и посвящали эти способности служению Англии. Они умерли с честью.

Я не буду обсуждать, что именно вызвало войну. Причин нет. Берк бредил как сумасшедший, но так же поступал и Марат. Король был отчужден церковными законами, но ничто не может оправдать измену. Пильниц был оскорблением и даже угрозой, но это не было объявлением войны. За королями стояли народы, как трагически доказал Майнц; и если Франция боролась с невыносимым злом, она также казалась иконоборцем, когда затушила лампаду на алтаре, которую теперь зажигает снова своими руками. Причин нет. Только если вы посмотрите и увидите, как жила Европа и как были совершены наши великие дела, вы не найдете ничего, кроме проходящих мимо армий, и наша история — это эпос, начало которого утрачено, книги которого — Ронсесвальес, Кортенуова и Ватерлоо, а конец которого никогда не наступает. Началась война, и с ней появилась определенная необходимость выбирать между Францией и короной. В этом кризисе Дантон возвращается к восстанию. Он, который хотел, чтобы люди забыли дни октября, был вынужден 10 августа, потому что был

возбужден. Даже массовые убийства были связаны с его именем, и за ним до сих пор тянется поток обвинений, только немного менее грязных или менее ужасных.

Чтобы проследить за его действиями в первые месяцы 1772 года, услышать его речи о войне и отметить его политику, мы должны оставить его на его посту в Коммуне (где мы снова встретим его, когда Париж поднимется летом) и посмотреть, как он выступает за Гору в якобинцах.

Этот клуб теперь окончательно стал органом левых. Именно после избрания Дантона, но до его окончательного вступления в должность^[108], 14 декабря, через неделю после первого и за пять недель до второго события, в якобинцах началась дискуссия о войне — дискуссия первостепенной важности, поскольку она открыла разрыв между жирондистами и горкой, между ораторами, которые настаивали на встрече с Европой и даже на пропагандистской войне, и реформаторами, которые хотели, чтобы Европа сделала первый шаг, которые боялись войны или считали агрессивную войну аморальной. Во главе последних стоял Робеспьер. Но не будет преувеличением сказать, что в первые месяцы года Дантон был более важной фигурой в якобинцах, чем Робеспьер. Какова была его позиция? Она была частью общей политики, которую он определил: он пошел на компромисс. В своем первом предложении 14 декабря он подверг критике идею объявления войны. 16 декабря он по-прежнему критиковал ее, но другими словами. «Я знаю, что она неизбежна. Если бы кто-нибудь спросил меня: «Будет ли война?», я ответил бы (не в споре, а как факт): «Мы услышим звуки горнов»». Но вся речь посвящена рассуждениям об опасностях войны, и особенно о «тех, кто желает войны в надежде на реакцию, кто говорит о том, чтобы дать нам конституцию, подобную английской, в надежде дать нам позже конституцию, подобную турецкой».

В марте и апреле, месяцах, когда готовилась и была объявлена война, он молчал. И мы можем понять его молчание, если обратимся к его речи в Коммуне, когда ему была предоставлена должность. Он намекает на ложный характер, который ему приписали; он говорит о репутации, которую ему принесли его прошлые действия в Париже; он говорит вещи, которые указывают на его решимость играть роль умеренного и посмотреть, не будет ли в его случае, как и во многих других, постоянства в компромиссе последних шести месяцев. Но в его душе гнездились обиды на людей, с которыми он сидел, на Кондорсе, который в своей статье отрицал, что знает Дантона, и он произнес заключительную речь, которая в то время обидела многих, но для нас имеет определенный пафос. «Природа наделила меня крепким телом и начертила на моем лице жестокость свободы. Я не происхожу из семьи, ослабленной защитой старых привилегий; моя жизнь принадлежит только мне; я знаю, что сохранил и проявил свою энергию, но в своей профессии и в личной жизни я ее контролировал. Если я был увлечен энтузиазмом в первые дни нашего возрождения, разве я не искупил это? Разве я не был подвергнут остракизму? Я полностью отдал себя народу, и теперь, когда он вне опасности, когда он вооружен и готов разорвать союз, если тот не согласится распуститься^[109], я умру за его дело, если понадобится... потому что я люблю только его, и он этого заслуживает. Его мужество сделает его вечным».

Этот взрыв эмоций — единственный случай в его публичной жизни, когда Дантон говорил о себе, и в нем слышны искренние чувства; ведь во всех своих речах, как до, так и после этого, он сохранял объективную позицию, если что и было, то слишком сосредоточенную на внешних обстоятельствах.

Так, когда между австрийским и французским правительствами началась переписка, он молчал. Он боялся, что Франция не готова, он боялся, что король предаёт нацию. Насколько

он был предателем, стало известно гораздо позже; но когда, по крайней мере, доказано, что что-то подрывает французский народ, что, помимо поражений и недостаточной подготовки, имеет место измена, он прерывает свое молчание. Политика умеренных, действующих в стабильной обстановке, больше никому не доступна; двор и нация стояли друг против друга, и каждый должен был принять сторону одной из них. Тогда он отбросил конвенции, которые уважал и о которых сожалел до конца; он вернулся на улицы; он возглавил восстание, уничтожил монархию; в течение двенадцати месяцев он взял на себя всю ответственность за ошибки в своей политике и за преступления своих соратников. Он спас Францию, но ценой того, что ушел из жизни с репутацией, которую он знал ложной, что видел, как его великие способности () были вульгаризированы, и что он никогда не смог обрести, ни в своем собственном сознании, ни перед миром, даже во Франции, свое истинное имя. Вся эта трагедия отражена в его суде и здесь и там в нескольких фразах, которые он произносит в речах или в разговорах с друзьями. Если подытожить, то это можно выразить перефразировкой великой фразы: *Son nom était flétri mais la France était libre*.

18 апреля новое министерство жирондистов получило ноту из Вены, отвергающую французские предложения, сделанные месяцем ранее. Бедный король, который в Париже заявлял о своей лояльности нации, в Вене настаивал на необходимости отправки армии для его спасения, и Австрия дала такой ответ. 20 апреля Ассамблея практически единогласно^[110] объявила войну «королю Венгрии и Богемии». Но эта фраза была бесполезна. Точно так же можно было бы положить спичку в порох и сказать: «Мне нужна сера, а не уголь». Пруссия присоединилась, и в течение года мы увидим, как вся Европа вступит в войну с Францией, в войну, которая объявила ее вне закона и уничтожила.

Дантон был прав. Франция была безнадежно не готова. Она не усвоила необходимую истину, что солдат — это человек с профессией. Ораторы путали слова с вещами; честные и великие, как они ни были, в этом вопросе они впали в ошибки, свойственные мелкой и нечестной болтовне. Разгром и паника под командованием Де Диллона, его убийство солдатами, оккупация Кьева — все это следовало одно за другим. Париж был полон ужаса и гнева, соразмерных величию того, что он совершил, а теперь, казалось, все было разрушено. «Мы говорили и делали вещи, которые должны были убедить мир; мы должны были быть народом, непобедимым благодаря нашей любви к свободе, а мы выглядим как побежденная, охваченная паникой толпа — добровольцы и болтуны, которые не выдерживают огня». Король уволил министров-жирондистов, даже отослал Дюмуре, выслушал протест Ролана, знал, что Ассамблея все больше и больше выступает против него, но оставался спокойным. Был план простейший. Должно было быть всего несколько дней монотонного марша между союзниками и Парижем. Лафайет со своей армией центра был на его стороне. Ассамблея постановила создать большой лагерь из 20 000 человек под Парижем и распустить гвардию; гвардия была распущена, но король наложил вето на этот указ. Лафайет написал письмо, угрожая парламенту своей армией; реакция казалась полностью успешной, и захватчики чувствовали себя в безопасности, когда вновь появился Дантон.

18 июня он обнаружил старые лозунги против Лафайета у якобинцев. «Это великий день для Франции; Лафайет с одним лицом больше не представляет опасности». Он не сделал, но разрешил 20 июня; и когда Париж поднялся, и огромная толпа, гротескная, разноцветная, вооруженная всевозможными острыми предметами, прошла мимо Ассамблеи и вошла в Тюильри, это могло быть сигналом или предупреждением. Возбужденный гражданин — плохой солдат, но если Париж движется, то и вся Франция приходит в движение. Такие гиганты долго просыпаются, и на обучение людей уходят месяцы; но все же лучше дать спать великим врагам. В этой глупой, приветливой толпе, радующейся при виде короля, с ее

комичной идеей предупредить его, было что-то серьезное. Дантон воспользуется этим в самое ближайшее время, потому что есть точки атаки, где толпы похожи на пулеметы — смешные в общей войне, но очень полезные в особых условиях, и в этих условиях непобедимые. Этот серьезный момент заключался в той неопределенной силе (можно назвать ее просто идеей), которую никогда не найдешь в отдельном человеке, но всегда обнаружишь в массе — в том великом простом человеке, которого французские метафизики называли «Peuple»; в обученном виде его называют, не прибегая к метафизике, армией.

Через неделю появился Лафайет. Он потребовал права использовать армию, и июль начался с уверенностью в гражданской войне.

Июль — месяц лихорадок; жара продвигается на север, и вся Франция погружена в нее. Виноград созревает, и даже в Пикардии или Котантене чувствуется, как будто Юг передает свой дух Северу. Июль создал Революцию и положил ей конец. Месяц, который видел падение Бастилии и похоронил Робеспьера, — это очень национальное время.

Если в этот момент посмотреть на Францию, можно увидеть, как города оживают, как они оживали три года назад; именно из них поднимается оппозиция — особенно из Марселя. Толпа молодых людей, тащащих пушки, обычные сыновья буржуа, которых время превратило в нечто столь же великое, как крестьяне или солдаты, устремилась вверх по белым пустыням вдоль Роны, мимо огромных виноградников, поднимающихся по водоразделу Бургундии. По дороге они пели прекрасную новую походную песню. Когда они наконец увидели Париж, особенно башни Нотр-Дама, которые видны над городом, когда подъезжаешь из Фонтенбло, и когда дороги сходились, а пригороды становились все гуще, они пели ее все громче. Вечером 30-го они подошли к воротам, и рабочие юго-восточного квартала начали петь эту песню и называли ее «Марсельеза». Никто не может описать музыку; но если через долгое время действия французов утратят смысл, а Революция перестанет быть источником, кто-то, возможно, восстановит эту мелодию, как мы восстановили несколько разрозненных нот греческой музыки, и она вернет людей к Республике.

В течение десяти дней восстание набирало силу. В тайном комитете, сформированном секциями, такие жестокие люди, как Жозеф Фурнье (), или хорошие солдаты, как Вестерман (Westermann), или местные лидеры кварталов, как Сантер (Santerre) — но все они не входили в официальный орган — организовали боевые силы, а во главе их стоял единственный человек, который держал в руках нити муниципалитета — Дантон (Danton). Ассамблея выслушала гневную речь Верньо, но также подтвердила конституцию и монархию в «baiser Lamourette». Париж должен был действовать в одиночку, и король, видя перед собой только Париж, заполнил Тюильри и стоял с небольшим гарнизоном, чтобы подавить простое движение города — «то, что должно было быть сделано в 89-м».

Именно на такой Париж, лихорадочный, сомневающийся, лелеющий тайный план восстания, но полный людей, которые колебались и сомневались, среди которых еще было много лояльных, и упал[111] документ, который король попросил у своих друзей — но о котором он, увидев его, наверняка пожалел — манифест командующего союзными войсками. Этот необыкновенный памятник глупости редко представляется в полном виде. Только в таком виде можно оценить всю его чудовищность, и поэтому я постарался перевести для своих читателей довольно неуклюжий французский текст, в котором Карл Вильгельм предлагал остановить движения Провидения. Он гласил следующее[112]:

«Их Величества император и король Пруссии поручили мне командование армиями, собравшимися на французской границе, и я счел целесообразным сообщить жителям этого

королевства о мотивах, которые вдохновили двух монархов на принятие этих мер, и о намерениях, которыми они руководствуются.

«После того как они произвольно ущемили права и владения немецких князей в Эльзасе и Лотарингии, нарушили и подорвали общественный порядок и законное правительство, проявили насилие по отношению к священной личности короля и его августейшей семье, которое (более того) повторяется и возобновляется изо дня в день, те, кто узурпировал бразды правления, наконец переполнили чашу, объявив несправедливую войну Его Величеству Императору и напав на его провинции в Нидерландах.

«Несколько владений Германской империи были втянуты в это угнетение, а несколько других избежали подобной опасности, уступив властным угрозам доминирующей партии и ее эмиссарам.

Его Прусское Величество, связанный с Его Императорским Величеством строгим оборонительным союзом и являющийся сам влиятельным членом германского сообщества (*sic*), не мог поэтому отказаться от помощи своему союзнику и соседнему государству (*sic*). И именно по этим двум причинам он берет на себя защиту этого монарха и Германии.

«К этим великим интересам следует добавить еще одну цель, не менее важную и близкую сердцу обоих монархов: положить конец внутренней анархии во Франции, остановить нападения, направленные против алтаря и престола, восстановить законную власть, вернуть королю свободу и безопасность, которых он лишен, и дать ему средства для осуществления законной власти, которая ему полагается.

Убежденные в том, что здоровая часть французского народа отвращается от эксцессов партии, порабоощающей его, и что большинство жителей с нетерпением ждут наступления облегчения, которое позволит им открыто выступить против отвратительных замыслов своих угнетателей, Его Величество Император и Его Величество Король Пруссии призывают их немедленно вернуться к разуму и справедливости, порядку и миру. Исходя из вышеизложенного, я, нижеподписавшийся, главнокомандующий двумя армиями, заявляю:

«(1) Что, вступив в нынешнюю войну под давлением непреодолимых обстоятельств, два союзных двора не ставят перед собой иной цели, кроме счастья Франции, и не намерены обогащаться за счет аннексии.

(2) Что они не имеют намерения вмешиваться во внутреннее управление Францией, а желают лишь освободить короля, королеву и королевскую семью из плена и обеспечить Его Христианскому Величеству свободу, необходимую ему для созыва совета, который он сочтет целесообразным, без опасности и препятствий, и для того, чтобы он мог работать на благо своих подданных в соответствии со своими обещаниями и в той мере, в какой это может быть его заботой.

«(3) Что объединенные армии будут защищать все города, поселки и деревни, а также людей и имущество всех тех, кто подчинится королю, и что они помогут немедленно восстановить порядок и полицию во Франции.

«(4) Национальной гвардии приказано временно следить за миром в городах и сельской местности, а также за безопасностью людей и имущества всех французов, то есть до прибытия войск их королевских и императорских величеств или до получения дальнейших приказов, под угрозой личной ответственности; напротив, национальные гвардейцы,

которые, возможно, сражались против войск союзных дворов и были взяты в плен с оружием в руках, будут рассматриваться как враги и подвергнутся наказанию как мятежники и нарушители общественного порядка.

«(5) Генералам, офицерам, унтер-офицерам и солдатам французских линейных войск также приказывается вернуться к прежней верности и немедленно подчиниться королю, своему законному суверену.

«(6) Члены департаментских, окружных и городских советов несут равную ответственность своими головами и имуществом за все преступления, поджоги, убийства, кражи, грабежи () и нападения, которые они допускают или открыто, и, как общеизвестно, не пытаются предотвратить в пределах своей юрисдикции; они также обязаны временно сохранять свои функции до тех пор, пока Его Христианское Величество, восстановленный в полной свободе, не примет дальнейших постановлений; или до тех пор, пока в промежуточный период не будут отданы другие приказы.

«(7) Жители городов, поселков и деревень, которые осмелятся защищаться от войск Их Императорских и Королевских Величеств, открывая огонь по ним, будь то на открытом месте или из окон, дверей или проемов своих домов, будут немедленно наказаны со всей строгостью законов войны, а их дома будут снесены или сожжены. Напротив, все жители городов, поселков и деревень, которые поспешат подчиниться своему королю, открыв ворота войскам их Величеств, будут немедленно взяты под защиту их Величеств; их личности, их имущество, их движимое имущество будут находиться под защитой законов, и будут приняты меры для общей безопасности каждого из них.

«(8) Город Париж и все его жители без исключения обязаны немедленно подчиниться королю, предоставить ему полную и абсолютную свободу и гарантировать ему и всей королевской семье ту неприкосновенность и уважение, на которые по законам природы и народов имеют право суверены со стороны своих подданных. Их Императорские и Королевские Величества возлагают личную ответственность за все, что может произойти, под угрозой казни и военной казни без надежды на помилование, на всех членов Национального собрания, округов, муниципалитета, Национальной гвардии, мировых судей и всех других, кого это может касаться. Кроме того, их вышеупомянутые Величества заявляют, на своем слове и чести как императора и короля, что если дворец Тюильри будет оскорблен или взломан, если будет совершено малейшее насилие, малейшее нападение на их Величества, королю, королеве и королевской семье, и если не будут немедленно приняты меры для обеспечения их безопасности, сохранности и свободы, то их императорские и королевские величества примут примерную и незабываемую месть, подвергнув город Париж военной казни и полному разрушению, а виновных мятежников — заслуженной смерти. Их Императорские и Королевские Величества, напротив, обещают жителям Парижа использовать свои добрые услуги у Его Христианского Величества, чтобы добиться прощения за их проступки и ошибки, и принять самые энергичные меры для обеспечения безопасности их личностей и имущества, если они незамедлительно и точно выполнят вышеуказанный приказ.

«Наконец, поскольку их Величества не могут признавать во Франции никаких законов, кроме тех, которые исходят от короля в полной свободе, они заранее протестуют против любых заявлений, которые могут быть сделаны от имени Его Христианского Величества, пока его священная особа, королевы и королевской семьи не будут действительно в безопасности, для чего их Императорские и Королевские Величества приглашают и просят Его Христианское Величество указать, в какой город в непосредственной близости от его границ

он сочтет лучшим уехать с королевой и королевской семьей, под надежной охраной, которая будет ему предоставлена для этой цели, с тем чтобы Его Христианское Величество мог в полной безопасности пригласить к себе тех представителей и советников, которых он сочтет нужными, созвать те советы, которые ему угодно, позаботиться о восстановлении порядка и организовать управление своим королевством.

«Наконец, я обязуюсь от своего имени и в вышеупомянутом качестве обеспечить, чтобы войска под моим командованием повсюду соблюдали строгую и точную дисциплину, обещая с мягкостью и умеренностью обращаться со всеми доброжелательными подданными, которые проявят себя мирными и покорными, и применять силу только к тем, кто виновен в сопротивлении и неповиновении.

По этим причинам я требую и настоятельно призываю всех жителей этого королевства не противодействовать маршу и операциям войск под моим командованием, а наоборот, предоставить им свободный проход со всех сторон и всю доброжелательность, помощь и содействие, которые могут потребоваться в данных обстоятельствах.

«Дан в нашем штабе в Кобленце, 28 июля.

(Подпись) «Карл Вильгельм Фердинанд, герцог Брауншвейг-Люнебургский».

С таким оружием восстание всего Парижа было неизбежно. Мандат, сменивший Лафайета на посту главнокомандующего вооруженными силами города, по-прежнему оставался верным королю; он организовал, насколько это было возможно, силы, на которые мог рассчитывать. Противная сторона также готовилась, и все эти движения выглядели как подготовка войск к сражению.

Дантон отправился в Арси и обеспечил своей матери доход на случай своей смерти, вернулся в Париж, и в ночь на 9 августа секции назначили комиссаров для принятия мер. Они собрались и сформировали «восставшую коммуну». На следующее утро в восемь часов они распустили законную коммуну, оставили Дантона и руководили утренними боями.

Тем временем король собрал в Тюильри около 6000 человек и в значительной степени полагался на густую массу деревянных построек в Карусели в качестве укрытия. Швейцарская гвардия, которую декретом удалили, находилась всего в нескольких километрах от Рюэля и получила приказ войти в Париж, насчитывая более 1500 человек. Они составляли ядро, к которому присоединились около 2000 человек Национальной гвардии, 1500 человек старой «Конституционной гвардии» () и группа «джентльменов» (Gentilshommes). Мандат приказал батарее артиллерии Национальной гвардии удерживать Пон-Нёф; они взбунтовались и присоединились к народу, а сам Мандат, начальник обороны, был убит на ступенях мэрии. Дантон, который не спал, а до полуночи пролежал в квартире Демулена, с двух часов ночи находился в Отель-де-Виль и в суде взял на себя ответственность за смерть Мандата. Он сделал еще больше. В течение короткой ночи (ночи спокойной и прекрасной, темной и звездной) он действовал как организатор и глава восстания. В частности, он назначил Сантерра руководителем Национальной гвардии. На фоне этих быстрых решений наступило утро, и первые часы туманного дня прошли в сборе сил.

Тем временем все утро король с тревогой ждал в садах Тюильри и спрашивал Родерера, как король в комической опере, «когда начнется восстание».

Всю ночь звучал тревожный звон, но люди собирались медленно — «le tocsin ne rend pas» — и только после того, как восставшая коммуна сделала свое дело, большая толпа, частично вооруженная и совершенно недисциплинированная, пришла в Карусель.

Вестерман (верхом, как и Сантер) подошел к швейцарской гвардии, чтобы вести переговоры; он попросил их на немецком языке (который был его родным, так как он был эльзасцем) покинуть Тюильри и пообещал, что если гвардия отступит и оставит дворец без гарнизона, то и народ тоже отступит. Швейцарцы — единственные настоящие солдаты в Париже — ответили, что они подчиняются приказам, и когда Вестерманн удалился в толпу, они открыли огонь.

Антуанетта сказала: «Пригвоздите меня к дворцу», и даже Луи, робкий и неуверенный, думал, что шансы в его пользу. Если только этот день пройдет успешно, город можно будет удержать в спокойствии до прибытия союзников; « » — так хвастался роялистский журнал 1 августа; теперь это была надежда Луи.

Если бы Карусель была немного более открытой, сражение могло бы закончиться в пользу гарнизона, но многочисленные здания в целом помогали атаке, и швейцарцы, не имея возможности развернуться, сражались почти поодиночке в очень неравном бою. За исключением первой, залпов не было. Быстрая индивидуальная стрельба из дверей и окон дворца, толпа, проталкивающаяся через самое узкое место (но с потерей сотен жизней), и, наконец, через выход, выходящий на «Гранд-галерею», Тюильри были взяты, гарнизон убит, и только небольшой отряд швейцарской гвардии отступил через сады, стреляя поочередными залпами и спасаясь благодаря замечательной дисциплине.

Но пока исход сражения был еще неясен, Людовик и его семья медленно прошли через те же сады к конному мануису и укрылись в Ассамблее. Шум перестрелки резко доносился через окна, и исход событий был еще неясен, когда парламент принял короля и пообещал ему защиту. Президент открыл для него небольшую дверь справа от кресла, и король, королева и их дети наблюдали за бессмысленными решениями через решетку, сидя в маленькой темной ложе, которая давала им убежище. Дебаты, я говорю, были бессмысленными, но битва становилась все более значимой, по мере того как они ее слушали. Выстрелы стали реже, шум толпы — рев — внезапно заглушили стены дворца. Толпа проникла внутрь. Затем раздалось несколько резких залпов отступающей гвардии прямо под окнами Манежа, и, наконец, стрельба прекратилась, и Ассамблея поняла, что их клятва не имеет никакой ценности и что Тюильри пали. Луи тоже знал об этом, поедая свою гротескную жареную курицу в тихом и укромном месте, которое стало его первой тюрьмой. Он видел в ярком свете зала многие лица, которые должны были стать правителями Франции, но сам, в своем молчании, чувствовал, что вся власть ушла. Он стал Капетом — в республиканской формуле была правда. Была сыграна — хотя об этом мало кто говорил, но это следует сказать — очень хорошая игра. Ставки были высоки, и придворная партия рискнула. Они играли, чтобы выиграть все, что принадлежало королям, и ради этой большой ставки рискнули несколькими глупыми титулами без власти. Игра была равной; она стоила того, чтобы в нее играть, и они проиграли. Но человек, который был их марионеткой и номинальным главой, едва ли понимал, что произошло. Возможно, только королева все поняла и с того момента обрела гордое молчание и взгляд, которые придали достоинство ее концу. В ней легенда о лилиях обрела своего последнего союзника, но теперь великий щит был разбит навсегда.

Так погибла французская монархия. Ее туманные истоки тянулись и терялись в Риме; она уже научилась говорить и осознала свою природу, когда своды Терм тяжело эхом отражали

медленные шаги королей из династии Меровингов. Посмотрите на эту обширную долину увенчанных коронами мертвецов, и вы увидите гигантскую фигуру Карла Великого с ровными бровями и длинной белой бородой, спутанной, как подлесок, с земным шаром в левой руке и рукоятью непобедимого меча в правой. Там же находятся невысокие, сильные всадники из дома Робертов, наполовину скрытые своими кожаными щитами, и их сыновья перед ними, растущие в одеяниях и величии и принимающие на себя пышность Средневековья; Людовик VII, весь покрытый железом; Филипп Завоеватель; Людовик IX, единственный окруженный светом: они стоят в расширяющейся бесконечной процессии, эта великая толпа королей; они снимают доспехи, надевают горностаевые мантии, их сопровождают капитаны и маршалы; наконец, своим поведением и великолепием они воплощают в себе гордость и достижения французской нации. Но время рассеяло то, что не могло запятнать, и тысячелетний процесс превратил эти могучие фигуры в неосязаемые вещи. Вы можете увидеть их в сером конце темноты, как парад, стоящий на месте. Вы смотрите снова, но с нарастающим светом и с ветром, который поднимается перед утром, они исчезают.

ГЛАВА V РЕСПУБЛИКА

10 августа 1792 г. — 5 апреля 1793 г.

10 августа в истории Революции — это не просто поворотный момент или новое начало; это скорее катаклизм, условия до и после которого абсолютно разные. Его можно сравнить с приливом Атлантического океана, который «за один страшный день и ночь» смел старую цивилизацию в легенде. Это похоже на один из геологических «разломов», которые образуют великие внутренние уступы, и читать или писать об этом — все равно что стоять на краю Оверни. Вы только что прошли через вулканическое плато, поднимающееся медленно, все более и более опустошенное: вы обнаруживаете, что смотрите вниз с высоты тысяч футов на великую равнину Лимань.

Нет лучшего теста для того, чтобы понять, чем была монархия, чем сравнение того, что было до ее свержения, с тем, что последовало за ним. Нет никакой преемственности. На другой стороне восстания, вплоть до самого 9 августа, у вас есть армии (особенно армия центра), довольные монархией; у вас есть сильный гарнизон в Тюильри, министры, департаменты, мэр Парижа (даже) консультируются с короной. Король и жирондисты противостоят друг другу, но они уравновешены; Париж зол и полон ожиданий, но он ничего не выражает — он является одной из многих сил. Умеренные люди, Роланды и остальные, являются радикальным крылом. Триумфом революции является то, что жирондисты снова должны быть номинально у власти. Петион — кумир. Острое противоречие существует между правительством идеалистов, стоящих во главе группы профессиональных буржуа, и короной, поддерживаемой возрожденной аристократией, ожидающей помощи и достаточно сильной, чтобы рискнуть вступить в открытую битву.

Оглянитесь вокруг 11 августа и посмотрите, что произошло. Между двумя противниками появился третий — Париж и его восставшая Коммуна внезапно поднялись. Жирондисты стали почти реакционной партией. Корона и вся ее опора внезапно исчезли. Ассамблея кажется чем-то незначительным, министерство отступило, и над ним возвышается только один человек — Дантон, называемый министром юстиции, но фактически являющийся исполнительной властью. Множество имен, которые были предметом дискуссий, якобинцев,

упорной, но неэффективной оппозиции, теперь кажутся хозяевами положения. Одним словом, у Франции на данный момент появился новый и страшный претендент на вакантный трон, претендент, который в конце концов узурпировал его — Коммуна.

Девять месяцев, о которых пойдет речь в этой главе, сформировали Республику; именно они являются вступлением к Террору и великим войнам, и от заключения короля до падения жирондистов стремительный курс Франции направляется по сужающемуся руслу прямо к Горной фракции. Коммуна, орган, победивший в августе, предназначена захватить все позиции, и по мере того, как одна за другой рушатся гарантии, она достигнет, с помощью своих крайних доктрин и сопутствующих им преследований, абсолютной власти.

Какова была позиция Дантона в этот период? Ее можно резюмировать следующим образом: теперь, когда революция была окончательно установлена, он стремился сохранить Францию в безопасности от неизбежной опасности. Он ставил нацию на первое место; он не подчинял теорию революции; он отверг ее. Революция победила: она была здесь; но Франция, которая ее совершила и которая предлагала распространить принципы самоуправления на весь мир, сама находилась в величайшей опасности. Когда обсуждение было методом Революции, Дантон был экстремистом. Он был парижанином и фрондером в 1790 и 1791 годах; именно в то время он потерпел неудачу. Ощутимая вещь, цель, к которой стремился весь его ум, появилась с национальной опасностью; тогда у него появилось дело, и его способ его выполнения, его работа в профессии, к которой он был прирожден, показали, что он был совершенно иным человеком, чем те, над кем он возвышался. Я не верю, что можно указать хотя бы одно его действие за эти три четверти года, которое не было направлено на национальную оборону.

Особое значение в оценке его политики имеет тот факт, что Дантон был единственным в этом положении. Он был единственным человеком, который действовал так, как поступил бы любой из бесчисленных крестьян Франции, если бы судьба наделила такого крестьянина гением и знаниями. Остальные, как слева, так и справа, были солдатами, поэтами или педантами. Героические педанты и поэты, которые никогда не боялись, но ни один из них не мог забыть свои теории или свое видение и взяться за дело. Вся дипломатия, которая есть, принадлежит Дантону; именно Дантон пытается достичь компромисса, и именно Дантон настойчиво возвращает дебаты от личностей к делу. Именно он предупреждает жирондистов, и именно он в условиях анархии, последовавшей за поражением, создал необходимую диктатуру Комитета. Наконец, когда Комитет сформирован, вы взглядываете на имена, действия и отчеты и видите Дантона, действующего как человек, который видит ходы среди слепых. Когда-то он был «сам Кордельерами» — это не имело большого эффекта, потому что нечего было делать, кроме как предлагать права; теперь, после восстания, он стал «сам исполнительной властью», а позже «сам Комитетом». Он настолько является первым человеком во Франции в течение этих нескольких месяцев своей деятельности, что только следуя за его действиями (), можно найти единство этого запутанного и анархического периода.

Оно делится на четыре очень четких периода, как с точки зрения общей истории, так и с точки зрения жизни самого Дантона. Первый включает шесть недель между 10 августа и заседанием Конвента; это время почти без власти; оно вращается вокруг ужасного центра массовых убийств. В течение этого короткого времени исполнительная власть, едва существующая, без судов и оружия, имела в Министерстве юстиции его как свою единственную силу — силу, к сожалению, сдерживаемую анархией в Париже.

Вторая часть простирается от заседания Конвента до смерти короля. Она охватывает ровно четыре месяца, с 20 сентября 1792 года по 21 января 1793 года. Это время, когда опасность вторжения, казалось, миновала, и когда Дантон в Конвенте публично работал над примирением двух партий и тайно пытался, по возможности, предотвратить распространение коалиции против Франции.

Третья часть начинается с всеобщей войны, последовавшей за смертью Людовика, и продолжается до даты, которую можно установить как восстание 10 марта или поражение при Нервиндене 19 марта. Дантон отсутствует с армией в течение большей части этих шести недель; он возвращается в конце этого периода, когда дела идут хуже некуда, чтобы создать два великих инструмента, которые он предназначил для управления Францией — Трибунал и Комитет.

Наконец, в течение двух месяцев, с момента их создания до изгнания жирондистов 2 июня, он постепенно отходит от попыток примирения к необходимости восстания. Он организует и руководит новым правительством общественной безопасности, и, создавая этот новый орган, навязывая необходимую диктатуру, мы видим, как он жертвует один за другим все второстепенные моменты своей политики, пока, наконец, его самая настойчивая попытка — я имею в виду его попытку спасти жирондистов — не терпит поражения. Обеспечив таким образом непреодолимое правительство и создав армии, он прожил главный момент своей жизни. Ему оставалось только уйти в отставку, критиковать излишества своего собственного творения и быть убитым им.

Сразу после восстания, через неделю после того, как он принес присягу и выступил с короткой энергичной речью перед Ассамблеей^[113], Дантон направил свой первый и почти единственный акт в качестве министра юстиции — циркуляр от 18 августа^[114], который был разослан во все суды Франции. Он скорее своеобразен, чем важен; это попытка убедить магистратуру и все суды в справедливости и необходимости восстания и в то же время зафиксировать заявление о своих намерениях теперь, когда он достиг власти. В первой попытке он неизбежно терпит неудачу. Старая судебная система, назначенная короной и умеренными министрами, в значительной степени переизбранная народом, в основном состоящая из богатых людей, консервативных по происхождению и традициям, в любом случае отвергла бы такое руководство; но это не имеет значения; этот пассивный орган, на который реакция рассчитывала не в последнюю очередь и который Де Сисе планировал использовать против революции, был обречен исчезнуть по первому требованию новых народных властей. В течение нескольких недель Франция практически оставалась без судов.

С другой стороны, те отрывки, в которых Дантон оправдывает себя, полны интереса. В нескольких предложениях они содержат обзор всей его внутренней политики, и в них мы находим воспоминания Дантона, его опасения по поводу того, как его прошлая репутация может навредить ему.

«Я вошел через брешь в Тюильри, и вы можете найти во мне только того же человека, который был президентом Кордельеров... Единственной целью моих мыслей были политическая и индивидуальная свобода, ... соблюдение законов, ... строгий союз всех департаментов, ... великолепие государства и равенство, не в отношении состояния, ибо это невозможно, а в отношении прав и благосостояния».

Если не считать детскости новой большой печати, на которой Геракл с восемьюдесятью четырьмя звездами (символизирующими союз департаментов) был заменен традиционными символами Свободы и Фасциями, то от Дантона как министра юстиции практически ничего не осталось. Но как единственный активный человек в кабинете министров он является

стержнем всего времени. Те качества, которые так отвращали литераторов, были внешним проявлением духа, который в то время был крайне необходим в Париже. Его тяжелая, быстрая походка, грубость и резкость голоса, жестокость в командовании оказывали физическое давление на старика Ролана, математика Монжа и добродетельных журналистов, которые их сопровождали. Я знаю только одного человека в этой группе, который мог бы помешать господству Дантона и противостоять его уродливой силе столь же решительной и более утонченной силой. Жена Ролана могла бы это сделать, но, хотя она и была душой министерства, она едва ли была министром, а будучи женщиной, она была ограничена второстепенными и косвенными методами. Ее ненависть к Дантону усилилась до горечи, когда она увидела его успех, но она не могла вмешаться, и Франция была спасена от красоты и идеалов, которые могли бы стать сиренами ее кораблекрушения.

Три недели после 10 августа были наполнены новостями о вторжении. Король Пруссии колебался, выдвигаться ли в поход. Франция, полная самоуверенности, никогда не понимала, что такое возможно. Короли были в походе, великие и простые идеи, так долго противостоявшие друг другу, встретились в битве. Вся Франция думала, что 1792 год уже стал 1793 годом. Возможно, в стране было только два человека, которые видели незрелость, сложность и шансы ситуации — я имею в виду Дантона и Дюмуре: Дюмуре, потому что он был по натуре интриганом, который видел и должен был видеть дело с близкого расстояния; Дантон, потому что с первого момента своего вступления в министерство он собрал в свои руки нити переговоров.

Король Пруссии колебался, как и Брауншвейг. Их решил успех восстания. Они совершили ошибку, которую всегда совершают иностранцы, ошибку, которая привела самых просвещенных французов к преувеличению либеральных сил в Англии, ошибку видеть себя в других. Они воображали, что «здравомыслящая часть нации», французы, которые думали как пруссаки, поднимутся на защиту монархии и в помощь вторжению. Они не имели представления о том, насколько малочисленна, нерешительна и подлая была антинациональная партия.

В воскресенье 19-го была пересечена граница; в четверг Лонви капитулировал, и немецкий гарнизон занял скалистое плато, возвышающееся над равниной Люксембурга. Неделью спустя, в четверг 30-го, Верден был окружен.

С холмов над городом, тех самых холмов, которые делают Верден пятым великим укрепленным лагерем современной Франции, прусские батареи вели огонь с высокой траекторией. Продовольствия и боеприпасов хватило бы еще на два-три дня, но в нескольких кварталах вспыхнули пожары, и городской совет умолял Борепера сдаться. Брауншвейг предложил перемирие и условия капитуляции. В субботу, 1 сентября, после бурных обсуждений, условия были отклонены, но Борепер знал, что ничто не может спасти город, и ночью застрелился. На следующий день, в воскресенье, 2 сентября, Верден сдался, и дорога в Париж была открыта.

Тем временем в самой столице открылся вихрь, в который втягивались последние остатки государственной власти и общественного порядка. 10 августа было победой, в которую вошли три очень опасных элемента. Во-первых, она не была окончательной; она была одержана над небольшим местным гарнизоном под угрозой вторжения, и это вторжение оказалось непреодолимым. Во-вторых, она оставила после себя ужас, усугубленный успехом; я имею в виду, что любые опасения мести или разрушения Парижа, существовавшие до восстания, удвоились, когда появилось гораздо больше поводов для «казни», которой угрожал Брансвик. Наконец, успех восстания сам по себе уничтожил

последнюю тень исполнительной власти, поскольку вся эта власть, слабая и умирающая, была сосредоточена в руках короля.

Но помимо этих явных условий, которые создало 10 августа, было нечто более глубокое и опасное — страх, который питался сам собой и превращался в панику, и который поддерживался гневом, перерастающим в безумие. Любые новости только усугубляли ситуацию, любой вид на улицах и любой слух только усиливали невыносимое давление. Торговля почти прекратилась, и весь обмен, который является кровью большого города, казалось, перестал. Над фасадом Отель-де-Виль висел огромный черный флаг с белыми буквами «Опасность», а при сильном ветре еще один флаг развевался и трепетал на башнях Нотр-Дама. Каждое действие напоминало кошмар и страдало от гротескного, преувеличенного и ужасного духа. На следующий день после боя над Парижем была наброшена большая сеть, и в нее попали роялисты. Ворота были внезапно закрыты, и все подозреваемые арестованы по приказу Коммуны. Тюрьмы были полны членов великого заговора, ибо в гражданской войне побежденные кажутся предателями. Затем возникло яростное требование судить и наказать тех, кто пригласил иностранцев, и столь же яростное, граничащее с чудом, требование привлечь бесчисленных добровольцев. В каждом проекте присутствовал этот дух безумия, смешанный с вдохновением.

Если Париж потерял голову, то Ассамблея и умеренные тоже, но по-другому. Париж побледнел от сильной ярости, а Ролан — от внезапного паралича. Страх Парижа был гневной паникой; у жирондинцев это была внезапная тошнота, которая охватывает некоторых людей при виде крови. Париж требовал чрезмерных мер, когда требовал суда над швейцарцами, которые не сделали ничего, кроме выполнения своего наемного долга; но исполнительная власть ответила на это чрезмерной слабостью, когда создала свой суд из смешных и справедливых педантов, боящихся осудить, боящихся принять решение. Народ уже узнал о тайных выплатах из старого гражданского списка^[115], о зарплатах, выплачиваемых эмигрантам, о субсидируемой прессе. Отчет Гольера появился всего за день до вторжения.

Новости из Лонви уже были известны. Верден находился в опасности, когда оправдание Монморена в пятницу 31-го казалось решающей слабостью правительства, которая подтолкнула народ к крайней степени насилия.

Он был губернатором Фонтенбло, открыто и явно заговорщиком на стороне Тюильри; он не был оправдан за это. Было признано, что он «планировал гражданскую войну»; он был освобожден благодаря героической, но роковой ошибке жирондистов, той самой ошибке, которая позже привела их на гильотину и которая теперь вдохновляла их трибунал — они не хотели ни на йоту уступать необходимости; вместо этого они предпочитали сознательно усугублять худшие условия, склоняясь против страстей момента. Они как будто говорили: «Вы требуете простого возмездия; мы же, напротив, покажем, что мы справедливы, и даже раздражим вас своей милосердностью». Однако они знали, что Монморен заслуживал смерти.

После этого решения, когда судья Осселин с большим мужеством взял заключенного под руку и увел его, в зале раздался крик: «Вы оправдываете его сейчас, а через две недели его друзья вступят в Париж». С этого момента массовые убийства стали неизбежными; было сказано то, что заставило небольшую группу убийц выступить, что заставило Париж смотреть на это безмолвно и что заставило Национальную гвардию молчать, отказываясь остановить резню. «Мы пойдем к границе, но не оставим врагов позади. Если закон не казнит их, то народ казнит». Проклятый дух, который царит в колониях и диких местах, проник в цивилизованную Европу, и решение о линчевании было принято.

Когда Ассамблея уступила Коммуне, когда стало ясно, что восставшая Коммуна поступит по-своему, и когда стало известно, что Лонви пал, а Верден окружен, произошла одна из тех сцен, которые запечатлеваются в памяти как картинки и которые лучше любого нагромождения деталей раскрывают нам характеры исторических личностей.

В саду Министерства иностранных дел, в его конце, вдали от дома, под низкой листвой, шесть министров собрались на неформальную встречу — быструю, полумолчаливую, непреднамеренную, подходящую к моменту; несколько поспешных слов, описание которых дошло до нас не по протоколу, а благодаря случайному присутствию Фабра. Фабр д'Эглантин, неуверенный поэт, протеже Дантона и опасный, неуравновешенный друг^[116], стоял в стороне и наблюдал.

Ролан говорил от имени всех своих друзей. Он был очень бледен и изможден; он прислонился головой к дереву: «Мы должны покинуть Париж». Дантон говорил громче: «Куда ты собираешься ехать?» «Мы должны ехать в Блуа. Мы должны взять с собой короля и сокровища». Так сказал Серван; так сказал Клавьер. Керсен, которого Дантон знал еще со времен старой Коммуны 1791 года и который был чем-то вроде Дантона, добавил: «Я только что приехал из Седана и знаю, что ничего другого не остается. Брансвик будет здесь, в Париже, через две недели, так же верно, как клин входит, когда ты ударяешь по нему». Дантон остановил шестерых колеблющихся одной фразой, фразой именно такого характера, преувеличенной, резкой, как те, что его здравый смысл так часто использовал на трибуне. «Моей матери семьдесят лет, и я привез ее в Париж; вчера я привез своих детей. Если пруссаки и войдут, то, надеюсь, в Париж, сожженный дотла». Затем он повернулся к Ролану и произнес роковую фразу, необходимую, возможно, но одну из многих, которые прорыли огромную пропасть между ним и жирондистами. «Будь осторожен, Ролан, и не говори слишком много о бегстве; народ может тебя услышать».^[117]

Я не знаю ни одного анекдота, который бы лучше рассказывал о Дантоне или с большей ясностью объяснял его отношение во время кризиса, приведшего к массовым убийствам. Ведь эти чрезмерно энергичные, полные преувеличений слова были произнесены человеком, характер которого был полностью настроен на материальные результаты — результаты, достигаемые, как правило, путем компромисса. Тот же самый Дантон, который говорил о «факелах» и «Париже в пепле», был единственным человеком во Франции, который обладал самообладанием, необходимым для ведения переговоров об отступлении пруссаков после Вальми. Его «семидесятилетняя мать» действительно была привезена в Париж, но из Арсиса, который, как всем было известно, находился прямо на пути вторжения. В этой речи, как и в каждой его фразе, мы должны обнаружить мотив, ибо для всех других великих революционеров слова были всей идеей, а иногда и больше, чем идеей, но только для Дантона слова были средством для достижения конкретной цели.

Он хотел предотвратить тот роковой разрыв с Парижем, который он с самого начала предвидел как риск и который Мирабо в свое время считал настолько близким, что он был необходим. Он был полон решимости сохранить эту тень — национальную исполнительную власть — в пределах досягаемости единственной силы, которая была живой, энергичной и защищала нацию. Для понимания его позиции чрезвычайно важно знать, что он боялся Коммуны. Позже никто из депутатов Парижа в Конвенте не видел, как он, необходимости объединения с департаментами. Марата он презирал до глубины души. Большинство членов Коммуны сидели с ним в одной комнате; Панис и Сержен даже имели столы под его

руководством. Он знал их и презирал всех. Он не знал, какие преступления они собирались совершить, иначе, возможно, он бы вмешался, но он знал, что они были никчемны.

Однако за ними он видел Париж, и в Париж он горячо верил, в его положение и в его необходимость. Он был совершенно прав. Стоило министрам покинуть город, как началась бы гражданская война — гражданская война, ведущаяся в десяти днях марша от врага, и между какими силами? Идиот, человек, подобный одним из наших современников, который мыслит картами и цифрами, сказал бы: «Между восемьюдесятью тремя департаментами и одним». Но Дантон знал лучше. Он обладал тем пониманием, которое свойственно всем великим людям; он знал значение потенциала и слова «качество». Это была бы борьба между членами и мозгом, и мозг погиб бы в борьбе, оставив тело мертвым, потому что мозг погиб.

Таким образом, пока Ассамблея и Коммуна ведут ожесточенную борьбу в последние дни августа, пока Парламент предписывает новые муниципальные выборы, разбивает муниципалитет, затем льстит ему, затем уступает и позволяет ему практически укрепиться в форме нового голосования секций [118], Дантон действует так, как будто и Парламент, и Коммуна исчезли из мира. Есть две его речи, одна от 28 августа, другая от 2 сентября, и они отражают его отношение и формируют истоки того полного года действий и риторики, которые определяют его место в истории.

В первой он предлагает и проводит меру, которая стала поводом для возложения на него ответственности за массовые убийства. Речь была произнесена с совершенно другой целью. Он санкционировал посещения по месту жительства, но его целью было получить оружие. Его занимала только одна мысль: противодействовать интенсивному индивидуализму умеренных, протащить деспотические меры через парламент, который их ненавидел, и протащить эти меры, потому что без них ситуация была потеряна. Он получил оружие, а вскоре после этого и массу добровольцев, но другая мера, которую он ввел для умиротворения Коммуны, — обыски по месту жительства — оставила более глубокий след в памяти того времени, потому что в беспокойные дни, последовавшие за этими обысками, они казались началом.

Это было воскресным утром, 2 сентября. Верден (хотя в Париже об этом еще никто не знал) только что пал; Борепер был мертв. «Комитет надзора» Коммуны незаконно принял Марата [119], и для зловещая причина. В течение трех дней тюрьмы были помечены, и тех, кого Комитет хотел спасти, вывели; и хотя движение было спонтанным, хотя большинство секций высказались перед Маратом [120], все же существовала исполнительная власть и директория, и этот сумасшедший был ее главой. В тот момент, когда в Карме начались массовые убийства, Дантон делал последнюю попытку превратить гнев момента в энтузиазм по поводу Марса и добровольцев. Если когда-либо и была попытка с помощью риторики повлиять на народные эмоции, которые нельзя было сдержать, и направить энергию с разрушительного на плодотворный объект, то она заключается в его самой известной речи — речи, которую сегодня во Франции знают даже дети, и заключительные слова которой выгравированы на его пьедестале. Впервые в жизни он обратился к силе слов: в их необычайной силе есть что-то отчаянное, и в конце они поднимаются до непередаваемой фразы, в которой вы слышите ритм впервые и в последний раз в его призывах: «De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace—et la France est sauvée» [121].

Он не потерпел полного неудачи. Когда он позвонил в большой колокол Отеля де Виль и отправился на Марсово поле, он посмотрел на огромную и растущую толпу молодых людей, бегущих на зачисление. Но в течение четырех дней — дней, в которые он упорно

отворачивался от Коммуны, которая звала его, — в тюрьмах продолжались убийства. Он и его добровольцы, его молчание, были похожи на человека, поднявшего мятеж на борту корабля, в ночной буре, держащего руль, спасающего то, что можно спасти, и не заботящегося о том, что утром он может оказаться предателем с одной стороны или мятежником с другой (). Ведь трагедия тех пяти дней — дней Седана — всегда кажется проходящей в густой ночи. Мы читаем записи о действиях в тот или иной час при дневном свете, но не можем поверить, что светило солнце. Майяр, высокий и бледный в своем облегающем черном сукне и поясе, — это фигура для свечей на столе Аббатства и для факелов в монастырских галереях и подвалах. Никогда не было ужаса, более созвучного тьме.

Но почему Дантон не спас заключенных? Я знаю, что на этот вопрос обычно отвечают, что он был равнодушен. Мне кажется, что это в большей степени легенда. История больше не утверждает, что он организовал или руководил преступлением. Более того, по мере накопления деталей истории становится все труднее возложить ответственность на кого-то одного. Но тот факт, что он настойчиво защищал экстремистов в следующем месяце, что он сделал себя (в целях воссоединения) защитником многих людей, которые были виновны, и пытался примирить чистые умы жирондистов с такими ужасными воспоминаниями — одним словом, тот факт, что в течение нескольких месяцев он жертвовал собой в Конвенте, что он требовал единства, обрек его на все подозрения. *Que mon nom soit flétri et que la France soit libre.*

Он действительно мог бы высказаться. Будучи популярной, энергичной и здоровой личностью в Париже, он мог бы направить свою энергию на единственную цель — предотвратить вспышку насилия. Я не буду отрицать, что в его уме, на который, как мы видели, в октябре 1789 года и в июне 1792 года внезапно обрушился страстный гнев, могло возникнуть некое чувство, сдерживающее огромную массу парижан от вмешательства в дела небольшой группы убийц — чувство яростной ненависти, воспоминание о манифесте и отвращение, которое делало сторонников Брауншвейга похожими на паразитов. Нечто от этого прискорбного настроения есть в анекдоте, который рассказывает о нем мадам Ролан, когда она описывает, как он на второй день шагал по комнатам и говорил, что заключенные «могли спастись». Но этот анекдот — не история, а обвинение, причем обвинение, выдвинутое сторонником и врагом^[122]. Есть другая, более веская причина его поступка, которая, по-моему, должна была составлять большую часть его мотива. Высказаться означало бы поставить на карту очень многое. Если бы он высказался и не смог предотвратить восстание, он перестал бы быть Дантоном. Его влияние упало бы, он стал бы умеренным, и сам, единственный человек, оставшийся руководить делами, вошел бы в запутанные ряды оппозиции — непарижанин, отвергнутый обеими партиями, в то время как Франция под его руководством погрузилась бы в полную анархию.

Это было бы авантюрой со всем, чего он больше всего желал: английским нейтралитетом, единством будущего парламента, быстрой организацией армий — все это было поставлено на карту, чтобы выиграть то, что для него не имело никакой ценности — жизни массы людей, большинство которых требовало успеха вторжения.

Почему он не действовал? Потому что никто не мог действовать. Вспомните фразу, которую он произнес, когда четыре месяца спустя казнили Людовика: «Nulle puissance humaine»^[123]. Мы настолько привыкли к аристократическому и упорядоченному обществу, что должность подразумевает власть. Министр внутренних дел или кто-то другой «делает это», но тот, кто действительно делает это — делает это своими руками — это полицейский или солдат. В тот момент в Париже их не было. Это объясняет сотни вещей в Революции, если помнить, что каждый последующий шаг сводил общество к праху, к простому количеству людей. Руссо

сказал, что этот договор, эта вещь, основанная на добровольном союзе (), не была создана для городов. Париж в сентябре дал нам ужасное доказательство этого. Ролан, человек, которого Марат включил в свой список и которого спас Дантон, в понедельник говорил о «справедливом гневе народа». Однако Ролан был справедливым человеком и смелым в делах, которые касались только его самого, и массовые убийства касались в первую очередь его. Он был министром внутренних дел, то есть отвечал за порядок, но не имел никаких средств для работы. Во вторник он послал к Сантерру и сказал: «Вызовите Национальную гвардию». Сантерр ответил, что не может собрать ее. Он был прав. Петен был честным человеком, умеренным, мэром Парижа; все, что он мог сделать, — это сидеть в бесполезном комитете секций и говорить о «национальной обороне»; та полная дезинтеграция, которую породили теории революции — чисто добровольное состояние солдата, чиновника, полиции (простая анархия) — была непреодолима, когда речь шла о спонтанных действиях; она была бесполезна там, где условия требовали организации и инициативы. Оно выдержало канонаду при Вальми, штурмовало высоту Жемапп, но бежало в панике, когда весна растопила энтузиазм. Таким образом, в государстве отсутствовала полиция, функция, которая больше всего требует дисциплины. И вся ситуация подытоживается в той яркой картине, которую мы имеем, когда Мануэль пробивается сквозь толпу с «двумя полицейскими», которые «вызвались добровольцами», и тщетно пытается остановить линчевание в Карме. Именно этой анархии Дантон, после шести месяцев борьбы, удалось дать правительство в 1793 году.

Сам Дантон, после четырех месяцев тщетных попыток примирить своих врагов, выразил всю суть дела в последней фразе своей защиты: «Никакая человеческая сила» не могла остановить массовые убийства^[124]; все, что можно было сделать, — это с того момента работать против крайних теорий добровольного государства () и над созданием сильного правительства^[125].

Когда в четверг, 6 сентября, волна отступила, и когда на следующий день Петион смог вмешаться, народ и Ассамблея оглянулись вокруг и увидели, что произошло нечто, что нанесло будущему Революции больший ущерб, чем все армии. Это было похоже на рассвет после той моральной ночи, рассвет, когда ветер утихает и ты видишь обломки.

Париж был очень тихим; обвинения еще не начались; Ассамблея умирала. Избирательный совет Парижа собрался в те самые дни, когда происходила резня, и приступил к выбору членов, которые должны были представлять столицу в Конвенте, который должен был собраться. Он также голосовал в тишине и заседал в атмосфере паники и раскаяния, которая давила на весь город. Имена были объявлены в ходе голосования. 5-го числа (убийцы все еще рычали на улицах) Робеспьер был избран на небольшом собрании из 525 человек; 6-го числа Дантон был избран вторым, но с гораздо большим количеством присутствующих и с гораздо большим большинством голосов — 638 голосов из 700 присутствующих, что было любопытным результатом. Имя Дантона навязалось им, оно было провозглашено громче всех других; однако его примирительная позиция, его попытка обеспечить представительство всего Парижа были отвергнуты. Человек и его репутация преуспели, его политика провалилась. Они также избрали Марата, Паниса, Сержена — тех, кто руководил преступлением. Из всех двадцати четырех только Дантон и Мануэль имели хоть какое-то отношение к умеренным. Длинный список заканчивается именем Эгалите, избранным большинством в один голос^[126].

Таким образом, в Конвент вошло, по-видимому, единое объединение людей из Парижа — «Гора» (). На скамьях крайне левого крыла, в сером, темном зале Тюильри, должны были сидеть, сплоченной группой, эти экстремисты; а на другой стороне зала департаменты,

чистые республиканцы юга, которые презирали город и их, которые ужасно боялись их и ненавидели с силой религии, должны были выделить их как тиранов. И в этой Горной, этой группе красных, Дантон оказался погрязшим, связанным, фальсифицированным. Он был полон решимости предотвратить такие партии. Он изо всех сил пытался заставить Париж избрать не только Робеспьера, но и Петитона в знак единства: он потерпел неудачу.

Когда сельские депутаты прибыли в столицу, сентябрь превратился в ужасную легенду. Число убитых увеличилось в десять раз^[127], в двадцать раз — число потеряло смысл. Париж казался городом крови. Гиды добровольно рассказывали одну историю за другой. «Здесь, в Аббатстве, кровь поднялась так высоко» — они делали отметку на стене; «там, под этим деревом, массовые убийства планировали такие-то и такие-то» — подходило любое имя, иногда это был Робеспьер, иногда Дантон. Депутаты прибыли из своих маленьких городков и с полей, более семисот человек — паломники из мест, где еще сохранялся чистый энтузиазм 1790 года, где даже 1792 год не принес никаких страстей. Они прибыли, многие из них впервые, ошеломленные огромным городом; его шум сбивал их с толку, его толпы, его гнев — «Да, именно здесь две недели назад были совершены массовые убийства — мы можем в это поверить». С самого первого дня Конвент казался полем битвы — Париж вызывающе в «Горной фракции», а департаменты молчали, испытывая гневный страх в «равнинной фракции» и на скамьях «правой фракции». И когда новоприбывшие просили показать им группу депутатов от Парижа, как люди просят показать им скрывающихся врагов или диких зверей, их взгляд направлялся на то высокое место слева, где сидели те, чьи имена напугали и очаровали их на гравюрах в их сельской местности.

Окон не было; световой люк, высоко над этой глубокой комнатой, направлял недостаточное количество света вниз, на лбы, делая черты лица острыми и придавая им ложное мрачное выражение. Тот человек с маленьким приземистым телом и лицом лягушки был Марат; в тусклом свете можно было разглядеть его большой тщеславный рот. Эти маленькие, острые черты лица, хорошо выбритые и выразительные, высокий лоб, острые скулы и подбородок принадлежали Робеспьеру. Свет падал в основном на белый цвет его тщательно уложенного парика; его тонкая улыбка была в тени. А кто был этот огромный человек, казавшийся еще больше в темноте и с головой, похожей на Мирабо? Они видели, как он двигался, в то время как остальные сидели неподвижно. Он разговаривал со своими соседями, делая тяжелые, широкие жесты. Они привыкли к полумраку и смогли различить его лицо — сильную челюсть, мощные движения губ, хотя они и были разорванными и деформированными; грубую, покрытую ямками кожу, маленькие, прямые и глубоко посаженные глаза. Кто он был? Он казался им воплощением всего кровопролития и безрассудства, которые они ненавидели в Париже, повелителем анархии. Это был Дантон.

Это впечатление сломало всю политику и мудрость. Он требовал единства, сдерживал растущие нападения на богатых, говорил вещи, которые были похожи на голос Франции. Но голос его был резким и громким; они слышали его в своих умах во главе толпы; они бежали от него к жирондинцам; они заставили его вернуться в Гору, и он должен был делать свою работу в одиночку, несмотря на тех ораторов, с которыми он хотел бы дружить и чей гений он любил, — несмотря на тех сумасшедших, которые окружали его и которые позже убили его и Республику одним топором.

25 сентября, в четверг, Конвент собрался в Тюильри; в пятницу, в том же месте, при закрытых дверях и пустых галереях, они провозгласили Республику и переехали в Манеж, где заседали их предшественники. В эти два дня бурная ссора между Парижем и Францией на мгновение

утихла. Дантон, воспользовавшись затишьем, сказал все, что мог, чтобы определить свою позицию и не допустить, чтобы этот конфликт достиг своего апогея. Он пошел на встречу с умеренными. Он заявил, руководствуясь здравым смыслом крестьянина, что сначала необходимо объявить собственность неприкосновенной; и любопытно, что Конвент, большинство которого не поняло его и порвало с ним, оказался еще менее умеренным, чем он; он принял резолюцию, но в форме «собственность находится под защитой нации». Чтобы успокоить общественное мнение, он немедленно подал в отставку с поста министра юстиции^[128]; он сделал все, чтобы прояснить свою позицию и сохранить единство парламента.

Но атака последовала со стороны других. В течение недели Ласурс предложил создать гвардию для Конвента, «набранную из департаментов»; и перед лицом этого предложения, которое было почти гражданской войной, Дантон снова смог выступить за единство. Жирондинцы избрали одним из своих президента и выбрали из числа своих членов секретарей Ассамблеи; они сознательно подвергли остракизму левых и хотели лишить их права голоса. Дантон все еще пытался добиться единства. «Я сам родом из департаментов, из места, к которому я всегда обращаю свой взор. Но Париж состоит из департаментов, и мы здесь не как члены того или иного места, а как члены Франции». Он постоянно выдвигал идею объединенной Франции; жирондисты () постоянно отвергали ее. Он знал, что они считают его щитом для Марата; он открыто отверг Марата с трибуны. Но все эти интенсивные и личные действия имели эффект только на отдельных лиц. Особенно это тронуло двух человек — Верньо, молодого оратора, искреннего и смелого больше всех своих коллег и более дальновидного, чем любой из мечтателей, окружавших его; Кондорсе, которому год назад Дантон казался столь отвратительным, но чей спокойный и справедливый ум пришел к истине; который сказал: «Дантон обладает редкой способностью не ненавидеть и не завидовать гению других»; который проголосовал и выступил за его назначение министром юстиции и который до катастрофы следующего июня продолжал понимать и поддерживать его.

Но для большинства жирондистов он оставался изгоем. Он использовал слова, которые нельзя было произносить в присутствии жены Ролана, и большая группа, окружавшая ее (люди, переполненные утопическими идеями, но героические, люди, о которых сам Дантон горько сожалел), сделала его изгоем. Он часто отвечал с жаром, а однажды и с оскорблением, но, как мы увидим, он не бросил их окончательно, пока восстание не уничтожило их в 1793 году.

Между тем, пока в Париже голосовали за республику, под Аргоном происходила одна из самых любопытных битв в истории, которая принесла временную безопасность, то есть временное единение добрых чувств по всей Франции и даже в самом Париже. Прусская армия была остановлена на небольшом возвышении Вальми. Когда вы стоите на этом поле в то же время года, в тумане раннего утра, как тогда стояли добровольцы и измотанные остатки линии; когда вы смотрите с этой точки на открытую дорогу, на великую равнину Шампани, так хорошо подходящую для содержания армии; когда вы видите на востоке длинную стену Аргонны и вспоминаете, что Дюмурье был обойден с фланга в своих Фермопилах, вас охватывает смятение. Почему же, черт возьми, победа при Вальми была такой важной? Обычно говорят, что Вальми было канонадой, но что такое канонада в 1792 году? Если бы сегодня выстроилась линия орудий и начала стрелять, как я видел это на маневрах в пределах видимости этих же холмов, и если бы была обнаружена сила, способная противостоять шрапнели двенадцати батарей артиллерии, уверенных в своей дальности, превращающих цель в вспаханное поле, — то эта сила заслуживала бы особого имени,

потому что она была бы бессмертной. Но в XVIII веке орудия не были арбитрами сражений. Пехота могла тогда атаковать батареи. Франция, которая вчера была разгромлена и завтра одержит победу исключительно благодаря артиллерии, сто лет назад не боялась случайных выстрелов из гладкоствольных орудий; она боялась штыковой атаки той великолепной пехоты, которую тренировал великий Фридрих и на которой до сих пор держится чудовищная конструкция Пруссии. Все, что мы можем сказать о Вальми, это то, что люди, совершенно не знакомые с военным делом, плохо организованные, сумели устоять под плохо направленным, порой беспорядочным и отдаленным артиллерийским огнем.

Вальми не было победой. Результаты Вальми изменили мир, но тогда никто не мог этого предвидеть. Гете, в течение своей долгой жизни, обнаружил это и прекрасно выразил своими словами у костра в бивуаке: «Тогда мы вступили в новый мир»; но были пророки и лучше Гете, и ни один из них этого не предвидел. В течение нескольких дней прусская армия колебалась. Дюмуре не осмеливался встретиться с ними. Решающая битва в последние дни сентября могла бы изменить всю историю.

Почему же тогда король Пруссии отступил? Никакая сила не заставляла его, но два аргумента убедили его. Крестьянство и Дантон, человек, который на протяжении всего года был, так сказать, обученным и просвещенным крестьянином. Сопротивление крестьянства научило короля, что для того, чтобы достичь Парижа, требовалась не война династий, какими были войны XVIII века, когда армии проходили как путешествующие караваны, а крестовый поход. Он не был крестоносцем. Он вступил в войну без особого энтузиазма, и при этом небольшом препятствии он засомневался. Второй аргумент исходил от Дантона. Он тайно торговался, как крестьянин, за приобретаемое и очевидное благо, в то время как парламент говорил так, как мог бы говорить завоеватель, который был чем-то вроде поэта и хорошо знал классиков. Когда сразу после битвы зашел разговор о переговорах, он произнес великие слова: «Республика не будет вести переговоры, пока ее территория не будет эвакуирована». Это было во вторник; Республика была слишком молода, чтобы обсуждать что-либо — ей было четыре дня. В среду вечером Вестерман, человек Дантона от 10 августа и его спутник на эшафоте, тайно отправился на дипломатические переговоры. Глупый Д'Эглантин последовал за ним, но его глупость была поглощена мудростью Дантона, который послал его, секретаря и рупора, сделать то, что, если бы он сделал это сам, вызвало бы бурное и необдуманное голосование. Между собой эта клика уладила дело, и захватчики тяжело прошли обратно через Аргонны, по мокрым дорогам и через промокшие леса, а Келлерман следовал за ними, нетерпеливый, над долинами, но связанный политикой Дантона не преследовать отступающих; пока, наконец, более чем через месяц после Вальми^[129], он не дал салют из Лонви, и территория была освобождена.

Знал ли Дантон, преследуя эти планы, почему Дюмуре помогал ему? Понимал ли он до конца этого тщеславного, талантливого и беспринципного солдата? Я думаю, что да. Это одно из тех вещей, которые невозможно доказать; такие убеждения основываются не на документах, а скорее на общей оценке характера. Так, Дантон, несомненно, помогал и использовал Талейрана в другое время в Англии, а Талейран был явно фальшивым. Но Талейран был, столь же очевидно, самым умным дипломатом, которого он мог найти. Дюмуре желал, чтобы король Пруссии оставался в покое по ряду очень противоречивых причин, в которых патриотизм играл небольшую роль; Дантон желал этого ради Франции и только ради этого; но если Дюмуре, стоявший во главе армии, был под рукой, тем лучше. Дантон поддерживал Дюмуре, его политику и даже его отступления вплоть до катастрофы марта. Говорить, что «он симпатизировал предателю», — это одна из тех глупостей, на которые люди способны только тогда, когда забывают, что современники не могли знать

того, что знаем мы. Несмотря на всю его конъюнктурность и отдельные планы, никто и не мечтал, что через шесть месяцев генерал присоединится к австрийцам; это было неожиданным ударом даже для тех, кто сидел в его палатке.

Октябрь был месяцем примирения. Когда бодрствующий человек добивается успеха, мечтатель готов построить на этом результате новую мечту. Жиронда почти молчала, Гора была напугана. Во время короткого визита Дюмуре в Париж, между одной победой и другой, Дантон на мгновение кажется соучастником душевного спокойствия, блестящего выражения лица и республиканской веры жирондинцев. Возможно, он мог бы остановиться на этом и своими сильными руками и плечами разделить людей, чья взаимная ненависть убила Республику. В его успехе — и после Вальми все были ему благодарны — почти произошло то, чего он больше всего желал, и союз между противостоящими жирондистами и Горкой был наполовину реализован.

Мишле дает нам две картины^[130], которые, как откровение молнии, показывают нам эту стремительную драму, застывшую в одно мгновение. В первой это мадам Ролан, во второй — Марат, которые создают трагедию. В первой Дюмуре и Дантон сидели в одной ложе в театре, а Верньо входил с душой жирондистов. Дверь открылась и обещала такое зрелище: Дантон, генерал и оратор чистых республиканцев, и женщина, наиболее ассоциируемая с правыми. Это была бы такая картина, за которую Дантон молился бы или заплатил бы. Дверь была приоткрыта, и, подойдя ближе, мадам Ролан увидела Дантона, сидящего в ложе; она вытащила руку из рук Верньо и закрыла дверь. В ее мемуарах есть своего рода извинение: «des femmes de mauvaise tournure» (женщины плохого тона). Полная ерунда; это было ложе Ролана, и его жена была ожидаема. Дантон и Дюмуре не были из грязи. Нет, это была узкая женская ненависть, так тесно связанная с ее интенсивной преданностью, которая заставила мадам Ролан оттолкнуть Дантона. Тот же дух, который заставлял ее с яростью поносить левых, сделал ее спокойной святой жирондистов. Ведь она жила исключительно Идеей.

Вторая сцена — прием. Я не буду повторять описание Мишле; его дух заключен в замечательной фразе: «Цивилизованная Франция апеллировала там к политической Франции». Дантон был окружен теми, кого он научил, как он учил всех, кто когда-либо был с ним близко знаком, уважать или любить его. Марат услышал, что он там — Марат, которого он публично отверг несколько дней назад. Он услышал, что Дантон там, окруженный солдатами, женщинами и ораторами. Он постучал в дверь и крикнул в холле: «Я хочу видеть Дантона», и при звуке его голоса все забеспокоились, и Дантон остался один. 29 октября Дантон открыто попытался порвать с Маратом: «Я заявляю вам и Франции, — сказал он в Конвенте, — что я испытал характер Марата и не являюсь его другом». Но попытка была слишком запоздалой.

В ноябре дискуссии возобновились. 10-го числа в Париже прозвучала весть о победе при Жемаппе. Эта книга, посвященная только одному человеку, не может подробно описать эти знаменитые обвинения; это была победа, одержанная людьми, воспевавшими новые песни; это вдохновение «La victoire en chantant». Но уверенность, которую она давала, только еще больше разрушала то, что осталось от единства. Дантон все больше и больше оказывался в одиночестве. Тот, кто был назначен в комитет вместе с Томасом Пейном, Кондорсе и Петионом, на следующий день после своего избрания президентом якобинцев^[131], кто в своем временном успехе, казалось, реализовал свою политику единства, через месяц снова оказался оттесненным к Горной фракции. Растущее чувство безопасности уничтожило шансы на единство. Он молчал. Можно сказать, что время прошло мимо него, потому что единственное, что его волновало, потерпело неудачу, и потому что неизбежные гражданские разногласия следующей весны омрачили его разум. Франция была безвозвратно разделена.

Обвинение короля, обнаружение секретных документов, все события ноября оставляют его, как бы, в затруднительном положении, ожидающим своей миссии в Бельгию.

К этому периоду относится только одна значительная речь. Это единственное из всех его публичных выступлений, в котором можно обнаружить красоту. В этой речи можно найти сострадание и нежность, которые любили его близкие, память, которую они защищали в течение шестидесяти лет, но которую не сохранил ни один документ или письмо.

Камбон, не заботящийся ни о чем, кроме своей казны, считал, что наступила новая эра. Эта холодная и неуступчивая голова, видя стремительное падение Франции к банкротству, решила сэкономить сто миллионов, но сэкономить их любой ценой. Он предложил отделить государство от того, что осталось от церкви, нарушив клятву 1790 года. В почти последней речи перед отправкой в армию Дантон выступил против него и произнес следующие слова, которые лучше подходили для защиты « » — более древнего и сильного явления, чем жалкое конституционное духовенство:

«... Лишать народ его мечтаний — это измена народу. Со своей стороны, я признаю, что знал только одного Бога. Бога всего мира и справедливости. Человек в полях добавляет к этому представлению образ человека, который трудится, которого он считает священным, потому что его юность, зрелость и старость обязаны священнику: маленькие моменты счастья. Когда человек беден и несчастен, его душа становится нежной, и он особенно цепляется за все, что кажется величественным: оставьте ему его иллюзии — учите его, если хотите... но не позволяйте бедным бояться, что они могут потерять единственное, что связывает их с землей, поскольку богатство не может их удержать».

Перед тем как он отправился с миссией к армиям, произошла сцена, которая с тех пор, как ее описал Мишле, всегда была самым ярким эпизодом в его отношениях с жирондистами. Он, человек, который видел спасение Франции только в дипломатии, ради единства промолчал, когда жирондисты приняли декрет от 19 ноября, который должен был поддержать революционный крестовый поход против Европы. Я говорю, что ноябрь был наполнен попытками Дантона сохранить единство парламента. После всех этих усилий он потерпел поражение, потому что жирондисты были одержимы мечтой, не допускавшей никаких компромиссов и никакой реальности.

Сцена его последней попытки была такова: он договорился о встрече с их партией. Они должны были тайно встретиться ночью, вдали от Парижа, в доме в лесу Сё в самом конце ноября. Вся жизнь этого человека была трагедией, и в этом печальном путешествии мы видим то драматическое предчувствие его смерти и их смерти, то «предвидение», которым наполнены трагедии мира.

Он шел по пустынному голому лесу в ноябре, под мчащимся небом, которое напоминает нам о сегодняшней Франции и о сражениях при Жемаппе. Ночь была такой же дикой, как и время, и такой же темной, как его предчувствия, когда он подошел к небольшой группе людей при свете свечей и спорил с ними, и против них, и в одиночестве. Мишле придает мыслям Дантона оттенок принуждения. Он показывает нам Дантона, увлеченного необходимостью. Но я не вижу никакой необходимости, кроме высшего желания объединить партии и сделать правительство реальным. Они не приняли его союз, и он ушел с того собрания в полночь, отброшенный обратно в Париж, брошенный в товарищество насилия.

Гуаде отверг его с особым рвением. Дантон, уходя, обернулся к нему со словами: «Гуаде, Гуаде, ты не можешь понять и не умеешь прощать; ты упрям, и это будет твоей гибелью». На следующий день он отправился с миссией в армию.

Во время предъявления обвинения и суда над королем мнения, разделявшие левых и правых, сражались в его отсутствие^[132]. Он не был там, чтобы предпринять такое движение, как того требовал его характер. Никто во всей Ассамблее не осмелился протянуть руку, как он бы это сделал, и посмотреть, не прав ли, в конце концов, Верньо, с одной стороны, а Горы, с другой, патриоты.

В этой дискуссии о жизни одного человека был элемент, который хорошо соответствовал характеру Дантона. Необходимо было учитывать влияние на европейскую общественность (), которое последует за решением о смерти или жизни короля, и громкий голос Дантона настолько сильно и справедливо повлиял на историков того периода, что он выдвинул свою личность на первый план в их повествовании, и по крайней мере в одном заметном месте Дантон появляется в истории, и в одной из величайших страниц истории, без всякого права, и фигурирует в сценах, которые не обладают преимуществом его голоса. Его заставили защищать жизнь Людовика, просить об отсрочке, а затем, в результате резкого изменения, проголосовать за его смерть.

Позвольте мне теперь объяснить, как эта ошибка проникла в сознание Мишле и других людей. Дантон вернулся из Бельгии в ночь на 14 января. В тот же день некий Даннон, по-видимому, честный человек^[133], поднялся поздно вечером и потребовал отсрочки для Людовика. Когда Галлуа перепечатал «Монитор», он увидел это малоизвестное имя в сочетании с политическим требованием; он прочитал его еще раз и сказал: «Этот Даннон, должно быть, опечатка, должно быть, Дантон». Он исправил это. На эту случайную ошибку обратилось внимание Мишле, чье око могло из одного взгляда или слова воссоздать цвета и движения живых людей. На него также сильно подействовала трагедия Дантона; он сформировал образ из этих нескольких слов в «Мониторе» и сделал из них замечательный антиклимакс. Вот Дантон (Даннон), только что вернувшийся из армии, знающий, в какой опасности находится Франция, видящий собственными глазами, насколько мимолетными были последствия Джемаппа. Он приезжает на заседание Ассамблеи в своей дорожной карете, еще покрытый грязью с дороги, и высказывает свое мнение как союзник жирондистов и умеренных. Затем какой-то отпор, какое-то незафиксированное оскорбление снова отбрасывает его назад, как он так часто отбрасывался назад в объятия экстремистов. На следующий день, 15 января, нам предлагают наблюдать, как он сидит рядом со своей умирающей женой, угрюмый и отчаявшийся. 16-го он возвращается в ярости и голосует за смерть короля.

Есть люди, для которых детали в истории являются педантичными, но здесь от трех писем и их порядка зависит интерпретация не только индивидуального характера, но и политики, последствия которой мы ощущаем до сих пор. Великая картина Мишле ложна от начала до конца. Дантон вернулся 14-го и, измученный путешествием, пришел к постели своей молодой жены, с которой он был женат пять лет и которая теперь была близка к родам и смерти. У него была своя драма, а также драма историка, и наши собственные драмы разыгрываются на сцене, где результаты реальны. Всю ночь 14-го и весь 15-й день он наблюдал в своей квартире на Пассаж-дю-Коммерс за судьбой, которая надвигалась на него, и, безусловно, в течение этих тридцати шести часов Революция была для него мелочью. 16-го он устало вернулся к своим обязанностям; он вспомнил, что существует такая

вещь, как революция, что Луи все-таки предстал перед судом, и спустился из своего дома в зал парламента, чтобы вынести короткий гневный приговор, в котором мы, кажется, видим меньше умеренности и дипломатии, чем было в его характере. Сцена в доме сделала его не только озлобленным, но и слабым, потому что, безусловно, слабость заключается в том, чтобы сказать: «Я не государственный деятель», заимствуя, то есть, вульгарную язвительность Марата, или говорить о «тиране» и повторять фразы Горы.

Но в последующие дни Мишле находит хорошее оправдание. Конечно, если бы о нем не было известно ничего, кроме его действий в январе 1793 года, можно было бы сказать, что Дантон был представителем Горы и ничем более. Эта ошибка была бы подкреплена его необоснованной яростью, почти жестоким гневом, которому он позволяет себе поддаться.

Они спросили, может ли король быть приговорен к смерти простым большинством голосов и является ли это большинство решающим. Дантон ответил им: «Вы решили судьбу Республики простым большинством голосов, вы изменили всю историю нации простым большинством голосов, а теперь вы считаете жизнь одного человека слишком ценной для простого большинства; вы говорите, что такое голосование не может быть достаточно решающим, чтобы пролить кровь. Когда я был на границе, кровь пролилась достаточно решительно».

В тот момент он был настолько естественным Дантоном безрассудства, настолько его характер поддавался постоянному искушению жестоких слов, что, когда он бросился к трибуне без разрешения спикера, раздался голос, крикнувший ему: «Ты еще не король, Дантон». И все же это был тот человек, который спас Францию от любой глупости неповиновения после Вальми, который был полон решимости спасти ее в будущем, удерживая руль спокойной и непоколебимой рукой. Великое сравнение Верньо: «Франция может стать, если не будет осторожна, подобной статуям Египта; они поражают своим величием, но остаются загадкой для всех, кто их видит, потому что живой дух, который их создал, умер», прошло мимо него без эффекта. Он был одним из тех, кто проголосовал в роковом большинстве, и он бросил в качестве знака битвы голову короля^[134].

Слова стали реальностью, и Людовик стоял в полдень, пытаясь быть услышанным за кольцом солдат, кричал, что он невиновен, и умер в полдень того холодного январского дня. Этот акт был обречен привести к тому, чего Дантон так горячо желал избежать — он положил конец нейтралитету Англии раз и навсегда.

Другой народ, тогда еще в зачаточном состоянии, а теперь уже состарившийся, которому Луи был вынужден помочь против своей воли, воспринял смерть Луи как удар по лицу. Простой народ Соединенных Штатов воображал, что французский король был их спасителем; они не знали фразы Луи: «Меня втянули в это несчастное дело в Америке; воспользовались моей молодостью» (). Они относились к его короне с определенным суеверием, как и сегодня относятся к тому, что осталось от безделушек в Европе; и когда топор обрушился на него, Франция потеряла не только расчетливую лицемерность Питта, но и искреннюю симпатию американского народа.

В последующие дни (их было всего десять) с 21 января до конца месяца, очевидно, что самым сильным потрясением для энергичного и независимого ума Дантона было возвращение через семь недель к жене, которую он страстно любил и которую этот уродливый Орфей чувствовал, как ускользает из его объятий обратно в тень. После ее смерти, как мы увидим, он не был так сильно потрясен, но в те две недели января, которые имели столь огромное значение, он позволил несчастью пробудить в его душе лишь страсть; и тот, кто мог бы возглавить умеренных, кто мог бы играть жизнью Людовика как картой, предпочел вспомнить о своем отвержении зимой и выбросил свой козырь.

Многие пытались объяснить голосование Верньо. Не вероятно ли, что его привлек пример человека, которого он не понимал и чье мнение привлекало оратора, не безразличного к энергии? Верньо всегда предстает перед историей сомневающимся и колеблющимся лицом, и кажется более чем вероятным, что гнев Дантона подтолкнул его и многих других к голосованию за смертную казнь.

С тех пор как 10 августа принесло ему неожиданную власть, Дантон так или иначе держал в руках нити определенной дипломатии. Она заключалась в следующем: опираться на все силы в Европе, которые восхищались революцией или были к ней равнодушны, и объединить их в своего рода сопротивляющееся тело; использовать, так сказать, их инерцию против тех, кто выступил в качестве крестоносцев против Франции. По этой причине глупая пропагандистская война была ему крайне неприятна. По этой причине его преследовала мысль о « » нейтралитете Англии. Он знал, что в этой стране существовала организация, сильная своим влиянием, хотя и не численностью, организация, которая поддержала бы французов. Пристли писал ему перед своим изгнанием. Талейран в тот момент работал на него и как неформальный дантонист противостоял жесткости жирондистов в лице Шовелена.^[135] Дантон был даже готов использовать Дюмурье, главным образом потому, что Дюмурье собирался пойти на компромисс с Англией. Эта политика наблюдения, политика, которая использовала Англию как поборника индивидуальной свободы и как торговую державу, была внезапно прервана смертью короля. Именно Дантон погубил свою собственную интригу.

Перед тем как 31 января 1793 года отправиться со своей второй миссией к армиям, он показывает новое лицо, пытаясь, насколько это возможно, исправить ошибки, в которых он был в значительной степени виновен. В речи, которая вновь демонстрирует всю его прежнюю силу партийной политической деятельности, он требует аннексии Бельгии. Он понял, что всеобщая война неизбежна, и, возвращаясь к той уникальной французской концепции, наследником которой он был, — *raison d'état*, — он решает спасти государство, и сделать это с помощью действия, которое противоречит всем теориям Революции. Он просил «всего от их разума, ничего от их энтузиазма» и потребовал аннексии Бельгии Францией. Это был чистый оппортунизм — решимость заполучить доход силой оружия; и на следующий день, после того как он с трудом вернулся к своей старой политике реального и объективного, обремененный ошибками прошлого и порвав со всем, что он ценил во французском мнении, он снова отправился в армию « ». Пока его карета еще катилась по ровным дорогам Фландрии, Шовелен вернулся с каракулями Питта в руках, и Франция оказалась в состоянии войны со всем миром.

Это следующее путешествие в Бельгию заняло очень мало времени. Он прибыл туда только 3 февраля, а 15-го уже начал возвращаться. Но этот момент, который в его биографии неизбежно остается безмолвным, имел бы для нас огромное значение, если бы он остался в Париже, чтобы выступить с речью и оставить нам в своих выступлениях какие-то подсказки о революции, которую пережил его ум.

Рассмотрим эти контрастные картины: до смерти короля Дантон, кажется, был исключительно занят проведением очень осторожной дипломатии и сближением, насколько это было возможно, противостоящих фракций парламента. Конечно, его общие политические теории остаются неизменными, но произошло нечто, что заставляет его, вернувшись из Бельгии во второй раз, проводить другую политику: немедленное создание сильного центрального правительства и обеспечение его исключительным и страшным аппаратом. Он работает над этим как над абсолютно единственной политикой. Он, кажется, забыл обо всех вопросах дипломатии, почти отчаявшись урегулировать спор между

Парижем и жирондистами. В конце концов, Дантон, когда впервые пришел к власти, был человеком, настолько представительным для Франции, что имел много разных целей и пытался их координировать. Мы видим его в течение коротких двух недель после казни Людовика жестоким, разгневанным, неразумным; мы видим его снова менее чем через месяц преобразенным в человека с единственной целью, которую он преследует и достигает с упорством, свойственным умам гораздо более узким, чем его собственный.

Я знаю, что эта перемена в значительной мере объясняется событиями. Жирондисты оттолкнули его; дипломатия утратила смысл после объявления всеобщей войны; серьезные опасности, а затем и поражения французской армии, которые он видел собственными глазами, требовали диктатуры. Тем не менее, сами по себе события не могут объяснить столь значительную перемену во всем, что он говорит и делает. Я считаю, что мы должны искать другую причину — одну из тех причин, которые историки игнорируют, но которые в жизни отдельных людей имеют гораздо большее значение, чем их политическое окружение. По своей природе он имел большую склонность к лени, а также к насилию. Он был способен к опасной уступчивости, и это, по-моему, в значительной степени было причиной его действий осенью. Но такие натуры также относятся к тому типу, который бедствие подталкивает к действию. Как мы видели, возвращение в январе в свой дом, разрушенный надвигающейся судьбой, сделало его жестоким и озлобленным оратором, который своими собственными речами испортил свои планы. Но возвращение из Бельгии в феврале, не угроза, а определенная катастрофа пробудила в нем гораздо более полезную энергию.

Вернувшись с полей, где он видел, как вся сила первых сражений распадалась в смятении и отступлении, он внезапно узнал о смерти своей жены. Он купил себе легкую карету, чтобы ехать быстрее, и, как говорят, прибыл в город вовремя, чтобы ее гроб вынули из могилы и открыли, чтобы он мог еще раз посмотреть на ее лицо. Дом был совершенно пуст. Двое маленьких детей, один из которых был на руках, а другой только начинал говорить, были увезены к бабушке. На мебели и дверях были печати. Остался только один слуга. Когда он вошел в дом, в нем уже неделю не топили. Это было возможностью и приказом для нового начала в его политической жизни. Приходя и уходя из этих комнат, он находил их невыносимыми; он укрылся в прямых и решительных действиях, прибегнув к помощи всего того огромного запаса энергии, который он привык тратить ценой столь большого будущего истощения.

Первое, что нужно было сделать, — это немедленно создать то сильное и простое правительство, о котором он так долго говорил. Отчет, который он и другие комиссары подготовили о состоянии армии[136], был специально предназначен для того, чтобы такое правительство было проголосовано. Сразу после подготовки доклада Парижская коммуна обратилась с энергичным призывом к дальнейшему набору рекрутов, и 8 марта Дантон произнес первую из тех речей, которые сплотили всю Францию[137].

В первой фразе этой речи он затрагивает тему, от которой во многом зависела его власть. Он проецирует свой характер на характер нации. «Мы уже не раз убеждались, что такова натура французского народа — ему нужны опасности, чтобы раскрыть всю свою энергию». Затем он затрагивает другую тему, обращаясь к Парижу, который сыграл столь важную роль в его карьере. «Париж, который получил столь дурную славу» (удар по жирондинцам), «я говорю, что он вновь призван дать Франции тот импульс, который в прошлом году принес нам все наши триумфы. Мы обещали армии в Бельгии 30 000 человек 1 февраля. Никто из них не

прибыл. И я требую, чтобы были назначены комиссары для набора войск в сорока восьми секциях Парижа».

Если в тот момент и шла речь о том, чтобы сделать его министром войны после отставки Бюрнонвиля, то только потому, что никто, кроме самого Дантона, не понимал, насколько много может сделать его энергия. Он отклонил это предложение, но у него было желание заменить самих министров более грозной и более прямой властью.

В те дни одна катастрофа за другой способствовала осуществлению его плана. Некоторые из его врагов смутно подозревали, что он создает новую власть^[138], но они не могли представить себе в Дантоне ничего более высокого, чем амбиции Э, и приписывали ему нелепый проект навязать Ассамблее новое министерство. То, что он действительно готовил и что он создал 10 марта, было оружием, которое история назвала Революционным трибуналом.

Это был момент, когда ропот против жирондинцев, казалось, вот-вот перерастет в восстание, когда были разбиты их печатные станки и когда в смутной панике, которая всегда следовала за любым народным движением с сентября, люди боялись возобновления массовых убийств. Предложение было выдвинуто скорее с помощью аргументов, чем с помощью страсти; но, вопреки большинству и министерству, для которых такие методы были отвратительны, то есть вопреки идеализму жирондистов, который разрушал страну, он утвердил необходимость своего плана и принял его.^[139] Он дал революционному правительству его первое великое оружие, оружие, которое позже было обращено против него самого; его вторым шагом было передать его в энергичные руки.

Это следующее предложение, которое в сочетании с учреждением Революционного трибунала должно было изменить историю Франции, исходило не только от Дантона, но было основано на его предложении; оно в значительной степени возникло из яркого впечатления, которое он произвел, описав опасность, в которой находилась Франция, и необходимость создать нечто центральное и сильное, обеспечить руку, которая могла бы использовать диктатуру террора. Комитет общественной безопасности, одним словом, не мог бы быть провозглашен, если бы не интерпретация, которую Дантон дал бедствиям марта.

Первым импульсом стало сокрушительное поражение при Нервиндене, которое в то время, должно быть, казалось почти смертельным ударом для Республики. Старый Комитет общей обороны был обновлен. Но хотя этот комитет был слишком большим и слишком слабым, мы обязаны Дантону тем, что в его составе было энергичное меньшинство из левых. Окончательным ударом, который заменил его институтом, вокруг которого будет вращаться остальная часть этой книги, стала измена Дюмуре.

Рассмотрим, какова была ситуация в этот момент. Республика потеряла всех людей, на чьи способности она могла полагаться в руководстве армиями. Из всей школы генералов, выросших при старом режиме, только Лафайет, со своей слабой натурой, любил свободу, и только Дюмуре остался на стороне французов. Испания, Англия, германские державы — девять союзников — угрожали территории Республики и самому существованию нового режима; гражданская война, которая вскоре приобрела гигантские масштабы, уже успешно началась в Машекуле. Между Конвентом и неминуемой катастрофой стояла только личность Дюмуре. Когда в Париж пришла весть о его дезертирстве, последовавшая за вестью о его поражении, жирондинцы были безнадежно дискредитированы, и линия их политического отступления, преследование их врагов, пролегла в направлении, которое подготовили речи Дантона.

В течение нескольких дней он сам был объектом самых яростных нападок, особенно за свою дружбу с Дюмуре и по вопросу о бельгийских счетах. Ведь он только что вернулся из третьей миссии в армию и был близок к генералу. 1 апреля практически все заседание было посвящено нападкам на него и его защите. Если бы вы сидели в зале в тот вечер, вы бы сказали, что яростный демагог, окруженный небольшой группой еще более яростных друзей, с трудом сопротивляется нападкам честного и лояльного большинства. Но этот демагог был настолько дальновидным, настолько великим среди всех присутствующих в зале, что когда через три дня парламент столкнулся с реальностью, метод Дантона стал единственным решением. Они узнают об измене Дюмуре () и в ночь на 4 апреля Иснар, сам гирондин, предлагает создать комитет. Дантон поддерживает его в полночь решительной речью, на которую не осмелился бы пойти ни один гирондин. Он говорит: «Этот комитет — именно то, что нам нужно, рука, которая возьмет в руки оружие Революционного трибунала».

Идею сформулировал Иснар, но именно Дантон назвал ее «диктатор». Он выступил в полночь и закончил свою короткую речь на рассвете 5 апреля. Ровно год спустя в тот же день диктатор схватил его, и его собственный трибунал приговорил его к смерти.

На следующий день, 5 апреля, вечером, мы начинаем получать те крупные и быстрые меры, которые пришли с новым органом власти. И Дантон говорит с какой-то радостью и сразу же требует таких мер, которые может принять только диктатура — призывая весь народ к обороне, устанавливая максимальную цену на хлеб, даже впервые упоминая о *всеобщей* мобилизации. В воздухе витает такой дух, какой бывает в армии, уверенность в том, что с помощью дисциплины, единства и власти можно сделать все. На следующий день, 6-го, был избран Комитет, а 7-го были зачитаны имена, что показало, что власть окончательно перешла от жирондинцев к тем, кого они отвергли в тот момент, когда Франция прощала все ради Жемаппа. Конвент, нуждавшийся в людях действия, был вынужден отказаться от своих лидеров и обратиться к Дантону.

Имена, которые они услышали, были Баррер, Дельмас, Бреар, Дебри, Морво, Камбон, Трейар, Лакруа и Дантон.

ГЛАВА VI ТЕРРОР

С 6 апреля 1793 года, со дня события, описанного в конце предыдущей главы, в ходе Революции происходит нечто новое. Наконец-то появляется институт.

В природе французского народа (по причинам, которые в некоторой степени можно определить, но обсуждение которых не имеет места в этой книге) лежит то, что его история представляется в особенно драматичной форме. Их приключения, их иллюзии, их насилие, их отчаяние, их достижения, кажется, в сотнях случаев сосредоточены вокруг конкретных людей или определенных заметных действий, так что эти люди и эти действия вписываются в историю, сюжет и интерес которой поглощают читателя. Но если мы пытаемся связать все это в одну цепь, даже если мы пытаемся объяснить причины или значение событий нескольких лет, драматический аспект теряется. Эта особенность, которая так многих очаровала, также ввела нас в заблуждение и сбивала с толку, и в стремлении «бросить свет

прожектора» на центр действия один историк за другим оставили в тени ту безличную слепую силу, которая направляет все.

В Франции этой силой является Институт. Поймите характер и методы его центральной власти, и вы обретете ключ к пониманию ее истории, а именно: события следуют друг за другом в том порядке, который требует Институт, а нация движется по линии, которую определяет Институт. Институт предоставляет точку зрения, с которой все становится понятным, даже детали личности больше не остаются в неясной. Через некоторое время вы обнаружите, что имеете дело с организмом, более простым и гораздо более жизнеспособным, чем любой человек, с силой, которая является по-настоящему живой и гораздо более постоянной, чем может быть монарх или великий министр.

Рассмотрение полудюжины примеров прояснит это. Что такое все эти удивительно драматические события между Пепином Кроком и коронацией Хью, как не путаница? Она перестает быть таковой, когда мы следуем за Фюстелем де Куланжем в трансформации имперской системы. Вы ничего не поймете в X и XI веках, несмотря на весь их личный интерес, пока не поймете феодализм, и общеизвестно, что последующие шестьсот лет являются лишь развитием метода Капетингов. Мы находим силу не в Людовике XI, не в Мазарини и не в Людовике XIV, а во французской монархии. Оглянитесь вокруг себя в наши дни, спросите себя, что воссоздало процветание современной Франции, и вы наверняка не сможете найти какого-то конкретного человека. Эту работу проделала система.

Теперь, как мы видели до сих пор, вся суть революции заключалась в том, что не хватало института. Франция без него была Францией без самой себя: она распалась. Причина этого отсутствия была следующей: монархия, вокруг которой все было сосредоточено, умирала, а социальные теории того времени — великая философия, которой питалась Франция — пренебрегали и презирали институт, полагаясь на неопределенную силу общественного мнения. Главной — я почти сказал бы, единственной — ошибкой Джефферсоновцев в Америке и идеалистов-республиканцев во Франции было то, что они не видели ни необходимости формул, ни справедливой силы систем. Тем не менее, именно инстинкт, который остался в французском сознании, «подсознательное» ощущение того, чем была для Франции институция, вызвало половину насилия того времени. Я не имею в виду, что в речах открыто признавался этот характер — напротив, вражда и разделения, по-видимому, были полностью обусловлены личной ненавистью; но я имею в виду, что в основе лежал невыраженный, но реальный страх, что то или иное предложение создаст постоянную тенденцию, и что успех жирондистов или якобинцев означал отклонение потока в одно из двух расходящихся русел. Здесь, в Англии, живя в условиях устоявшегося и старого порядка, мы удивляемся интенсивности страстей, которые могли вызвать в Конвенте некоторые абстрактные резолюции. Мы перестали бы удивляться, если бы поняли, что в условиях крайней быстроты, с которой перестраивалась вся Франция, несколько согласованных слов, простой принцип, могли придать качество всей будущей истории нации.

Два человека в период Революции поднялись выше потока: Мирабо и Дантон. Каждый из них был способен понять, в чем заключался постоянный характер нации, и каждый приложил все свои усилия, чтобы объединить или сплотить вокруг какого-то стабильного центра новый порядок, к которому оба были привязаны. Одним словом, каждый из них понимал, что такое институт для Франции, и желал придать ему силу и стойкость. Для Мирабо это была монархия. Спас бы он, воссоздал и восстановил эту угасающую власть, которая когда-то была основой нации? Мы не можем сказать. Если бы он остался в живых, 1792 год показал бы нам это; мы знаем только, что если бы монархия в конце концов показалась ему не подлежащей восстановлению, он сразу же предложил бы какую-то аналогичную власть,

чтобы заменить ее. Дантон же выжил; в 1791 году он еще сомневался, «был более монархистом, чем вы, месье де Лафайет», но в 1792 году был твердо убежден, что корона и Франция навсегда расстались. Он сверг дворец, но с того самого момента вся его политика была направлена на создание правящей власти. Именно в этом вопросе он и жирондисты, несмотря на все его личные попытки достичь единства (), были безнадежно разделены. Жирондинцы были нацелены на местную автономию и крайнюю индивидуальную свободу, при которой исчезает центральная власть. С ростом опасности, с собственным опытом Бельгии, Дантон в начале 1793 года становится приверженцем идеи правительства и ничего другого. Он дал ему оружие еще до его появления, создав Революционный трибунал, и хотя Иснар первым предложил его создание, известно, что Дантон возглавил движение, которое привело к учреждению Комитета.

Все правительства Франции с тех пор были его наследниками. Именно Комитет создал централизованную систему, показал, как администрация может распространяться из Парижа, создал прецедент для призыва на военную службу и для всех решительных действий. Эта диктатура так явно спасла страну в момент наибольшей опасности, что под разными названиями французский народ часто возвращался к ней, и редко без успеха.

Весь остаток года, которым занимается эта глава, посвящен истории Комитета. Комитет объясняет и дает нам ключ к каждому действию. Его изменения, люди, которые в нем доминировали, причины, по которым он прибегал к насилию или проявлял милосердие, его главная цель — отразить вторжения — все это составляет центральную часть 1793 и 1794 годов.

Если бы у нас был точный отчет о том, что происходило в этом тайном совете, почти каждое событие можно было бы отнести к нему. Но такого отчета нет. Баррер, всегда непоследовательный, в старости написал бессвязную книгу, в которой есть интересные анекдоты, но которая почти бесполезна для наших целей. Здесь и там мы находим отрывочные анекдоты или неубедительные признания, но двери этой комнаты для нас так же закрыты, как и для современников, которые стояли в прихожей и получали официальные пустые слова Баррера, а позже — Сен-Жюста. Тем не менее, то, что мы можем воссоздать из духа и действий этого совета (), какими бы несовершенными ни были наши усилия, больше объясняет то время, чем любые описания ораторов или толпы.

Действия этого нового исполнительного органа, касающиеся Дантона, быстро меняются в течение года. В первом Комитете девяти Дантон — это все. Он его создал и руководит им. Однако к концу его короткого существования он начинает ощущать давление якобинцев, Робеспьера и Сен-Жюста, победу Горы. Эта потеря власти с его стороны заканчивается роспуском старого комитета, и когда формируется новый — 10 июля — начинается другой период. Число членов увеличивается до двенадцати; затем входят робеспьеровцы. Дантон, по мотивам, которые мы обсудим позже, уходит в отставку, и наступают два неопределенных летних месяца, когда он все еще сохраняет, извне, власть Комитета, но сначала начинает сдерживать, насколько это возможно, тиранию, на которую он вступил. Он уходит в отставку в отчаянии в Арсис, и с его возвращением наступает новая фаза. Комитет наносит яростные удары; террор укоренился; и, проявив великодушие или, возможно, мудрость, Дантон выступает против своего собственного творения. Эти несколько месяцев — зима 1793-1794 годов — показывают нам ту сторону Дантона, которая в то время была наименее понятна, но которая лучше всего определяет его для потомков. Он вкладывает весь свой вес как оратор и, благодаря гению своих друзей, также настраивает газеты против террора. Зная (как он, должно быть, знал), насколько сильным было созданное им механизм, он все же противостоит ему и пытается чисто личной силой, без организации и без исполнительной

власти, ограничить действия Комитета. Он был настолько велик, что в течение нескольких недель его успех висел на волоске. Франция, как мы должны предположить, была с ним. Париж сомневался, но, возможно, был бы побежден (). Когда были казнены жестокие и беспринципные гебертисты, казалось, что он добился успеха, и террор, казалось, закончился. Но у Комитета была более глубокая политика; в ту же неделю, когда пал Гебер, Дантон сам был внезапно арестован вместе со своими друзьями. Насколько Робеспьер разрешил и насколько руководил этими действиями, никогда не будет полностью известно. Комитет нанес удар по единственной силе, противостоявшей ему, и дантонисты были казнены в годовщину его создания.

Первая часть истории Комитета в его отношениях с Дантоном — это период между 6 апреля и 10 июля 1793 года. Это период падения жирондистов; и чтобы прояснить важность новой власти, я воспользуюсь следующим методом:

Сначала в хронологическом порядке изложить события, которые привели к нападению на парламент и изгнанию двадцати двух депутатов; показать, в каком замешательстве находится вся эта история и как трудно (или невозможно) проследить мотивы депутатов или объяснить, почему они поступили так, а не иначе. Затем, в качестве параллельного описания, изложить позицию и действия Комитета и показать, насколько (по моему мнению) его мотивы определяют историю того времени; рассмотреть восстание 2 июня с точки зрения комнаты, где девять членов Комитета вели тайные дебаты, и показать, как с этой точки зрения (которая была точкой зрения самого Дантона) хаос превращается в порядок.

Итак, во-первых, какова была внешняя история движения, которое уничтожило Жиронду? Следует помнить, что когда Конвент впервые собрался в сентябре, подавляющее большинство его членов склонялось к определенному духу. Этот дух лучше всего представляла небольшая группа людей, идеалистов и ораторов, и многие из них, возможно, самые влиятельные, были родом из виноградников мирной южной реки. Теплота, спокойствие и плодородие долины Жиронды () отражались в интонации Верньо. Никто не осмеливался презирать эту преданную группу людей, вся карьера которых была посвящена справедливости и добродетели, и история со всех сторон оставила их героями. Они были родными братьями бессмертной группы, которая создала американскую Конституцию, истинными наследниками Руссо и достойными защищать и, в конце концов, отдать свою жизнь за республиканскую идею. Они ненавидели кровопролитие; они проверяли каждое свое действие по самым чистым стандартам своего вероучения; и с первых речей, в которых они требовали войны, до того дня, когда они пели «Марсельезу» на эшафоте, они ни на йоту не отклонились от пути, который они сами для себя наметили.

Что привело таких людей к конфликту с Парижем и, возможно, со всей Францией? Ошибка заключалась в том, что чистая теория, которую они справедливо считали единственно правильной формой правления, не могла противостоять вооруженной Европе. То, что смогли сделать несколько миллионов человек на побережье американского континента, без границ и без воспоминаний, Франция не смогла сделать в условиях гражданской войны и вторжения в ее границы. Необходимо было пойти на уступки, на компромисс с неизбежным злом. Люди, чувствовавшие реальность, хорошо это понимали. Дантон навязал диктатуру и применил метод террора. Но жирондинцы, хотя и были вынуждены пойти на столь значительные уступки, все же отказались идти по необходимому пути. Они отказались от призыва на военную службу; добровольная армия была единственной приемлемой для свободных людей. Они отказались от дипломатии; она предполагала тайные методы и по своей сути была основана на компромиссе. Они отвергали реквизиции для армии, принудительные налоги, гегемонию Парижа, преобладание таланта или гениальности в комитетах — одним

словом, они отказывались санкционировать что-либо, как бы необходимо это ни было в тот кризис, чего они не санкционировали бы в период порядка и чистой республики.

Результатом этого возвышенного упрямства стала гибель Франции и их самих. Роялисты это поняли и называли себя «жирондинцами»; это великое имя стало ярлыком для любой реакции, и с каждой новой катастрофой Париж все яснее видел сдерживающую руку Жиронды. Ибо именно Париж и его Коммуна взяли на себя руководство попыткой сместить или изгнать людей, возглавлявших парламент. Еще до образования Комитета, 2 апреля Коммуна начала переписку с муниципалитетами Франции — роковой шаг, который так часто предшествовал восстаниям. Для Парижа как центра, для радикального Парижа и особенно для жестокого и неразумного Парижа жирондисты стали ненавистны. Тысячу лет Париж был символом единства, а жирондисты были автономистами и федералистами. Париж был страстным, а жирондинцы — спокойными, как свет. На всю эту вражду Жиронда ответила не силой, а лишь утверждением своего незыблемого права. Весь апрель и май прошел под знаком рассказов о великих бедствиях снаружи и о острой борьбе между правыми и делегацией из Парижа внутри.

Именно когда мы обращаемся к этой борьбе внутри Конвента, возникает путаница, которую можно прояснить, только рассмотрев деятельность Комитета. Особенно это касается действий Дантона. Так, 10 апреля он выступает против преследования тех, кто направил из Халле-о-Бле петицию с требованием отставки Ролана; 13 апреля он произносит знаменитую речь в пользу дипломатических действий в противовес насилию Горы. Однако накануне он также выступил с формальной и хорошо аргументированной речью против ареста и суда над Маратом. Когда этот сумасшедший, с которым его имя так часто связывали, вернулся в триумфе после оправдания, Дантон занял еще более необъяснимую позицию. В то время как все «Горные» кричали от радости, а Париж приветствовал вердикт как первую рану, нанесенную «Gironde» (что, по сути, и было так), Дантон просто сказал: «Мы видим, что Париж так любит Конвент, что аплодирует оправданию одного из его членов» — очень прозрачная речь. 1 мая Дантон был единственным, кто с трезвостью и здравым смыслом выступил против петиции Фобур-Сен-Антуан, которая нападала на права собственности; однако 10 мая он повернулся против Иснара, то есть против Жиронды и умеренных, и добился отклонения предложения о проведении фактически народного референдума по конституции. Таким образом, даже если мы рассматриваем только действия Дантона, мы видим ту же самую путаницу, о которой говорилось выше. Если мы обратимся к почти любому другому члену комитета, то увидим то же самое. Баррер, главный спикер, то принимает одну сторону, то другую. В один момент он целенаправленно нападает на жирондистов, в другой — на петиции из Парижа; в каждом пункте, в действиях каждого видного оратора за пределами двух противостоящих групп, появляется этот неразрешимый клубок.

С 10 мая борьба между Парижем и Жирондой вступила в свою последнюю фазу. Именно в этот день Конвент начал постоянно заседать в маленьком театре Тюильри, где он впервые собрался. Новостью, которая их встретила, была смерть Дампиера и захват Туара венданами. Каждая весть о бедствии (а слухи подтверждались с роковой быстротой) была как масло, пролитое из лампы Жиронды. Их собственные сторонники были потрясены, большая часть Конвента, доверившаяся этим чистым доктринам, испугалась и засомневалась. В течение недели (17-го числа) Коммуна сделала еще один шаг: она приняла свой собственный закон и поставила Буланже во главе вооруженных сил города — сил, которыми она не могла управлять. Позже они отдали это место Анрио. Конвент ответил избранием Иснара своим президентом, а упрямый Гуаде предложил распустить Коммуну, и созвать «просителей» в

Бурж. По этому предложению, в случае разрушения парламента в Париже, существовал бы своего рода запасной парламент, который взял бы на себя его работу. Если бы это предложение было принято, гражданская война, которая бурлила в Лионе и разгорелась в Вандее, охватила бы всю Францию.

Но в этот момент комитет Дантона снова вступает в дело со своими странными смешанными действиями. От имени Баррера он выступает против предложения и вместо этого предлагает назначить двенадцать членов, таких же жирондистов, как им угодно, для суда над Коммуной, для «расследования». Комиссия была назначена и действовала в соответствии с тщательно выработанными принципами, поспешно и без разбора, как и можно было предсказать, ибо такова была слабость жирондистов. Против армии, которую собирала коммуна, все, что она могла предложить, — это удвоить охрану сержанта в Тюильри, в то время как она раздражала своего врага, приказав арестовать Эбера.

Эбер был единственным человеком в революции, о котором враги говорили правду. В Эбере было что-то от карманника, но не только от карманника. Он был также богохульником, атеистом, человеком, наслаждающимся самыми грязными словами и самыми трусливыми или жестокими поступками. Его известность была обусловлена двумя вещами. Во-первых, он был памфлетистом того времени, «Пер Дюшеном». Франция еще не осознавала опасность свободной прессы. Во-вторых, в парижском возмущении против «умеренных» самые крайние и наименее рациональные из них по необходимости стали своего рода символом, подчеркнутым типом и были выдвинуты вперед как вызов. Не будет преувеличением сказать, что сами жирондинцы, своей безмерностью, выдвинули Эбера на первый план.

Такие меры, как те, которые были приняты «двенадцатью», были лишь топливом для пламени восстания. Снова появляется Дантон, на этот раз против Жиронды. На требование о создании большой гвардии из представителей департаментов он ответил: «Вы принимаете постановление, потому что боитесь!» На что с правой стороны раздался голос с некоторой долей юмора: «Я боюсь». Дантон добился своего, гвардия не была сформирована, и на следующий день (25 мая) неосторожность Иснара привела к катастрофе.

Дело было в прошении об освобождении Эбера. Иснар поднялся со стула, поднял руку и произнес своим гулким голосом слова, которые обогатили историю за счет его страны: «Если произойдет такое, как покушение на представителей нации, я говорю вам от имени всей Франции, что очень скоро люди будут искать на берегах Сены доказательства того, что Париж когда-то существовал». Дантон вмешался, но ничего не смог сделать. Перчатка была брошена. Он попросил отозвать эти слова, но большинство жирондистов подтвердило их. Два дня спустя он добился освобождения Эбера, но, хотя на мгновение ему пообещали роспуск «Комиссии двенадцати», его усилия не увенчались успехом, поскольку комиссия была немедленно восстановлена. В ночь с 30 на 31 мая секции назначили новую, восстающую коммуну; на один день опасность была отвращена, и можно увидеть, как Дантон, по-прежнему столь труднопонятный, подталкивает комитет, в то время как Баррер предлагает примирительное послание Франции, документ, в котором не обвинялись ни жирондисты, ни Париж, и двенадцать были распущены. Но окончательного удара избежать не удалось. 2 июня в Париж пришла весть о контрреволюции в Лионе. Конвент был окружен; Анрио, во главе городской милиции, охранял подходы к нему, выстроив коридоры. Даже в тот момент, когда Иснар предложил уйти в отставку и произнес свою великолепную речь с извинениями, Жиронда в целом осталась твердой. Неуступчивый янсенист Ланжуэне с героической глупостью предложил «декрет о роспуске властей Парижа» в тот самый момент (), когда эти самые власти удерживали двери с закрепленными штыками; но, несмотря на требование Баррера о осуждении Анрио, несмотря на требование Дантона о «сигнальном

наказании», Конвент уступил и проголосовал за арест не только двадцати двух человек, которых требовала Коммуна, но и двадцати девяти, а также Верньо, Барбару, Гаде, Ле Бруна и Клавьера (которые номинально были министрами); Ролана (который бежал, а его жена была заключена Коммуной) — в общем, весь корпус тех великих ораторов, которые создали Республику, — были изгнаны из Ассамблеи, некоторые были помещены под почетный арест в своих собственных домах, некоторые бежали и подняли гражданскую войну в департаментах. Коммуна предложила равное количество заложников, но они были отвергнуты; и до конца дня парламент был уничтожен, а препятствие для диктатуры и террора было устранено.

Таково краткое изложение падения жирондистов — история противоречий и неразрешимых конфликтов, в которой в течение двух месяцев люди (особенно члены нового комитета) кажутся меняющимися стороны, колеблющимися и колебаться, в которой большинство с поразительной быстротой переходит на сторону якобинцев и в которой (по-видимому) единственными двумя неподвижными точками являются неизменные фигуры жирондистов и их противников из Коммуны.

Я знаю, что эта путаница обычно приводила писателей к тому, что они с такой же путаницей объясняли восстание и его мотивы. Чтобы распутать этот клубок, по-видимому, было необходимо сделать Робеспьера пророком, Иснара — трусом, Баррера — искусным дипломатом, а Дантона — колеблющимся. Такой метод мне кажется ложным. Если, чтобы объяснить сложный период в истории, мы заставляем людей вести себя так, как это противоречит всей их жизни, то мы (как мне кажется) впадаем в заблуждение. Эти специальные теории являются механическими и не удовлетворяют ум.

Вопрос заключается в следующем: где-то существовала власть; почему эта власть не проявлялась ни на одной, ни на другой стороне? И почему мы не видим, как она действует? Я полагаю, что ответ заключается в следующем:

Эта сила была в Комитете. Комитет считал необходимым избавиться от жирондистов. Но Комитет был частью Конвента — существование и авторитет Конвента были для него необходимы. С одной стороны, он видел группу парламентских лидеров, которые не позволяли ему действовать энергично, с другой — он замечал гневный настрой Парижа. Комитет позволил этому духу действовать, но дал ему меру и направление, неизвестные ему самому, желая устранить умеренных, но стремясь избежать их запрета, изгнания или смерти. С этой подсказкой лабиринт, как мне кажется, разрешен. Именно Комитет изгнал жирондистов, используя Париж в качестве своего орудия.

Теперь, чтобы доказать это, необходимы определенные шаги. Во-первых, почему мы можем сказать, что Комитет был центром власти? Потому что только он имел доступ к полной информации о Франции, только он проводил тайные дебаты и только он существовал с явной целью диктатуры. Как только генералы, депутаты, находящиеся в командировке, и полиция ознакомились с новым органом, они стали обращаться к Комитету так же естественно, как сегодня соответствующие лица обращаются к кабинету министров или монарху. Если читатель взглянет на любую часть документа, напечатанного в [Приложении XI](#) к этой книге, на который я буду постоянно ссылаться в этом отрывке, он сразу же поймет, что люди, которые его составили, имели в своих руках все рычаги государственной машины. Я не утверждаю, что эта власть возникла сразу 6 апреля, но два месяца, за которые был составлен такой отчет, были достаточным временем, чтобы развить соответствующее влияние на армию, дипломатию и внутренние ресурсы революционной Франции. Где еще вы найдете

такой документ во всех канцеляриях того времени? По сравнению с ним решения министерства являются расплывчатыми абстракциями, а отчеты Коммуны — детскими шалостями или бреднями. Революционную Францию до образования Комитета можно сравнить с болотом, в котором вода не стекает ни в один центр; информация, доходы, государственные силы были несогласованными и застойными. Создание этого тайного органа можно сравнить с ямой, вырытой в его центре, в которую вода сразу же начала стекать. Можно возразить, что они не контролировали финансы. Нет, но у них был Камбон. В собрании людей, новых для правительства, эта очень сложная область сама собой перешла в руки человека, гениальность которого признавали все, а честность которого не отрицал ни один из его врагов. Задолго до восстания любой человек, обладающий информацией, властью или выполняющий особые обязанности, научился считать Комитет своим начальником по той простой причине, что другого центра власти не существовало. Добавьте к этому неисчислимую силу секретности, власть, с помощью которой самые вопиющие провалы наших кабинетов можно скрыть, просто сказав: «Мы знаем то, что все остальные игнорируют», и будет разумно сказать, что к июню Комитет мог бы, если бы захотел, почти созвать армию в Париж. Комитет тогда обладал властью.

Во-вторых, мы должны установить, насколько это возможно, цели Комитета и его методы руководства восстанием. Как уже говорилось ранее в этой главе, эти цели и методы можно установить только путем умозаключений; сама природа органа, который совещается в тайне, делает этот метод расследования необходимым. Прямых доказательств нет, если только противоречивые анекдоты гораздо более позднего периода не могут быть названы таковыми. Теперь мы можем с некоторой точностью сделать вывод о том, что происходило на их заседаниях. С самого начала следует отметить документ, о котором я уже упоминал и который, если я не ошибаюсь (), впервые печатается в этой книге. Это был первый из тех общих докладов, которые Баррер представлял Конвенту в течение следующих шестнадцати месяцев и которые так глубоко повлияли на ход Революции. В нем подводятся итоги двух месяцев удивительной работы; все — все слабости Франции — отмечено с точностью топографической съемки. В нем приводятся данные об оснащении, снабжении, местных трудностях каждой армии, подробное состояние флота (самая плачевная картина), результаты, очевидно, тщательно разработанной системы шпионажа в области иностранных интриг, и везде очевидно обвинение: «все, что до сих пор управляло Францией, безнадежно провалилось». Конечно, в отчете есть вежливые упоминания о некомпетентности старого режима, но наряду с ними есть прямые нападки на министров войны Жиронды и на дипломатические, или, скорее, недипломатические методы, которые применялись за рубежом; действительно, многие части этого доклада не были бы неуместны, если бы они появились в *Compte Rendu*, составленном победоносным восстанием, а не предшествовали, как это было, падению Жиронды.

Опять же, есть дата его появления. Не случайно Барреру дали его прочитать 29 мая. Обратите внимание на эту последовательность. Инар прочитал свою роковую речь в субботу, 25 мая. В понедельник, 27 мая, Дантон предпринял попытку распустить «двенадцать», а его провал последовал во вторник, 28 мая, когда, благодаря слепоте или твердости Жиронды, они были восстановлены. Именно в среду, 29 мая, Баррер поднимается в конце долгой и бурной дискуссии и, поздно днем, представляет свой доклад. Неясные фразы о важности единства, содержащиеся в нем, заставили некоторых предположить, что это была попытка примирения, быстро придуманная и выдвинутая в этот критический момент. Это мнение, безусловно, ошибочно. Он длинный (около 17 000 слов) и тщательно подготовленный; его составление, должно быть, заняло некоторое время, и он имеет все признаки оружия, созданного в свободное время и держащегося в запасе; он появляется в этот момент с такой

силой, как будто Комитет, Дантон, обращается к Жиронде со словами: «Вы отказались сделать то, что было абсолютно необходимо Франции. Вы отвергли мои попытки спасти вас, пути, которые я открыл для вашего спасения; вам было дано поручение двенадцати; вы фатально злоупотребили этим даром. Убедит ли вас в последний момент эта картина ужасного положения, в которое вы привели нацию?»

Наконец, мы можем сделать довольно убедительные выводы, основываясь на наших знаниях о членах Комитета и их публичных действиях. Из всех девяти членов Комитета Дантон был самой авторитетной личностью. Камбон был специалистом, и если бы не он и Линде, честный, но не оратор, то были бы только Дантон и его люди. Можно утверждать, что Баррер не был дантонистом, но он был в значительной степени податлив; его податливость была общеизвестна и по незнанию получила еще худшее название. Кроме того, Баррер день за днем проводил время с Дантоном; они занимались одним и тем же вопросом в комитете (вопросом иностранных дел) и следовали точно одному и тому же курсу в трибуне. В Департаменте войны работал Делакура, друг и правая рука Дантона. Что касается самого доклада, то вся последняя часть и, возможно, некоторые абзацы в середине были составлены Дантоном. Позже мы увидим, что его превосходство было общеизвестным и представляло для него опасность.

Итак, поскольку Дантон и Комитет были почти идентичны, можем ли мы описать мотив, который им двигал? Думаю, можем. «Histoire des Brissottins» Демулена, безусловно, не была вдохновлена Дантоном. Камиль написал эту смертоносную брошюру под присмотром Робеспьера. Но Фабр д'Эглантин в якобинском клубе 1 мая, призывая жирондинцев «уйти и вернуться, когда все уладится», почти использует фразу самого Дантона: «Qu'ils s'en aillent, et qu'ils reviennent profiter de notre victoire» («Пусть они уходят и возвращаются, чтобы воспользоваться нашей победой»). Все, что он и Баррер говорят с того момента и до 2 июня, кажется, подпадает под эту формулу. Он допускает нападение Коммуны, но при этом делает все, чтобы смягчить его силу. Он постоянно выступает в защиту, но он и его комитет отказываются действовать, и если он когда-либо говорил слишком резко, давал жирондинцам слишком много власти, то он несколько отступает в сторону Коммуны. Он похож на человека, открывающего шлюз в дамбе болотистой местности: за его спиной — море; он допускает и играет с его силой, но если его расчет неверный, оно может хлынуть и захлестнуть его. Он позволил Парижу нанести удар и создал тиранию; и толпа столицы, и диктатура были обречены вырваться из его рук.

По моему мнению, это и есть причины падения жирондистов. Я так подробно остановился на них, потому что период с 31 мая по 2 июня 1793 года является не только одним из самых горячо обсуждаемых, но и одним из самых важных в истории Революции. Я не уделил ему слишком много места, поскольку от понимания того, что привело к восстанию и что его позволило, без всякого сомнения, зависит наше окончательное суждение о позиции Дантона.

Итак, даже в самом начале своего существования Комитет дает ключ к пониманию сложного периода Революции. По мере продвижения исследований становится все более необходимым обращаться к этому центральному органу за разгадкой тайн того времени; и, как мне кажется, в его первом общем отчете мы находим первое объяснение этого сложнейшего движения, восстания 2 июня.

После исчезновения Жиронды перед Дантоном стояла чрезвычайно сложная задача. Он собирался попытаться управлять людьми, которым он сознательно позволил вступить в борьбу. При изучении его карьеры чрезвычайно важно оценить условия этой задачи.

Подумайте на мгновение о том, что он сделал. С помощью аргументов, угроз и, в конце концов, с помощью толпы он сделал революционное правительство реальностью. Именно в этом последнем союзнике мы находим причину его будущего провала. До сих пор он боролся с конкретными людьми, не давая небольшой группе политиков препятствовать революционным мерам, с другой стороны, умиротворяя крайних членов Конвента рассчитанными вспышками симпатии. Такая задача не казалась бы никому невозможной, если бы он сразу же имел четкую цель и гениальный подход к ее достижению. Но после 2 июня дело обстоит иначе. Он развязал бурю и, с гордостью человека, чувствующего свою силу внутри и снаружи (для интриг и для речей), решил сознательно пойти напролом. Это был просчет. Нечто, напоминающее стихийную силу, нечто вроде землетрясения или потока лавы, противостояло его индивидуальной воле; и Дантон, который среди политиков был как мужчина среди мальчиков, в присутствии этих новых сил стал как одинокий путешественник, борющийся вечером с нарастающей бурей в горах. С этого момента мы увидим, как он тщетно использует против страстей 1793 года способности, хитрость, красноречие и энергию, которые так долго приносили ему успех среди государственных деятелей. Они будут сметены, как коряги, потоком народного безумия, которое он сам и развязал. Комитет будет сформирован из новых членов, террор будет расти с каждым днем, революция начнет приобретать тот характер фанатизма, который был прямо противоположен плану Дантона, и он уйдет в отставку разочарованный и побежденный. Он вернется, откровенно не соглашаясь с эксцессами, и в искупление этой ошибки здравомыслия он умрет.

Месяцы, в течение которых он ведет эту проигрышную битву, — это жаркие месяцы 1793 года (. Я не буду отрицать, что в течение этого лета его имя было более заметным, чем в любой другой период его жизни. Я признаю, что если рассматривать историю как зрелище, то кульминация 1793 года должна отличаться его голосом и присутствием. Но именно это очарование живописности сделало его жизнь необъяснимой, и биограф не смеет оставить ее такой. Хотя июнь, июль и август полны его речей, его предупреждений и даже его энергии, я все же говорю, что он день за днем терял свою власть и скользил вниз. Он привлекает внимание, потому что перед лицом такой катастрофы он удвоил свою энергию; но даже эта удвоенная энергия меркнет перед духом, который одухотворял Террор.

Сначала о июне: это был еще период надежды, и он все еще считал себя хозяином. Он добавил в Комитет, не считая их опасными, а скорее в качестве умиротворения, пять членов Горы. Среди них были двое, которые должны были привести к гибели всю его систему — Кутон и Сен-Жюст. Возможно, чтобы смягчить их действия, а может быть, просто потому, что он был другом, он включил в состав Комитета Эро де Сешель. Эти имена были типичными для того, что должно было произойти в 1794 году, когда по воле Сен-Жюста Эро был изгнан из Комитета и отправлен на смерть вместе с самим Дантоном.

Не подозревая, к чему приведет это дополнение, не подозревая также, какой отзвук 2 июня может вызвать в провинциях, Дантон продолжал свой путь, как будто восстание было лишь одним из многих событий. Министр Ле Брун день за днем приводился охранниками для участия в обсуждениях, а затем возвращался под стражу в свой дом. Можно было бы подумать, что «нравственное восстание», о котором говорил Робеспьер, привело лишь к «нравственному подавлению» жирондистов. Более того, все эти июньские дни проходят под знаком все еще сохраняющегося господства Дантона. Он продолжает применять свои два основных метода, а именно: сильное тайное правительство и умеренность в применении его тирании, как будто ситуация поддается его воле. Так, 8 июня он говорит в отношении декрета против иностранцев: «Я покажу вам такого-то иностранца, проживающего во Франции, который гораздо больше патриот, чем многие французы. Поэтому я говорю вам, что, хотя

принцип наблюдения за иностранцами хорош, вы должны направить это предложение в комитет и обсудить его там». Снова, два дня спустя, он отказывается признать агрессивную позицию Горы по отношению к Бордо. Он даже хвалит этот город в то время, когда он практически восстал, чтобы защитить своих проскрибированных членов. В течение той же недели он продолжает говорить о Вандее как о единственном центре восстания. Он по-прежнему остается старым Дантоном, хотя жирондинцы поднимают знамя гражданской войны со всех сторон, и он продолжает прилагать те непрерывные усилия и идти на компромиссы, которые так много спасли осенью 1792 года и которые сейчас так мало могут сделать.

В комитете они разработали Конституцию 1793 года — этот великий памятник демократии, который так и не занял своего места в истории и никогда не повлиял на жизнь людей. Он стоит как идол великой красоты, который путешественники находят в пустынном месте; его религия исчезла с лица земли; вокруг него нет руин; в день, когда он был воздвигнут, люди, которые его воздвигли, были изгнаны из того места, которое должно было стать центром их поклонения. То, что Дантон все еще был у власти, когда результат обсуждался в парламенте в третью неделю месяца, очевидно из двух вещей: во-первых, из того, что Конституция с ее широкими гарантиями индивидуальной свободы и местной автономии, с ее либеральным духом, столь близким великой мечте Кондорсе, столь противоположным узкому фанатизму якобинцев, была определено предназначена для умиротворения растущих страстей гражданской войны. Две трети Франции, по крайней мере сельские районы, вооружались, потому что Париж осмелился тронуть представителей нации. Конституция была брошена как заложник; люди, которые видели необходимость диктатуры, фактически сказали: «Насилие, которое вас оскорбляет, длится лишь мгновение. Вот что мы желаем с возвращением мира». И этот документ настолько отвечал сердцу Франции, что преуспел.

Второе доказательство того, что Дантон все еще держал бразды правления в своих руках, заключается в следующем: советы, которые он дает во время обсуждений Конституции, не являются ни советами насилия, ни льстивыми, а советами умеренного здравого смысла; и лучший пример таких советов, которые принимает Конвент, можно найти в речи о праве объявлять войну. В те дни абстракций было трудно убедить Ассамблею, что нация в целом не может осуществлять такое право без безнадежной путаницы. Однако Дантон добился своего. Итак, этот июнь, столь полный ужасных внутренних опасностей, в течение которого Бузо собрал армию жирондистов в шестидесяти милях от Парижа, в течение которого Нормандия была в полном восстании, в течение которого Лион напал на Республику и в течение которого контрреволюция, казалось, была на грани вспышки, — этот месяц все же остался месяцем Дантона. Он был уверен в своем общественном положении, поскольку даже победители 2 июня, жестокие экстремисты, не могли помешать ему осуществлять свою дипломатию за рубежом и миротворческий компромисс во внутренних делах.

Он также был уверен в том, что было для него гораздо важнее — я имею в виду его дом. Его разум достаточно успокоился после шока, который свел его с ума в феврале, чтобы он мог следовать совету, который оставила ему его покойная жена. 17 июня он женился во второй раз. Эта женщина не подходила Дантону. Она не любила его, и, вероятно, он не любил ее. У них было двое маленьких детей, которых его первая жена, чувствуя, что умирает, зимой оставила сиротами. Старшему было всего три года. Эта добрая женщина, католичка и набожная, зная своего мужа и понимая, насколько ему нужен дом, решила дать своим сыновьям религиозное образование и найти для мужа католичку. Она убедила его жениться на своей младшей подруге, мадемуазель Гели. Гели. Этот случай, который вызывает сомнения, но который в целом я принимаю, не кажется мне доказательством насилия

неконтролируемой привязанности, а, напротив, показывает своего рода безразличие, как будто Дантон сказал себе: «Это нужно сделать, и лучше сделать так, чтобы как можно меньше обидеть семью». Я имею в виду историю о его браке перед священником, не присягавшим королю. В любом случае, этот брак свидетельствует о решимости и уверенности. Он по-прежнему был хозяином своей судьбы и самого себя.

Но он пробудил дух, слишком сильный для него. Июль должен был это доказать.

Июнь, который стал свидетелем подъема восстания жирондистов, также стал свидетелем его частичного умиротворения и подавления. Как мы уже говорили, главной причиной такого успеха стала Конституция, спешно импровизированная для этой цели, но в июле оставались более опасные, чем когда-либо, иностранное вторжение и три выдающиеся оплота гражданской войны — Лион, Тулон и Вандея. Именно против них и их растущего успеха, против мятежников и захватчиков был полезен террор, и именно из-за их непрерывного прогресса террор принял такие страшные масштабы.

Ранее в этой главе я сказал, что Дантон, введя и укрепив диктатуру революционного правительства, поступил как человек, намеренно открывший шлюз, за которым находилось все море. Существовал элемент неопределенности в отношении шансов, на которые он поставил успех своих усилий, и, столкнувшись с неудачами, он вскоре обнаружил, что силы, которые он высвободил, вышли из-под его контроля. Возможно, он думал, что результаты 2 июня будут более быстрыми, чем они были на самом деле. На самом деле потребовалось много месяцев, чтобы восстановить положение, которое было утрачено из-за бездеятельности жирондистов. За эти месяцы революционное правительство как бы кристаллизовалось, стало постоянным и попало в руки экстремистов.

В тот самый день, когда нормандское восстание было подавлено в Верноне, нормандская девушка заколола Марата. В рамках этой книги нецелесообразно подробно рассматривать судьбу человека, которого Дантон называл «l'individu». Этот яркий и живописный эпизод интересует нас только в том отношении, что он стал мощным импульсом для системы террора, который такой человек, как Дантон, со всем своим умом, не мог предвидеть. Более того, в тот же день, когда был убит Марат, союзные войска вошли в Варшаву, и нет сомнений, что успех этого гнусного деяния дал им больше свободы действий, по крайней мере на французской границе. Майенц пал, и его падение стоило жизни первому мужу Жозефины. Союзники пересекли Рейн. Пять дней спустя, 28 июля, пал Валансьен. В тот же момент испанцы вторглись на восток и запад от Пиренеев, а пьемонтцы пересекли Альпы. Из небольшой типографии в Ньюкасле (семья типографа до сих пор жива и может рассказать эту историю) Питт печатал тысячи поддельных ассигнаций, чтобы разрушить Республику. Пять иностранных армий оккупировали территорию Франции, а в конце следующего месяца испанский и английский флоты были допущены в гавань и арсенал Тулона. Пусть будет признано, что, за исключением, возможно, римской империи после Канн, ни одна держава в истории не была так близка к гибели, как революционная Франция тем летом.

Посмотрим, как несчастья страны отразились на положении Дантона. Уже в начале июля он почувствовал на себе давление и ограничения со стороны растущей силы якобинской доктрины и ее верховного жреца. Его система примирения, его попытки (в значительной степени успешные) скорее уговорить, чем подавить восстание, были подвергнуты резкой критике в дебатах 4 июля. Гнев против жирондинцев, который смерть Марата усилила до такой степени, привел к появлению доклада Сен-Жюста 8 июля, который, хотя история и назвала его умеренным, все же упоминает обвинение Верньо и Годе, и Дантон был вынужден

с неохотой поставить под ним свою подпись. Два дня спустя старый комитет, в который он входил, был распущен, и был избран новый.

Было бы ошибкой рассматривать это как простую отставку со стороны Дантона; было бы столь же ошибочно рассматривать это как резкую критику со стороны Конвента. Несомненно, он решил уйти, потому что роковая необходимость отдавала власть людям, о которых он не имел высокого мнения. Так 27 июля в комитет вошел Робеспьер — тот самый Робеспьер, о котором Дантон в частной беседе мог сказать: «У этого человека не хватает ума, чтобы сварить яйцо». И все же это был человек, которого так почитала толпа, что, войдя в комитет, он был обречен стать хозяином Франции. Можно заметить, что с датой вступления человека в комитет и начала его руководства им, казалось, было связано нечто роковое. В день, когда Дантон вступил в комитет в 1793 году, в тот же день он был гильотинирован в 1794 году. В день, когда Робеспьер вступил в комитет в 1793 году, в тот же день в 1794 году он пал.

Дантон оставался чуть больше месяца, все больше и больше отдаляясь от управления делами, все больше и больше теряя симпатию к людям, которые руководили правительством. Тем не менее, он оставался почти советником и, безусловно, с чистой бескорыстностью на протяжении всего августа. Он был один. Демулен в тот момент был ближе к Робеспьеру, чем к нему. Вестерман, его великий друг и союзник 10 августа 1792 года, подвергся осуждению за поражение в Вандее. Но, находясь в таком положении, Дантон на мгновение предстает в особом блеске. Действительно, нет ни одного действия в его общественной жизни, которое было бы столь же ясным, столь же типичным для его метода или столь же успешным, как его великая речь 1 августа. Как будто, освободившись от забот о политических интригах и от ответственности за исполнительную власть, он впервые в своей жизни смог высказать свои мысли полностью и ясно. Речь является, так сказать, кратким изложением всех его заявлений о необходимости диктатуры и методах, которые она должна использовать. Она вращается вокруг следующей фразы: «Я требую, чтобы Комитет общественной безопасности был преобразован в Временное правительство». Он открыто заявил, что, хотя и просил абсолютных полномочий для Комитета, он отказывается когда-либо вновь вступать в его состав. Он указал им на необходимость объединить всю власть в руках одного органа, создать единое командование для нации, находящейся в состоянии войны. Людям, которые так долго терялись в дискуссиях о конституционных сдержках и гарантиях, он говорил о необходимости так, как генерал говорит со своим штабом. Если вы прочитаете эту речь до конца, вы обнаружите, что это самое ясное изложение причин и методов действий Франции во всех ее опасностях с того дня до наших дней. За этой речью, которая является кульминацией его карьеры и которая стоит у истоков столь многого в современной нации, в течение всего месяца последовало множество практических и подробных советов. Он всегда говорит спокойно и всегда с конкретной целью, о предложениях в области образования, о великой воинской повинности (14 августа), о введении абсолютной военной дисциплины (15 августа) и так далее. Но в то время как он все еще находится в этом положении, блеск и успех которого обманули некоторых, заставив их думать, что это был центр его карьеры, происходили две вещи, которые привели к странному кризису, в результате которого он потерял жизнь. Во-первых, террор начал использоваться для целей, отличных от целей национальной обороны. Во-вторых, на него навалились вялость и болезнь. Кажется, он целый месяц, с середины сентября до середины октября, не участвовал в дебатах. В его жизни внезапно возникла необходимость в отдыхе, и пока она не была удовлетворена, он производил впечатление слабого и разбитого человека.

Это усугублялось отчаянием, поскольку он видел, как дипломатические методы были заброшены в отношениях с иностранными государствами, а личные цели мистиков, частная

месть кровожадных или бред безумцев захватили абсолютную систему, которую он разработал и создал ценой своих титанических усилий. Именно в этот период Гарат видел его и оставил нам картину его величественного тела, согнутого болезнью, и его маленьких глубоких глаз, наполненных слезами, когда он говорил о судьбе, которая преследовала жирондистов, и о том, как он не мог их спасти. Именно тогда, медленно прогуливаясь с Демуленом на закате у Сены, он сказал с дрожью, которой никогда раньше не испытывал: «Река течет кровью».

С октября террор обрушился на всю Францию по указу, принятому месяцем ранее. Подозреваемые арестовывались справа и слева, и страна вступила в один из тех периодов, которые омрачают историю и оставляют пробелы, которые многие люди не осмеливаются восполнить чтением. Он сломался и бежал в поисках покоя в свой родной город. Оттуда Великая Мать, для которой он был самым верным сыном на протяжении всей революции, отправила его обратно, чтобы он выполнил милосердие и здравомыслие Природы, как до сих пор он выполнял ее энергию.

Эта книга — жизнь человека, а человек — это его разум. Дантона, который не оставил после себя ни мемуаров, ни даже писем, о жизни которого мы так мало знаем за пределами политики, можно интерпретировать, как и любого другого человека, только с помощью разума. Мы должны искать истоки, хотя у нас есть только пара фраз, которые могут нас направить. Что же было той медитацией в Арси, из которой вытекла безнадежная надежда «Vieux Cordelier» и «Комитета снисходительности»?

Он уже был болен; огромная энергия, которая безрассудно изливалась потоком, внезапно иссякла. Гарат видел его слабым, неуверенным, отказывающимся выходить из кабинета, с беспокойством в глазах. Он утратил контроль над ситуацией; все, что он считал, или, вернее, знал, что будет фатальным для Республики, сбывалось, и всякая справедливая концепция, всякий баланс были в опасности. Это, хотя и не было причиной его усталости, совпало с ней и придало его печали оттенок отчаяния. В его душе всегда жило повторяющееся желание вернуться к полям и рекам; оно свойственно всем, кого природа одарила своим высшим даром — энергией. В этот момент он жаждал своего родного края, Шампани после сбора урожая и осенних туманов над Обом. Именно в таком состоянии, утомленный, отчаявшийся, больной и нуждающийся в деревне, как измученный жаждой человек нуждается в воде, он попросил и получил разрешение покинуть Конвент. 12 октября, как раз когда начиналась самая страшная фаза террора, он покинул шум и суету города и направился на восток, в прохладную долину Марны.

Начиная с этого момента, с его усталости и тоски по дому, мы можем проследить движение его мыслей в течение шести недель его отдыха. Он восстановил здоровье с той быстротой, которая так часто характерна для людей его типа; он обрел вокруг себя мирную любовь, прекращение споров и самообороны, которых его душа не знала с первых дней 1789 года (). С ним была его старая мать, а также его дети, воспоминания о его собственном детстве. Это место освежило его, как сон; он снова стал активным и веселым компаньоном, каким был четыре года назад, долго сидя за столом и смеясь со своими друзьями. Окно комнаты на первом этаже выходило на Гранд-Плас, и до сих пор ходят рассказы о том, как он в Арсисе превратил это окно в своего рода место встречи для проходящих мимо знакомых, с которыми он болтал и задавал вопросы, интересуясь всем, кроме политических волнений, в которых гигант изматывал себя. Он с большим уходом ухаживал за садом и заботился о ферме, в которую вложил деньги, полученные в качестве компенсации за свою дореволюционную

должность. Он с удовольствием встречался со старыми друзьями своего отца, мэром, местными чиновниками. Этот человек, который нам кажется таким типичным для своих соотечественников, нигде не бывает более французом, чем в своем доме. Маленький провинциальный городок, *любовь к родному краю*, перспектива ухода на покой в провинции, где ты родился, — вся эта картина сегодня повторяется повсюду в том классе, из которого вышел Дантон.

Кроме того, когда покой вернулся в его душу, он увидел, уже не беспокоясь, а со спокойствием и уверенностью, путь, лежащий перед Республикой. Необходимость сдержанности, которая раздражала и преследовала его в дни лихорадки в Париже, превращалась в устойчивую и обдуманную политику; он начал изучать положение Франции, как карту; ни шум, ни клевета не мешали ему, и его метод действий по возвращении развивался с той же ясностью, которая отличала его первую позицию на выборах в Париже. Даже его друзья не могли сказать, насколько быстро работал его ум. Один из них решил принести ему хорошую новость и рассказал ему о смерти жирондистов. Дантон был в своем саду и говорил о местных делах, и когда ему рассказали об этом, его смутная репутация, «ужасный Дантон- » и страх, который он внушал, заставили их ожидать какой-то похвалы. Он повернулся, как будто его ударили ножом, и резко воскликнул: «Не говори ничего. Вы называете это хорошей новостью? Это ужасное несчастье... Оно угрожает нам всем». И никто не понял, что происходило в его голове. Это была та же нота, которую услышал Гарат, а позже Демулен: «Я сделал все, что мог, чтобы спасти их; как бы я хотел, чтобы я смог их спасти!»

Любые другие новости, доходившие до Арсиса в те страшные месяцы, только укрепляли его в его новом отношении. Если бы он был хоть в малейшей степени окрашен мистицизмом, который был так распространен в то время, он почувствовал бы в себе миссию. Но он был шампанцем, полной противоположностью мистика, и видел только задачу, которую нужно было спланировать и выполнить с помощью разума. Возможно, если бы он был более воодушевлен, чем те, с кем ему предстояло сразиться, он мог бы добиться успеха.

21 ноября он вернулся в Париж. Он восстановил здоровье, полную силу, и в первые дни его возвращения в политику раздался призыв, которого ждала вся нация. А что только не натворили фанатики за эти недели его молчания! Лион, королева, жирондинцы, жена Ролана — сама политика сошла с ума, и он вернулся, чтобы сразиться с фуриями.

Позвольте мне описать ту путаницу партий, через которую Дантону пришлось пробираться на своем пути к восстановлению свободы и порядка. Что касается самого Конвента, номинально являвшегося хозяином, то он практически не имел власти. Он предпочитал следовать то одной, то другой тенденции или человеку; в один момент поддавался влиянию страха, в другой — политики, и постоянно — революционных лозунгов. Одним словом, им руководили. Как и любое крупное собрание, он не обладал инициативой. Над ним и в борьбе за власть находились: во-первых, комитеты, Комитет общественной безопасности и его слуга, Комитет общей безопасности — правительство и полиция (). Как мы знаем, именно Дантон хотел сделать комитеты верховными, он создал их как институт, центральное правительство. Но к этому времени они стали деспотией, недоступной для контроля, которого всегда желал Дантон. Чтобы спасти столь могущественный механизм от опасностей амбиций, он ушел в отставку в июле. Его жертва или бездеятельность оказались недостаточными. Комитет, который когда-то был Дантоном, теперь стал триумvirатом — Робеспьером, Кутоном, Сен-Жюстом. Он преследовал их личные цели, поддерживал террором их личное кредо. Тем не менее Дантон не желал уничтожать его как систему. Он хотел изменить его методы и сменить его состав, чтобы он постепенно превратился в мирное

и упорядоченное правительство, ради которого были созданы Революция и Республика. По странной необходимости рабочие, люди, которые по духу были наиболее близки Дантону, практические организаторы в Комитете, такие как Карно, Приер и Линде, не могли не защищать его во всех деталях. Они понимали необходимость оставаться на своих постах и опасались, вполне обоснованно, что если фракция Робеспьера будет устранена, их работа может быть внезапно прервана. Именно потому, что они были практичными и недалекими, они противостояли практичной, но дальновидной политике Дантона. Они опасались, что с прекращением террора армии останутся без новобранцев, комиссариат — без продовольствия, а казна — без налогов.

Против Комитета выступала Коммуна. Эбер в худшем проявлении, Клуц в лучшем, Паш в самом честном. Этот необычный орган представлял дух, очень близкий к анархии. Он проповедовал атеизм как своего рода догму, был нетерпим ко всему, был так же безумен, как Клуц, и так же грязен, как Эбер. Он обладал странной смесью двух видов ярости — ярости за единство и защиту Франции и ярости за автономию Парижа. В апатии, охватившей избирателей, эта небольшая и безумная группа управляла городом. Но комитеты не были такими, какими были жирондинцы. Нельзя было запугать или запретить Карно, Сен-Жюста, Камбона, Жана Бона. С помощью фатального давления более сильного борца комитет подавлял Коммуну. Террор оставался в любом случае. Но с верховной властью Комитета это был террор системы, направленный на поддержание тирании, чистый деспотизм, работающий на определенные цели. Если бы Коммуна преуспела, это означало бы, что террор сошел с ума, гильотина убивала бы ради убийства — и навсегда.

Третьей стороной в борьбе был Робеспьер. Он также желал террора, но намеревался использовать его, как и любую власть во Франции, для достижения определенной цели — определенного идеального состояния, о котором он получил откровение и пророчество от которого он был. О его целях и характере я расскажу, когда дойду до его действий после падения Дантона. Здесь достаточно указать, что из трех действующих сил только Робеспьер обладал личностью, которая ему помогала. У него была охрана, группа защитников. Они были внутри и руководили самим Комитетом; они были мистиками в момент сильного воодушевления, и, как бы нереальна ни была мечта их вождя, робеспьеристы были обречены на успех, если бы сила реальности, «холодная вода», пришедшая с возвращением Дантона, не разрушила их надежды. Поэтому, по сути, хотя никто, даже сам Дантон, этого не видел, в конечном итоге борьба развернулась между ним и Робеспьером.

Каков был план Дантона? Он вложил в свою новую задачу способности, хитрость и гибкость, которые он потерял лишь на мгновение летом. Во-первых, Эбер и «разъяренные» должны были уйти — они были самой гнусной формой духа, который, по его мнению, разрушал Республику. Затем Комитет должен был быть постепенно ослаблен. В этой задаче он надеялся, достаточно тщетно, сделать Робеспьера своим союзником. И, наконец, конечной целью всего его замысла было окончательное прекращение террора (). Он создал диктатуру для конкретной цели; эта цель была достигнута. Была одержана победа в Ватиньи, захвачен Лион; вскоре должна была быть уничтожена Вандея и даже пасть Тулон. Было невыносимо, что аномальная и крайняя система, созданная для спасения государства, должна была продолжаться в интересах нескольких теоретиков или нескольких сумасшедших. Сколько уже сделала его машина — эта машина, которая, к ужасу своего создателя, обрела собственную жизнь! Она убила королеву после шокирующего суда; она оттолкнула от себя то, что осталось от симпатий Европы; она поразила жирондистов, и Дантона преследовал вдохновенный голос Верньо, поющего «Марсельезу» на эшафоте; она привела к массовым убийствам в провинциях. Он боялся (и позже его опасения оправдались в Нанте), что

сентябрь может повториться с дополнительным ужасом юридических форм. Террор, наконец, вновь поднял вопрос, который из всех других мог бы наиболее легко разрушить государство. Группа людей притворилась, что навсегда искоренила католицизм, и то, что Дантон проклинал как «Masque Anti-Religieuse», осквернило Нотр-Дам. Он был полон решимости обратить этот поток в русло разума; он собирался, без правительства, полиции или системы, лишь с помощью своего голоса и своих способностей, реализовать Революцию, положить конец диктатуре и начать эру процветания и довольства.

Первые шаги были успешными. В ночь своего возвращения Робеспьер выступал в якобинском клубе с речью против атеизма и в защиту великой идеи Бога, но уже через двенадцать часов, на следующий день, голос Дантона задал новый тон. Это произошло во время обсуждения вопроса о выплате пенсий священникам, которые последним декретом были лишены своих должностей и заработной платы. Дантон высказался с величайшей решимостью по этому простому вопросу, и Конвент с восторгом слушал свежие фразы, которые так долго были ему незнакомы. Он фактически сказал: «Если вы не выплатите эту сумму, вы будете преследователями». В этой речи есть такие фразы, как: «Вы должны понимать, что политика может достичь успеха только тогда, когда она сопровождается какой-то причиной... Я настаиваю на том, чтобы вы пощадили кровь людей, и прошу Конвент быть, прежде всего, справедливым ко всем людям, за исключением тех, кто является явными и открытыми врагами Республики». Четыре дня спустя он пошел еще дальше, и Конвент по-прежнему следовал за ним. По вопросу, который был ему наиболее близок, он высказался прямо. Ришар жаловался на Тур. Он сказал, что муниципалитет этого города арестовывает «подозреваемых» направо и налево и даже напал на него самого. Дантон сказал в речи из десяти строк: «Пора Конвенту научиться искусству управления. Направьте эти жалобы в Комитет. Он избран, или, по крайней мере, должен быть избран из элиты Конвента». Позже в тот же день он высказался по поводу нелепой процессии, которая стала модной в то время из-за насилия. Это была делегация гебертистов, принесших из парижской церкви украшения алтаря. Как уже известно, Коммуна приказала закрыть церкви в Париже, и попытки повторить такие сцены копировались во всех крупных городах Франции. Он сказал: «Пусть больше не будет таких маскарадов в Конvente... Если люди здесь и там хотят доказать свое отречение от католицизма, мы не здесь, чтобы им мешать... мы также не здесь, чтобы их защищать... Террор по-прежнему необходим, революционное правительство по-прежнему необходимо, но народ не требует таких безразборных действий. Мы имеем дело только с заговорщиками и с теми, кто ведет переговоры с врагом». Фаян протестовал, воскликнув: «Вы говорили о милосердии!», как будто такие слова были кощунством. Но Дантон возвращал себе прежнее положение и возглавлял Конвент. Его успех казался несомненным. 3 декабря (14 фримайра) он подвергся яростной атаке со стороны якобинцев (), но сумел устоять. Робеспьер защитил его в речи, которая была истолкована как проявление умелого предательства, но которую с равной справедливостью можно рассматривать как попытку удержаться между противоборствующими сторонами; и в течение двух недель после своего возвращения Дантон, который обладал прямолинейностью целей и быстротой действий, предвещавшими Наполеона, достиг всех стратегических целей своей атаки.

Ему помогли события, или, скорее, он их предвидел. Вандейцы, двигавшиеся скорее как толпа, чем как армия, были захвачены в Ле-Мане 13 декабря. 7 декабря генерал Бонапарта изгнал англичан и испанцев из Тулона. 26-го новость дошла до армии, командование которой только что было передано Хоше, и, как будто имя Бонапарта несло с собой судьбу, были взяты линии Виссембурга, освобожден Ландау, австрийцы перешли Рейн.

Все эти победы были союзниками партии снисходительности. Люди, которые говорили: «Террор не имеет *смысла*, кроме как для национальной обороны», обнаружили, что выражают то, что чувствовала вся Франция. После таких успехов оставалось только добавить: «Нация в безопасности; террор может закончиться». Дантон уже призвал на помощь, так сказать, резерв в лице гениального Демулена. Вышел первый номер «*Vieux Cordelier*», и этот журнал читал весь Париж.

Клуб, в котором мы видели истоки славы Дантона, теперь был лишь клубом эбертистов и не более того. Брошюры, которые Камиль издавал под руководством Дантона, получили название, которое могло напомнить о его положении и политике старых времен. И действительно, два человека, наиболее заинтересованные в новой политике милосердия, были из своего дома в Кур-дю-Коммерс, сердце «Республики Кордельеров». В истории Революции, во всех отрывках ее «*»* красноречия и гениальности, нет слов, которые сегодня поражали бы нас так, как слова этих шести памфлетов, распространенных зимой II года. Доказательством ясного видения Дантона, его сильного влияния является то, что далекое потомство, удаленное от страстей 1793 года, нашло свое выражение в призывах, написанных его другом и составляющих Завещание индულгентов.

Первые два номера были направлены исключительно против эбертистов. Робеспьер, занимавший должность в Комитете общественной безопасности и движимый собственной амбицией, был готов согласиться. Он сам корректировал корректуры. Но 15 декабря появился знаменитый номер III, который разлетелся по Парижу как вестник, сделав для реакции то же, что великие речи сделали для свободы в клубах в первые дни Революции. Немногие люди заботились о голосовании, но каждый читал «*Vieux Cordelier*». Для тех, кто никогда не слышал о Таците, перо Тацита было убедительным. Толпа женщин прошла перед парламентом, плача по братьям и мужьям, которые заполняли тюрьмы; «Комитет милосердия» был на грани образования; и, совпадая с победами и появлением Дантона, требование Демулена тянуло за собой не только Францию (поскольку Франция уже была убеждена), но даже столицу. Именно тогда Комитет, который был единственным правительством, испугался. Робеспьер все еще колебался. Он мог добиться успеха только через комитеты; но Демулен был его другом; в «*Vieux Cordelier*» было обращение к «старому другу по колледжу», которое тронуло его сердце и его тщеславие; они сидели вместе на скамейках Луи-ле-Гран, и Робеспьер, кажется, сделал честную попытку помочь ему тогда. Четвертый номер появился 20-го, пятый (написанный в Рождество) — 8 января.

Якобинцы осудили Камилля, и Робеспьер, чьи глаза ума, как и глаза тела, были столь же пристальными и близорукими, как глаза ума, испугался. Люди, настроенные на жесткость, предупредили его в комитете; теперь, когда он пытался защитить Камилля, он видел ярость якобинцев: чего он не видел, так это Францию. Возможно, если бы его взгляд был более дальновидным, его не привели бы шесть месяцев спустя на гильотину. Он попытался пойти на компромисс и сказал: «Мы не будем изгонять Камилля, но сожжем его журнал, наказав его поступок, но не его самого». Камиль ответил словами Руссо: «*Brûler n'est pas répondre*» (Сжечь — не значит *ответить*). Его не стали защищать.

Битва была ожесточенной. Демулен продвигал свою атаку с помощью смелой пехоты памфлетов; Дантон из Конвента время от времени наносил тяжелые удары артиллерии; наступление было непрерывным; когда почувствовалась остановка, которая оказалась

прелюдией к катастрофе и показала, что за линиями противника стоит сила комитетов. В середине января, сразу после защиты Демулена в якобинцах, был арестован Фабр д'Эглантин, друг и бывший секретарь Дантона. Дантон тщетно вкладывал в его защиту всю новую энергию, которую он обнаружил в себе. Тщетно он даже призывал к «праву депутата защищать себя в суде». Как и все организованные правительства, Комитет мог привести государственные причины для этого молчаливого действия. Дантон был побежден, и Конвент впервые с момента его возвращения покинул его.

Ему оставалось жить еще семь недель. Демулен продолжал нападать, но Дантон знал, что дело проиграно. Он знал силу этого могущественного совета, первые усилия которого он сам сформировал, и когда он увидел, как тот поднялся в поддержку продолжения террора, когда он увидел, как тот объединился с Робеспьером, он потерял надежду. Политика Комитета становилась все более определенной. Один из его членов (Эро де Сешель) был другом Дантона: они изгнали его. Тихо, но со всей своей силой, они отстранили правительство от обеих сторон. Комитет и Робеспьер решили сразу же, когда представится случай, нанести удар как по тем в Коммуне, кто хотел использовать террор в своих целях, так и по тем в Конвенте — дантонистам, кто хотел положить ему конец.

Дантон по-прежнему выступает с трибуны, но в его речах больше нет агрессии. Он скромно и хорошо защищает практические предложения, которые появляются в парламенте по вопросам образования, отмены рабства, положений о предоставлении залога в новой судебной системе и так далее. Но в его поведении есть нечто ожидающее. Он ждет внезапной атаки, которая должна произойти и которую он не может предотвратить. Он держится начеку, но Комитет работает в тайне, и он не знает, с какой стороны ему защищаться. Последняя личная беседа с Робеспьером не увенчалась успехом, и оставалось только ждать и смотреть, боятся ли они его настолько, что осмелятся арестовать. Удар был нанесен в Вентозе, то есть в первых числах марта.

Эбертисты, раздраженные тремя месяцами нарастающих оскорблений, которые их старый союзник Комитет отказывался мстить, подняли открытый бунт. Каррье вернулся из Нанта, где он совершил настоящую эбертистскую резню, и в Кордельерах почувствовали, что общественное осуждение уничтожит их, если они не поднимутся. Осенью они имели бы на своей стороне Комитеты, но решительные действия индულгентов разрушили этот союз. Они решили поднять восстание. На этот раз Коммуна должна была раз и навсегда победить правительство. Решение было принято в Кордельерах 4 марта — через десять дней они были арестованы. Комитет провел их через формальный суд. Менее чем через три недели после первых разговоров о восстании Эбер, Клуц и остальные были гильотинированы.

Среди дантонистов было много тех, кто считал это триумфом своей политики. «Насильники, энраже мертвы. Это мы сделали». Но Дантон был мудрее своих последователей. Он знал, что Комитет ждал такой возможности и что за ударом по левым последует удар по правым. Обе оппозиции были обречены. У него оставался только один шанс — они могут не осмелиться.

По случаю ареста эбертистов он произнес благородную речь о примирении и единстве, что было его постоянной политикой — речь, которая была направлена на Париж, несмотря на фракционность.

Но на той неделе они решили арестовать его и его друзей. Панис узнал об этом и сразу же послал предупредить его. Он застал его в ночь последнего дня марта 1794 года сидящим в своем кабинете с молодым племянником, угрюмым и молчаливым. Его жена спала в

соседней комнате. В квартире над ним Камилла и Люсиль не ложились спать. В доме было тихо. Панис вошел и рассказал ему о решении комитета. «Ну и что же?» — сказал Дантон. «Ты должен сопротивляться». «Это означает кровопролитие, а я устал от этого. Я лучше буду гильотинирован, чем буду гильотинировать». «Тогда, — сказал Панис, — ты должен бежать, и сразу же». Но Дантон все еще мрачно качал головой. «Свою страну не унесешь с собой на подошвах ботинок». Но он снова пробормотал про себя: «Они не осмелятся — они не осмелятся». Панис оставил его, и он снова сел ждать, потому что в душе знал, что ужасная машина, которую он сам создал и с которой он так героически боролся, может осмелиться на все, что захочет. Они оставили его молчаливым в темной комнате. Время от времени он подбрасывал дрова в огонь; внезапное пламя освещало его уродливое, сильное лицо: он склонился над теплом, неподвижный, с воспоминаниями о семи годах в сердце.

ГЛАВА VII СМЕРТЬ ДАНТОНА

Ночью вооруженная полиция прибыла в Пассаж-дю-Коммерс; одна часть патруля приставила мушкеты к земле и остановилась у выходов с улицы, другая вошла в дом.

Демулен услышал, как приклады ружей ударились о каменные плиты, и легкий звон металла, предвещающий появление солдат; он повернулся к жене и сказал: «Они пришли арестовать меня». А она держалась за него, пока не потеряла сознание и ее не унесли. Дантон, оставшийся один в своем кабинете, встретил арест без слов. В последующей трагедии едва ли найдется шаг, который не был бы отмечен его комментариями, всегда справедливыми, иногда резкими; но сам удар не вызвал ни слова. Слова были для него оружием, и он не был из тех, кто наносит удар, не подняв щита.

Их отвели в Люксембург, совсем рядом, чуть выше по холму. Мы знаем, как Дантон вошел в зал тюрьмы своей внушительной, твердой походкой и встретил, почти первым из своих сокамерников, Томаса Пейна. Автор «Права человека» подошел к нему, несомненно, чтобы обратиться к нему на плохом французском языке^[140]. Дантон опередил его, говоря на английском, которым он владел довольно хорошо.

«Мистер Пейн, — сказал он, — вам посчастливилось отстаивать в своей стране дело, которое я больше не смогу отстаивать в своей» (). Он помнил здравый и умеренный взгляд Пейна по поводу суда над королем и завидовал тому, чья личная свобода осталась незатронутой узами должности, кто никогда не был вынужден 2 июня и не должен был скрывать в частных беседах свои опасения за жирондистов. Затем он добавил, что если его пошлют на эшафот, он пойдет туда с радостью. И так и сделал. Вот такой был француз в отличие от своего английского друга.

Больё, который слышал его, рассказывает, что он также обратился к заключенным вокруг него и сказал: «Господа, я надеялся вытащить вас из этого, а теперь сам оказался здесь; я не вижу выхода».

Так заключенные вошли под тревожным взглядом реакционеров, для которых, как и для многих наших современных писак, один лидер революции ничем не лучше другого — Лакруа, Вестерман (сильный солдат с огромным телом, превосходящим даже Дантона) и Демулен. Когда они прошли в свои отдельные камеры, поскольку было решено не допускать

их общения, маленький дух старого зла^[141] использовал мощный яд аристократии, неопровержимую отповедь ранга, и, оглядев Лакруа с ног до головы, сказал: «Из этого парня получился бы отличный кучер». Он и ему подобные разрушили бы Францию, чтобы воплотить эти слова в жизнь.

До рассвета 11-го герминаля они содержались в отдельных комнатах. Но это место не было построено для тюрьмы. Лакруа и Дантон, находившиеся в соседних комнатах, могли разговаривать, повышая голос, и у нас сохранился фрагмент их разговора. Лакруа сказал: «Если бы я когда-нибудь мечтал об этом, я мог бы предотвратить это». И Дантон, с той самой долей фатализма, которая не позволяла ему быть амбициозным, ответил: «Я знал это»; он знал это всю ночь.

Существовала сила, более сильная, чем любовь — личный и общественный страх. Глупо высмеивать или даже неправильно понимать этот страх. Имущество, семьи многих, недавно приобретенное достоинство всех, и прежде всего новая нация — сколько раз все это подвергалось опасности из-за того, что народный кумир оказывался неверным. Песни 1790 года были все для Людовика, многие хвалили Бейли; какое место когда-то занимал Лафайет! Кто мог сказать что-либо против Дюмуре восемнадцать месяцев назад? Победы только начались — едва ли достаточно, чтобы заставить людей усомниться в терроре. «Старый кордельер» вел, а не следовал за мнением, так как именно великий центр энергии должен вести, а не следовать за временем. И люди говорили: откуда нам знать, почему его арестовали и по чьему указанию? Как мы можем сказать, какова позиция нашего надежного компаса правды, нашего Робеспьера, в этом вопросе? И так далее. Тогда ничего не было сделано, но Париж был очень близок к тому, чтобы подняться на борьбу.

Таким образом, были две собирающиеся силы: одна неопределенная и большая, другая маленькая, но упорядоченная, и от результата их столкновения зависела жизнь Дантона — можно ли сказать (зная будущее) жизнь Республики?

Теперь борьба с Европой преподавала Комитету главный урок. Возможно, следует добавить, что бурная боевая мощь нации и эпохи заставила Комитет прибегнуть к определенному методу, проявившемуся в армиях, в мерах, в речах: это был метод немедленного обнаружения самого слабого места в линии противника и отказа от всего остального с целью сосредоточить всю свою силу и нанести решающий удар. Так что их потомки сегодня в своей новой армии практикуют замечательное сосредоточение артиллерии, которое можно наблюдать осенью на маневрах.

Что представляла собой линия противника? Неясная, беспорядочная толпа — Париж; недисциплинированный Конвент, лишенный лидеров, не знающий партийных правил. В чем заключалась его слабость? В отсутствии инициативы, в том, что, пока кто-то не высказывался, никто не мог быть уверен в силе корпоративного чувства (). Кроме того, из-за общественных сомнений в то время люди были как песчинки; но песок был как порох, и речь всегда была той искрой, которая позволяла сходствам этого пороха объединиться в яростную силу. Нужно было нанести внезапный удар и потушить огонь, пока он не набрал силу; так и был дан отпор.

Утром 12-го герминаля собрался Конвент, и каждый смотрел на своего соседа, а затем, как будто боясь, отводил взгляд, чтобы посмотреть, думают ли другие так же, как он. Наконец один человек осмелился заговорить. Это был мясник Лежандр^[142]; позже он колебался, поддавшись смеси обмана со стороны других и сомнений в себе самом, но следует помнить, к его чести, что он почти спас Революцию своим честным словом. «Пусть Дантон выступит перед Конвентом», — было его откровенное требование; оно было вполне разумным, но

роковым образом открыло его защиту и дало возможность нанести самый опасный удар в году II — обвинение в стремлении к привилегиям и в ослаблении правительства, которое явно спасало государство на границах.

В тот день председателем был Таллиен, и он ответил Робеспьеру. Робеспьер не был хорошим фехтовальщиком. Высшая финта, окончательное обезоруживание мнения, была оставлена более способному человеку. Рано утром он ушел из комитета домой, в дом Дюплея; как мономаньяк, почти не нуждающийся во сне, он снова появился на раннем заседании Конвента. Но, будучи плохим оратором, он не смог воспользоваться такой легкой возможностью. В речи, которая дважды была встречена аплодисментами, он утверждал, что Лежандр потребовал привилегию. Он затронул тему, которая больше всего доминировала в умах присутствующих. «Мы здесь, чтобы защищать принципы или людей? Дайте право голоса Дантону, и вы дадите волю необычайному таланту, вы запутаете вопрос сотнями воспоминаний, вы позволите предвзятости дружбы. Пусть человек защищает себя доказательствами и свидетелями, а не красноречием и чувствами». Однако он не добавил — возможно, он едва ли знал — что воспоминания и дружба лишь уравнивали бы прямую вражду, а свидетели и доказательства были бы отвергнуты. Он снова использовал тот аргумент правительства — разве они не спасли Францию? Разве они не были главой полиции? Разве они не знали в прошлом, что делали? Он заверил их, что немного подождя, они тоже придут к убеждению. Этого не произошло, но время было выиграно; уже половина Конвента сомневалась.

Лежандр, сбитый с толку, запнулся с ответом; он признал ошибку и попросил Робеспьера не понять его неправильно. Он мог отвечать за Дантона так же, как за себя, но, конечно, нужно было доверять трибуналу. Это было почти извинение.

На это изменчивое, сомнительное мнение с силой стальной формы ответил твердый, высокий голос Сен-Жюста.

Сен-Жюст говорил редко. В одной из предыдущих частей этой книги упоминалась речь против жирондистов. Еще раз будет упомянута энергичная и почти удачная попытка спасти Робеспьера. То, что ему было поручено защищать действия Комитета в тот день, является ярким доказательством того, насколько они контролировали ситуацию. Баррер никогда не смог бы убедить неблагосклонную общественность. Робеспьер мог ответить на растущий энтузиазм лишь сухими и точными фразами. Но Сен-Жюст обладал пламенем своей молодости и энергии, и его душа жила в его устах.

Отчет, даже когда мы его читаем, отличается красноречием. Произнесенный им, с его исключительной красотой, его прямой и решительной осанкой, он перевесил чашу весов. Тон аргументации был выбран как нельзя лучше; кроме того, он без сомнения отражал его собственное мнение: оно было таким. «Последняя из фракций должна быть уничтожена; только одно препятствие стоит между вами и признанием Республики^[143]. Мы снова и снова действовали внезапно, но снова и снова мы действовали правильно и по достаточным причинам — так же, как и сейчас. Спасая Дантона, вы спасаете личность — кого-то, кого вы знали и кем восхищались; вы оказываете уважение индивидуальному таланту, но разрушаете то, что вам почти удалось достичь. Ради одного человека вы пожертвуете всей новой свободой, которую вы дарите всему миру». Далее следует страстная апострофа, в которой он обращается к Дантону, как будто тот стоит перед ним, столь же впечатляющая, как и параллельный отрывок в четвертой речи против Катилены.^[144] Если бы Дантон был присутствовал, он был бы мужчиной против мальчика: громким и сильным голосом, не

агрессивным в высказываниях, но мощным в фразах и в подаче, персонажем, впечатляющим своей силой на колеблющееся мнение. Если бы Дантон ответил, его слушатели сказали бы с моральным убеждением, которое сильнее доказательств: «Этот человек — главный любитель Франции».

Но такова риторика, ее ложность и ее успех — пробелы молчания превратились в убедительную силу. Обвинения не встретили ответа; они остались эхом живого голоса; ответы на них могли быть сформулированы только в молчаливых умах аудитории. Живой голос победил.

И, как мы уже сказали, Сен-Жюсту помогала сильная убежденность. Он был человеком, который забывал и преувеличивал все недостатки страсти, но он верил в факты, которые приводил. Не так Робеспьер. Робеспьер предоставил заметки для доклада Сен-Жюста^[145], и Робеспьер, должно быть, знал, что он все исказил в своих интересах. Робеспьер был человеком добродетельным и верным только своему идеалу, а не своим собратьям. Робеспьер не обманывал себя, когда писал, но он обманул Сен-Жюста, и поэтому молодой «архангел смерти» говорил с дополнительной силой веры, которая как ничто другое легко переходит от губ к ушам. Можно ли в этом сомневаться? Есть одна фраза, которая убеждает. Когда он заканчивает, рассказывая им, что они спасают, жертвуя одним идолом, когда он описывает Республику, он использует фразу, общую для всех апостолов, великолепную «*les mots que nous avons dits ne seront jamais perdus sur la terre*» — то, что они сказали, никогда не будет потеряно на земле.

Все закончилось. Никто не голосовал; требование Комитета было принято без ропота. Конвент больше никогда не был хозяином самому себе; он заставил себя замолчать и осудил себя^[146].

Тем временем в Люксембурге магистрат Денизо готовил все к суду. Каждому заключенному был задан формальный вопрос о его виновности, и каждый отвечал «*non*» (нет), но Дантон добавил, что умрет республиканцем, а на вопрос о своей защите ответил, что будет защищать себя сам. Затем, в половине двенадцатого, их перевели в Консьержери.

С этого момента его позиция становится позицией человека, борющегося, как мы знаем по кризису августа 1792 года и мобилизации армий. Будучи, как всегда, готовым видеть реальные, а не мнимые условия, он признавал смерть с единственной возможностью спасения. Он гораздо лучше, чем бедный Демулен, знал силу государственного аппарата; он чувствовал его хватку и сомневался в каком-либо исходе. Для Демулена народ был делегатом власти; для Дантона народ был тем, кто должен был править, но не правил. Чтобы снова жить, выйти на арену и спасти жизнь Республики, народ должен был услышать его голос, иначе факт существования правительства был бы сильнее всех прав и записанных законов в мире.

Он был похож на человека, перед которым стоит враг, а рядом с ним стоит пассивный и растерянный сильный, но глупый союзник. Его союзником был народ, а врагом — Смерть.

Поэтому в его словах и поступках в течение следующих четырех дней мы видим два вида: те, которые обращены к смерти, и те, которые обращены к его союзнику. Там, где он хочет тронуть дух толпы — в том, что было для их ушей — мы видим справедливого, практичного и красноречивого человека, извиняющегося за чрезмерную горячность, говорящего то, что должно поразить сильнее всего — оратора, но оратора, который, безусловно, использует законное оружие.

Но есть и другая сторона. Во многом из того, что он сказал в тюрьме, во всем, что он сказал по дороге на эшафот, он просто обращается к Смерти и бросает ей вызов. Самое сокровенное в человеке, запас расы, проявляется без сдерживания; он становится галлом. Эта самая несеверная привычка бросать вызов, особенно вызов неизбежному и сильнейшему, обычай его расы и их спасение, растет на его губах.

Он оскорбляет Смерть, он шутит; его язык, никогда не бывавший целомудренным или стеснительным, приобретает смех Рабле, и (опять же, как у Рабле) он облакает всю ситуацию в полдюжины слов.

Так мы видим его, прислонившегося к окну своей тюрьмы и кричащего Вестерману в соседней камере: «О! Если бы я мог оставить свои ноги Кутону^[147], а свою мужественность Робеспьеру, все еще могло бы продолжаться». И снова, когда Лакруа сказал: «Я сам подстригу себе волосы на шее, чтобы палач Сансон не вмешивался в это», Дантон ответил: «Но Сансон все равно будет вмешиваться в позвонки твоей шеи». Так он встречает смерть широким потоком слов; и чтобы цивилизация, привыкшая скорее к сдержанности, поняла, что это значило для него, мои читатели должны обратить внимание на его мощные ремарки в адрес Демулена и Эро, совпадающие со страшной каламбуром, с помощью которого он пытался поднять упавший дух д'Эглантина.

Также в своей тюрьме этот прямой росток французской почвы «часто говорил о полях и реках». Шекспир должен был бы дать нам сцены смерти, полные такой энергии, вызова, грубости, привязанности и великого мужества.

В Консьержери они провели остаток дня в ожидании суда, и на этот раз Дантон сидел рядом с Вестерманом, которому и Демулену он сказал: «Мы не должны ничего говорить, кроме как перед комитетами или на суде». Его план состоял в том, чтобы тронуть народ публичной защитой, но его враги у власти разработали контрплан и, как мы увидим, опередили его.

Демулен, «цветок, выросший на Дантоне», все еще был в замешательстве. Так он и остался до конца; у подножия эшафота он не мог понять. «Если бы я только мог написать № VII. Я бы перевернул ситуацию»^[148]. «Это дуэль Коммода; у них есть копье, а у меня даже тростника нет». К этому человеку, равному ему по возрасту^[149], но по духу — мальчику по сравнению с ним, Дантон всегда проявлял и продолжал проявлять особую привязанность. Он относился к нему как к младшему брату и никогда не заставлял его страдать от тех жестоких истин, которые были знакомы всей Франции и большинству его друзей из его уст. Так и теперь, и на суде, и по дороге на эшафот, его единственной попыткой было успокоить горькую ярость и вспышку Камиля.

Есть две фразы Дантона, которые были отмечены в этот первый день, проведенный в Консьержери, и которые нельзя опустить, хотя по форме они не соответствуют его стилю, но по духу могут быть его; это, по-видимому, воспоминания о чем-то более длинном, названном Вестерманном.

Первая: «В такой-то день^[150] я потребовал учреждения революционного трибунала. Я прошу прощения у Бога и у людей».

Вторая: «Я оставляю все в беспорядке; лучше быть бедным рыбаком, чем вмешиваться в искусство управления людьми». Вот вам настоящий Дантон — воспоминание о каком-то сильном и страстном высказывании, выраженном в этой нехарактерной для него и пословичной форме. Его настоящее чувство — весь он: безразличный к жизни, увлеченный

интересами жизни, прежде всего будущим Революции и Франции, осознающий беспомощную неполноценность людей, которых он оставил после себя. И в конце фразы это тоже он; это дух великой усталости, которая дважды одолевала его, как сон одолевает спортсмена после дня соревнований. Вскоре это обрело форму благородной фразы: «Nous avons assez servi — allons dormir» («Мы достаточно послужили — пойдем спать»).

13-го числа (2 апреля 1794 года), около десяти утра, их привели перед трибунал.

Начался суд.

Не следует думать, что только дантониисты предстали перед трибуналом, чтобы ответить за свою политику. При Робеспьере (а позже, когда он стал единоличным правителем, это было ужасно злоупотреблено) возникла практика смешивания вопросов. По крайней мере, три группы были судимы вместе, и умеренные сидели между двумя ворами — Д'Эглантин, обвиняемый только в растрате, Гузман, Фрейсы, как обычные воры и шпионы Республики, были соединены на одной скамье. Всего четырнадцать человек сидели в следующем порядке: Шабо, Базир, Фабр, Лакруа, Дантон, Делоне, Эро, Демулен, Гузман, Дидерихсен, Филиппо, д'Эспаньяк и два Фрея. Д'Эглантин занимал «кресло», и видно, что *пятеро* — умеренные — были тщательно разбросаны.

Эта политика была сознательной; она проводилась с целью предвзятого отношения общественности к обвиняемым. Не было позволено, чтобы каждая группа была отделена от других в обвинении и в методах защиты. Их тщательно связывали между собой люди, обвиняемые в двух из трех преступлений.

Герман был председателем трибунала и сидел лицом к подсудимым; по обе стороны от него сидели Массон-Денизо (Masson-Denizot), Жозеф Фуко () Фуко (Foucault) и Браве (Bravé), помощники судьи. Говорят, что Вулло (Voullaud) и Вадье (Vadier) из нижнего комитета появились за скамьей, чтобы посмотреть на врагов, которых они поймали в свои сети. Семь присяжных сидели в ложе слева от судей: Рено (которого Демулен тщетно пытался опротестовать), Дебуассо, Триншар, Дикс-О, Люмьер, Ганне, Субербьель[151], к которым следует добавить Топино-Лебрюна, чьи записи составляют, безусловно, наиболее яркий фрагмент, по которому мы можем восстановить картину происходящего. Конечно, присяжные были переполнены[152]. Частью теории революционного правительства было то, что никакие случайные элементы не должны были портить его абсолютную диктатуру. Это был практически суд судей, абсолютный и без разделения властей.

За столом между председателем и заключенными сидел Фукиер-Тенвиль, государственный обвинитель; и, наконец, справа от судей находилась открытая часть зала суда и дверь в комнату для свидетелей.

Здесь проходил новый процесс с большой и определенной вероятностью оправдания, сцена, подобная которой не видели уже год и больше не увидят в этой комнате. Люди, сидящие на скамье подсудимых, были хозяевами, а один из них — создателем суда, который их судил; они были явно выше и могущественнее своих судей и имели за спиной огромный, хотя и неформальный вес популярности. Они были общественными деятелями первого ранга; их судьи и прокурор были известны как простое создание небольшого комитета. Более того, ходили слухи, что Конвент еще может передумать, и даже среди присяжных было ясно, что возникнет дискуссия.

Благодаря любопытному свидетельству мы знаем, что Комитет общественного спасения () действительно опасался декрета или переворота, которые уничтожили бы его власть. Эта

записка хранится в архивах, это меморандум о решении, принятом Комитетом ранним утром 13-го или поздно вечером 12-го.

«Написать Анрио, чтобы он издал приказ о том, что президент и прокурор Революционного трибунала не подлежат аресту».

Затем другим почерком:

«Пусть четыре члена подпишут это».

Наконец, меморандум утвержден еще одной рукой:

«13 герминаля. — Полицейский забрал это в тот же день»^[153].

Таким образом, можно видеть, что комитет отнюдь не был уверен в своей позиции. Он действительно добился через Сен-Жюста декрета, запрещающего Дантону выступать в суде Конвента и разрешающего его суд, но для того, чтобы довести дело до конца, им требовалось проявить крайнюю осторожность. Как мы увидим, им это удалось — но лишь с трудом.

Весь первый день (13 герминаля, 2 апреля 1794 года) прошел в формальных вопросах и чтении обвинений. Камиль, когда его спросили о его возрасте и месте жительства, дал богохульный и яркий ответ, который удовлетворил драматическое чувство, но не был правдивым ответом на главный вопрос.

Дантон дал столь часто цитируемый ответ: «Я Дантон, известный среди революционеров. Скоро я не буду жить нигде, но вы найдете мое имя в Вальгалле». Другие ответы, за исключением ответа Эро, не содержали никаких фраз.

Тем не менее, Гусман мог бы сделать свое утверждение более убедительным, если бы в тот момент сказал: «Я Гусман, гранд Испании, который приехал во Францию, чтобы вкушать свободу, но был арестован за кражу»; а два Фрея упустили исторический момент, не ответив: «Мы Юлий и Эмануэль Фрей, бывшие дворяне Империи под титулом фон Шёнфельд, а теперь простые евреи, нанятые императором в качестве шпионов».

Общественный прокурор зачитал обвинительное заключение. Сначала он подробно изложил отчет Амара об Индийской компании. Детали обвинений, которые стоили Фабру жизни, не нужно здесь приводить. Достаточно сказать, что это было обвинение в коррупции, в том, что он за деньги подавил или изменил декрет Конвента, принятый осенью предыдущего года, и был соучастником в получении дополнительных доходов, которые это сделало возможным — одного из тех жалких дел, которыми Панама и Южная Африка наводнили современную Францию и Англию. Это пример методов трибунала, который Фукье сумел привлечь к ответственности Демулена за то, что тот однажды сказал: «Люди жалуются, что сейчас не могут заработать деньги, а я зарабатываю их достаточно легко».

Вторая группа, Фрейсы, Гусман, лишенный сана священник Д'Эспаньяк и датчанин Дидерихсен, были обвинены в том, что они, будучи иностранцами, работали против успеха французской армии и в то же время набивали себе карманы. В случае с тремя из них обвинение, вероятно, было правдивым. В это было легче поверить из-за иностранного происхождения обвиняемых, поскольку Франция была полна шпионов, а имя некоего непокорного барона де Барца делало этот список еще более правдоподобным.

В конце концов, небольшая группа, на которую они на самом деле нацелились (членов которой они уже смешали с ворами), была обвинена ни на чем более конкретном, чем

доклад Сен-Жюста, то есть фактически на записках Робеспьера. Дантон служил королю, привёл народ на место, где его убили в июле 1791 года, не выполнил свой долг 10 августа и так далее — скучное и бесполезное резюме невозможных вещей, в которые никто не верил, кроме, возможно, Сен-Жюста и группы фанатиков. На этом день закончился, и их отвели обратно в тюрьму.

На следующий день, 14 герминаля (3 апреля 1794 года), Вестерманн, который, хотя и был уже арестован, но только накануне был поставлен на голосование в парламенте, появился на скамье подсудимых и сел в конце, после Эмануэля Фрея. Он был последним и не менее знатным из дантонистов, с его величественным ростом, неуклюжим интеллектом и верной германской кровью.

«Кто ты?» — спросили его. «Я Вестерманн. Покажите меня народу. В шестнадцать лет я был солдатом, а потом стал советником Страсбурга. У меня семь ран на груди, но до сих пор меня ни разу не ударили в спину».

Это был человек, который возглавил восстание 10 августа и который, благодаря своему блефу, осмелился вести переговоры со швейцарцами, говорившими на его языке.

Прошло некоторое время, пока допрашивали арестованных за мошенничество, особенно д'Эспаньяка, и тогда судья обратился к Дантону.

В последующих дебатах и перекрестном допросе мы должны полагаться в основном на записи Лебруна^[154], поскольку они более живые, хотя и более разрозненные, чем официальный отчет. В них мы обнаруживаем серию страстных выпадов, но серию, которая, как следует полагать, имела определенную цель. Не было ни надежды убедить трибунал, ни возможности представить эффективный юридический аргумент. Дантон пытался использовать этот суд, который не занимался судебным разбирательством, а просто выносил приговор, в качестве трибуны, с которой он мог обратиться к народу, к широкой публике, на восстание которой он рассчитывал. Возможно, он также рассчитывал на присяжных, поскольку, несмотря на то, что они были тщательно отобраны, их все же мог тронуть человек, который никогда не промахивался в своих убеждениях благодаря своей необычайной силе слова. Он ведет себя так, как будто он технически является тем, кем он является на самом деле — заключенным перед неформальной группой палачей, который призывает толпу к справедливости.

Он указал на Камбона, который сидел рядом с ним в комитете, и сказал: «Ну же, Камбон, вы думаете, что мы заговорщики? Посмотрите, он смеется; он не верит в такое». Затем он повернулся, сам смеясь, к присяжным и сказал: «Запишите в своих заметках, что он смеялся».

И снова он использует такие фразы: «Мы здесь для проформы, но если у нас будет полная свобода слова, и если французский народ будет таким, каким он должен быть, то позже я попрошу у него прощения для моих обвинителей». На что Камиль ответил: «О, нам разрешат говорить, и это все, что мы хотим», и группа индულгентов от души рассмеялась.

Сразу после этого он начал свою великую речь в ответ на вопросы судьи, и тон этой речи до сих пор не утратил своей силы. Это, пожалуй, самый яркий пример личного обращения, который только можно найти. Возможности для такого обращения редки, поскольку в подавляющем большинстве исторических случаев, когда человек просил о пощаде, это происходило либо перед хорошо организованным судом, либо перед небольшим числом решительных врагов, либо устами того, кто получал за это деньги и не знал искусства

политической ораторской речи. Уникальные условия Французской революции сделали такую сцену возможной, возможно, единственной в истории.

День, несмотря на раннюю пору года, был теплым, окна суда, выходившие на Сену, были открыты, и через широкие двери вдавливалась голова большой толпы. Эта толпа тянулась вдоль коридора, вдоль набережных, через Пон-Нёф и даже до другого берега реки. Каждая фраза повторялась из уст в уста, и ропот толпы доказывал, насколько внимательно следили за великим трибуном. В той же позе, которая привлекла внимание его противников, когда он представлял первую делегацию из Парижа три года назад, и которая сделала его столь заметной фигурой в бурные месяцы 1793 года, он произносил фразы, предназначенные для Парижа, а не для его судей. Его громкий голос (это кажется невероятным, но это правда) вибрировал по залу и поднимался до тех тонов, которые сделали его оратором открытых пространств, раздавался и был слышен за рекой.

«Вы говорите, что мне заплатили, но я говорю вам, что людям, подобным мне, нельзя заплатить. И я противопоставляю вашему обвинению — которое вы не можете доказать ни одним доказательством, ни намеком на доказательство, ни тенью, ни началом свидетельства — всю мою революционную карьеру. Именно я удержал Мирабо в Париже от якобинцев. Я служил достаточно долго, и моя жизнь стала для меня бременем, но я буду защищаться, рассказывая вам о том, что я сделал. Это я заставил 20 июня внезапно поднять пики и помешал королю отправиться в Сен-Клу. На следующий день после резни на Марсовом поле был выдан ордер на мой арест. В Арси были посланы люди, чтобы убить меня, но мои люди пришли и защитили меня. Мне пришлось бежать в Лондон, и я вернулся, как вы все знаете, в тот момент, когда был избран Гарран. Разве вы не помните меня в якобинском клубе и как я просил о провозглашении республики? Именно я знал, что двор жаждал войны. Именно я, среди прочих, осуждал политику войны».

Здесь раздался вопрос: «Что вы сделали против бриссотинцев?»

Как мы знаем, Дантон сделал все, что в его силах, чтобы спасти людей, которые его ненавидели, но которых он восхищался. Не было времени, чтобы он защищался, объясняя это людям, которые никогда не понимали, как он, величия людей, следовавших за Верно. Но он сказал то, что было совершенно верно: «Я сказал им, что они идут на эшафот. Когда я был министром, я сказал это Бриссо перед всем кабинетом».

Он мог бы добавить, что сказал Гуаде в ноябрьском лесу в ночь перед тем, как уйти в армию: «Ты упрямый, и это будет твоей гибелью»^[155].

Затем он снова вернулся к перечню своих заслуг. «Это я подготовил 10 августа. Вы говорите, что я ездил в Арси. Я признаю это и горжусь этим. Я поехал туда, чтобы провести три дня, попрощаться с матерью и уладить свои дела, потому что вскоре мне грозила опасность. В ту ночь я почти не спал. Это я убил Манда, потому что он отдал приказ стрелять в народ... Вы упрекаете меня в дружбе с Фабром д'Эглантинем. Он по-прежнему мой друг, и я по-прежнему считаю его хорошим гражданином, сидящим здесь со мной. Вы сказали мне, что моя защита была слишком резкой, вы напомнили мне революционные имена и сказали, что Марат, когда он предстал перед трибуналом, мог бы служить мне образцом. Что ж, что касается тех имен, которые когда-то были моими друзьями, я скажу вам следующее: Марат имел вспыльчивый и нестабильный характер; Робеспьера я знал как человека, прежде всего, упорного; но я — я служил по-своему, и я обнял бы своего злейшего врага ради страны, и я отдам ей свое тело, если ей понадобится жертва».

Эта короткая и яростная речь, которую я попытался воспроизвести по кратким, бессвязным и полным орфографическим ошибкам записям Лебрана, достигла своей цели. Толпа, нестабильная толпа, которую он презирал, проходя к гильотине, двигалась, как вода под сильным ветром; и его вторая цель также была достигнута, поскольку трибунал испугался. Эти фразы вскоре будут повторены в Конвенте, и не было принято никаких мер, чтобы заставить замолчать этот страшный голос. Председатель суда сказал ему, что обвиняемый должен защищаться с помощью доказательств, а не риторики. Он парировал и это с замечательным мастерством, сказав гораздо более спокойным тоном, что сразу заметили все его друзья (их число теперьросло): «Я знаю, что человек не должен быть жестоким, если только это не для общественного блага, и я часто проявлял такую жестокость. Если я сейчас переборщил, то только потому, что меня обвинили в такой невыносимой несправедливости». Он снова несколько повысил голос, сказав: «Но что касается вас, Сен-Жюст, вам придется ответить перед потомками», — и затем замолчал.

Когда несчастный человек, взяв на себя гнусную обязанность политической работы в тот день, когда сам Герман предстал перед судом, сказал: «Помните, что это дело было неординарным и было политическим процессом», из зала раздался голос: «В республике нет политических процессов». Он поступил бы правильно, несмотря на свою незначительность в истории, если бы спас свою душу, отказавшись от задания, которое, как он знал, было несправедливым от начала до конца.

В конце того дня между Германом и прокурором Фукие-Тенвилем прошло три коротких записки. Герман написал: «Через полчаса я прекращу защиту Дантона. Вы должны подробно изложить остальную часть». Тенвиль ответил: «Мне есть что сказать Дантону о Бельгии», а Герман ответил: «Не упоминайте об этом в отношении других». Это небольшое доказательство подлости, которое сохранилось благодаря любопытному стечению обстоятельств (сегодня оно хранится в архивах) [156], завершило разбирательство на том заседании.

На следующий день, 15 герминаля (4 апреля), сам Дантон мало что сказал. В основном это было посвящено допросу Демулена; и так же, как в случае с Дантоном, это были слухи или мнения, так и в случае с Демуленом в качестве доказательств в этой трагической фарсе были приведены только смутные намеки на то, что он написал.

Фукье, дальний родственник Камиля, которому он был обязан должностью, на которой зарабатывал себе на жизнь преступлениями,[157] пытался вложить в его чтение «Старого кордельера» нечто вроде жалобы на нацию и ненависти к Республике. Даже в его тонком неприятном голосе слышалась только благородная фраза Тацита, и — это яркий пример того, чем стал трибунал — они не осмелились продолжить цитату, потому что каждое слово возбуждало народ в зале суда. Но Камиль, столь великий в своем перо, не обладал ни величием, ни силой Дантона. Его защита была слабой, бессвязной и, как и все люди, неспособные самостоятельно мыслить, он был непоследователен.

Эро в тот же день дал гораздо более изящный ответ. Благородный по рождению, привязанный своими традициями и воспоминаниями к тому обществу, которое он сам помог разрушить и о котором Талейран сказал: «Те, кто не знал его, не жили», с самой юности привыкший к выдающемуся положению в своей профессии и к благосклонности двора, он до последнего оставался полным презрения к такой нищете и с гордостью закрывал глаза.

[illegible]

Только после того, как заседание затянулось на значительное время, прозвучала фраза, полный смысл которой в тот момент не был понятен, но которая, по сути, стала первым шагом в тех четырех месяцах безответственности и преступлений, которые ассоциируются с именем Робеспьера и висят как груз на шее французской нации. Лакруа только что сказал с оттенком юридической терминологии: «Я настаиваю на том, чтобы свидетели, которых я запросил, были вызваны в суд, и если в этом есть какие-либо затруднения, я официально требую, чтобы этот вопрос был вынесен на обсуждение Конвента», — когда прокурор ответил: «Пора положить конец этой части процесса, которая превратилась в простую борьбу и стала публичным скандалом. Я собираюсь написать в Конвент, чтобы узнать его мнение, и его совет будет точно выполнен».

И прокурор, и судья подписали письмо. Первый проект, составленный Фуке, был сочтен слишком резким, и, по-видимому, Эрман его переработал[158]. «Граждане-представители! С начала сегодняшнего заседания в зале бушует буря. Обвиняемые требуют вызова свидетелей, которые являются вашими депутатами... Они обращаются к народу, говоря, что им будет отказано. Несмотря на твердость президента и всего трибунала, они продолжают протестовать, что не будут молчать, пока их свидетели не будут заслушаны (), если только вы не примете специальный указ». [Это было ложью и было единственной частью письма, рассчитанной на то, чтобы произвести впечатление на парламент.] «Мы хотим услышать ваши указания о том, что нам делать в связи с этим требованием; процедура не дает нам возможности отказать им».

Но обратите внимание на то, как это письмо было представлено парламенту, в котором еще оставалось столько симпатии к обвиняемым, и на то, как оно было воспринято. Сен-Жюст появился на трибуне с письмом в руках и, вместо того чтобы зачитать его, поднял его перед ними и произнес следующую речь:

«Общественный прокурор Революционного трибунала прислал вам сообщение о том, что заключенные подняли полное восстание и прервали слушание, заявив, что не позволят ему продолжаться, пока Конвент не примет меры. Вы едва избежали величайшей опасности, которая когда-либо угрожала нашей новой свободе, и это восстание в самом центре правосудия, среди людей, охваченных паникой перед законом, показывает, что у них на уме. Их отчаяние и ярость являются явным доказательством лицемерия, которое они проявляли, сохраняя перед вами благопристойный вид. Невинные люди не бунтуют. Диллон, который приказал своей армии маршировать на Париж, сообщил нам, что жена Демулена получила деньги для помощи в заговоре. Мы благодарны вам за то, что вы поставили нас в трудное и опасное положение, в котором мы находимся. Ваши комитеты ответят вам самым тщательным наблюдением» и так далее. Когда Конвенту были представлены все аргументы и вся лесть, которые могли исказить их точку зрения, он предложил декрет, согласно которому

любой заключенный, который попытается прервать ход правосудия угрозами или восстанием, будет объявлен вне закона.

Когда они собирались проголосовать, Бийо-Варенн добавил: «Я прошу Конвент выслушать письмо, которое комитеты получили от полиции относительно заговорщиков и их связи с заключенными». Это письмо не является подлинным. Даже если бы оно было подлинным, оно полностью основано на словах одного малоизвестного и ненадежного человека (Лафлотта), но оно сыграло свою роль. Как мы знаем, комитеты были именами, которые вызывали уважение. Их тайные дебаты, их очевидный успех, тот факт, что их члены были выбраны именно для защиты интересов Республики, все это фатально сказалось на заключенных. Декрет был принят без голосования. Робеспьер попросил, чтобы письмо было зачитано в полном составе суда, и его просьба была удовлетворена. Именно с этого письма, с этого малоизвестного и неопределенного источника, началась легенда о «заговоре в тюрьмах», которая стоила жизни сотням людей.

В самом конце этого дня, 4 апреля, декрет Конвента был возвращен в трибунал. Амар принес его и передал Фукие, сказав: «Вот что вы хотели». Фукие улыбнулся и сказал: «Мы очень в этом нуждались». Декрет был зачитан в суде. Когда Камиль услышал имя своей жены в связи с требованием Сен-Жюста, он воскликнул: «Они убьют и ее?» А Давид, сидевший за судьями, сказал: «Наконец-то мы их держим»[159].

На четвертый день, 16 герминаля (5 апреля), суд собрался в половине девятого утра, а не в обычное время в десять. Почти сразу, не дав обвиняемым времени начать свою тактику предыдущего дня, был зачитан указ. Судья, опираясь на закон, который уже применялся в отношении других и который давал присяжным право через три дня заявить, удовлетворены ли они, обратился к ним, и они попросили разрешения на совещание.

Прежде чем заключенные прошли в тюрьму, Демулен нашел время разорвать на мелкие кусочки написанную им защиту и бросить их к ногам судьи. Дантон вскрикнул и остановился на середине предложения. Все, кроме бедного Камиля, сохраняли самообладание. Он же прижался к скамье подсудимых, решив обратиться с какой-то просьбой к народу, судьям или потомкам. Дантон, который успокоил его несколько часов спустя у подножия эшафота, не смог тогда ничего с ним поделать, и пятнадцать человек исчезли в атмосфере ужасающей жестокости.

Заключенных отвезли обратно в Консьержери, но в их отсутствие произошла сцена, которая является одной из самых поучительных в конце Революции. Один из присяжных не смог заставить себя признать виновными людей, которых он знал невиновными. Другой сказал ему: «Это не суд, это жертвоприношение. Дантон и Робеспьер не могут существовать вместе; кто, по-вашему, более необходим для Республики?» Несчастный человек, полный увлечения того времени, пролепетал: «Конечно, Робеспьер необходим, но...» «Достаточно; сказав это, вы вынесли приговор». И так случилось, что единодушный вердикт осудил индულгентов. Только Льюлье был оправдан.

О том, что происходило в тюрьме, мы знаем только из уст врага[160], но я вижу, как Дантон по-прежнему смело говорит о тысяче вещей, сидя в своем кресле из зеленого дамаста и выпивая бутылку бургундского напротив серебра и ловушек д'Эглантина[161]. Их не отвели обратно, чтобы огласить приговор; его зачитали им, как формальность, в самой Консьержери. Дюкре прочитал его им по очереди, когда их привели в его кабинет. Дантон отказался слушать его терпеливо; он ненавидел формальности и формальность и знал, что его приговорили давно. Он позволил себе последний всплеск страсти, прежде чем собрать силы, чтобы встретить испытание на улицах, и последовал за своим гневом оскорблениями,

которые он в течение нескольких дней направлял на смерть. Затем в течение нескольких часов они хранили достоинство, за исключением Камиля, который не был готов к таким испытаниям и стонал в углу комнаты, а Дантон постоянно пытался его утешить, что ему удалось в самом конце их печального путешествия. Его широкий ум позволял ему понимать даже писателя и художника, хотя он сам никогда не писал, а только действовал.

Между половиной пятого и пятью часами вечера того же дня, 5 апреля 1794 года, заключенные снова появились. Две повозки ждали их у больших ворот во дворе дворца — ворот, которые сегодня являются внутренним входом в Консьержери^[162]. Вокруг повозок стояла многочисленная конная стража с обнаженными мечами, но жертвы заняли места по своему усмотрению, и из пятнадцати дантонистов остались вместе. Эро, Камиль, Лакруа, Вестерман, Фабр, Дантон поднялся последним на вторую телегу, и процессия выехала из двора и повернула налево под тенью дворца, а затем снова налево вокруг Башни с часами и так далее до набережной. Они проехали мимо окна трибунала, из которого громкий голос Дантона был слышен через реку; они медленно прошли мимо старой мэрии, мимо комнат, которые были жилищем Ролана, пока не дошли до угла Пон-Нёф; и когда повозки повернули от деревьев площади Дофин на открытый мост, они вышли из тени и попали в яркий свет заходящего солнца, которое должно было зайти через час.

Несмотря на раннюю пору года, воздух был теплым и приятным, на немногих деревьях появились листья и почки, небо было безоблачным. Вся эта роковая весна была похожа на лето, и этот день был самым спокойным и самым красивым из всех. Свет, уже окрашенный вечерними оттенками, заливал дома северного берега, пока их стекла не заблестели в глазах. Он освещал Café de l'École, где семь лет назад Дантон сидел молодым адвокатом и видел красоту своей первой жены в доме ее отца; справа угол старого Hotel de Ville отражал сияние, слева Лувр пылал сотнями окон.

Там, где свет лился по реке и отражался от Сены на мост, он выделял ужасную колонну, которая тяжело двигалась вперед, к смерти. Огромная толпа, глупая, нестабильная, разнородная, часть которой пела, часть бежала, чтобы поближе увидеть «индulgентов», некоторые жалели, а немногие понимали и отчаивались по поводу Республики — все эти люди, толкаясь и снося друг друга, как это бывает с толпой, вынужденной двигаться медленно и ограниченной узкой старой улицей, тянулись от одного конца моста до другого, и вы могли бы увидеть их в солнечном свете, ярких в цветах, которые носили в те дни, а тут и там красная шапка свободы выделялась среди ряда голов.

Но в центре этой толпы, возвышаясь над ней, можно было увидеть группу людей, которые должны были умереть. Повозки были скрыты людьми, головы лошадей едва виднелись над толпой, окруженные острыми бликами, которые исходят только от мечей, там возвышались фигуры дантонистов. Там стоял Эро де Сешель, с презрительным выражением лица, с красным лицом, «как будто он только что поднялся с пира». Там, на другой стороне повозки, сидел Фабр д'Эглантин, связанный, больной, обессиленный, с головой, склоненной на грудь, бормоча и жалуясь. Там, слева, напротив Фабра, сидел Камиль, связанный, но все еще в ярости, громко призывая народ, бредя: «Peuple, pauvre Peuple!» Он все еще хранил в своей поэтической голове мечту о народе! Они были обмануты, но они были справедливы, они спасут его. « » Он боролся с веревками и разорвал рубашку на груди, сжимая связанные руки — сквозь пальцы, сжатые в кулаки во время всей борьбы, просвечивали светлые волосы Люсиль. Дантон стоял огромный и спокойный между ними. Одним из своих широких плеч он коснулся д'Эглантина, другим — Демулена; их души прислонились к его телу. И все утешение и самообладание, которые были в центральной группе, исходили, как тепло, от лидера этих друзей.

Он был их лидером и их силой в течение пяти лет; теперь они окружали его, как младшие братья, оставшиеся сиротами. Слабость одного, пороки другого опирались на великую скалу его фигуры в поисках поддержки. Ведь это были не жирондинцы, замечательные стоики, каждый из которых был достаточной силой для своей души: это были дантонисты, которые были сформированы и сформированы силой и гением одного человека. Он ни на мгновение не подвел их в этом путешествии и умер последним, чтобы придать им мужества.

Когда они прошли мимо и покинули реку, они снова потеряли свет и погрузились в тень; прохладный воздух окружал их в глубоких узких улочках. Они могли видеть свет только далеко над собой, когда повернули в ущелье улицы Сент-Оноре, по которой жизни людей текли, как поток, чтобы потеряться и исчезнуть на площади Революции. По ее крутым склонам эхом разносился шум толпы, словно волны. Они видели, как они медленно катились мимо людей у окон, мужчин, сидящих в кафе или стоящих, чтобы посмотреть, как они проходят. Один из них особенно привлек внимание Дантона, который увидел его внезапно и на мгновение. Он стоял с альбомом в руке и быстро рисовал, бросая короткие прерывистые взгляды. Это был Давид, враг.

Затем слева от них появилось другое зрелище; это было единственное за этот долгий час, что вывело Дантона из себя: это был дом Дюпле. Там, спрятанный где-то за закрытыми ставнями, был Робеспьер. Все громко повернулись к нему, и был произнесен приговор, который, по словам некоторых, исполнил Бог — что он должен исчезнуть и больше не быть известным, быть скрыт высокими стенами и разрушен.

Дом был тихим, закрытым, заблокированным. Он был похож на осажденное сооружение, которое обращает свою наименее чувствительную внешнюю часть к врагам. Он был осажден тихими и невидимыми силами, которые, как мы чувствуем, давят на живых повсюду. Ведь в нем находился человек, который отправил на смерть целую телегу своих друзей. Их вина заключалась в том, что они проповедовали вечные чувства человечества, говорили о милосердии и в 1794 году вспоминали великие эмоции ранней революции — стремление к республике, где все люди могли бы сидеть и смеяться за одним столом, республике Commensales. Они были истинными наследниками духа федераций, и именно за это они были осуждены. Даже в этот последний момент от них исходило тепло сердца, которое исходит от группы друзей и влюбленных, пока не благословляет всю нацию равной любовью. Их инстинкт и вера были направлены на счастливую жизнь мира. Именно за это пуритане их уничтожили; и все же это единственный дух, который пронизывает любую долговечную реформу, единственный дух, который может в конце концов привести нас к республике.

В отдаленной комнате, куда не доносился шум колес, сидел человек, который из-за какого-то рокового недостатка характера или какого-то непрощенного греха амбиций стал инквизитором — безумным, узколобым врагом милосердия и всего хорошего.

На мгновение он и его заблуждение обрели власть осуждать, повторяя трагедию, которой мир никогда не устает — мелочное убивало великое.

Тем не менее, если вы посмотрите на людей в телеге, вы обнаружите, что их не стоит жалеть, за исключением двух вещей: они были любимы женщинами, которых не могли видеть, и они умирали в лучшее и последнее время своей могучей молодости. Все эти молодые люди были любимы, и в других отношениях их следовало считать счастливыми. Они уже изменили мир своими личностями. Здесь писатель знал, что его талант, слова, которые он так тщательно подбирал и которыми он так наслаждался, не были потрачены впустую на похвалу или удачу, а достигли своей цели. Там оратор знал и мог вспомнить, как его великий голос призвал армии и отбросил назад королей.

Но если эта сцена была трагедией, то это была трагедия реальности, которая отказывалась следовать правилам единства. Вся природа была в действии, сконцентрированная в революционное время, и элемент, который знал Шекспир, пришел сам по себе — вечная комедия, которая, в зависимости от нашего настроения, кажется нам иронией, безумием или жестокостью вещей, была роковая присутствовала, чтобы сделать день полным; и гротеск, как диссонансная нота, контрастировал с ужасным и подчеркивал его.

Фабр, который лучше всех знал, насколько повсеместна эта сложность, — Фабр, который сказал: «Между тем, как нюхать табак и как его давать, есть комедия», — привел сейчас пример. Дантон, услышав столько слабости и столько стонов от больного, спросил: «На что вы жалуетесь?» Тот ответил: «Я написал пьесу под названием «Мальтийский апельсин», и боюсь, что полиция ее забрала, и что кто-то украдет ее и получит славу». Бедный Фабр! Она потеряна, и никто не высмеивает его маленькую глупость. Дантон ответил ему фразой, от которой кровь закипела: «Tais toi! Dans une semaine tu feras assez de vers» («Молчи! Через неделю ты напишешь достаточно стихов») и наложил молчание. Но и это не удовлетворило судьбу; были и другие моменты в структуре несоответствий, которые она любит использовать, чтобы сеять ужас. В опере шла пьеса под названием « » («10 августа»), в которой на сцене были представлены дантониисты. Когда дантониисты были едва похоронены, пьеса была снова поставлена в тот же вечер, и актеры, изображавшие Эро и остальных, вышли перед публикой, которая не знала или забыла о том, что произошло днем. Более того, уже был набран стих, который уличные торговцы выкрикивали и продавали в тот же вечер. Ради совпадения я возьму на себя смелость перевести его в рифмованную героическую форму:

«Когда Дантон, Демулен и д'Эглантин

Были переправлены в мир невидимый,

Харон, этот справедливый гражданин,

Вручил сдачу этим выдающимся людям.

«Оставьте себе сдачу, — воскликнули они, — мы заплатим за проезд

за Кутона, Сен-Жюста и Робеспьера»[163].

Дантон пощадил только Камилла, и, поскольку тот не переставал обращаться к народу, мягко велел ему прекратить. «Оставь эту толпу, — сказал он, — оставь их в покое». Но сам он продолжал бросать гневные шутки в адрес смерти. «Могу я спеть?» — спросил он палача. Сансон подумал, что, насколько он знает, может. Тогда Дантон сказал ему: «Я сочинил несколько стихов и спою их». Он громко спел стихотворение о падении Робеспьера, а затем рассмеялся, как будто он был в старом кафе со своими друзьями.

Был один человек (Арно из Академии), который дожил до глубокой старости и случайно переходил улицу Сент-Оноре (), когда мимо проезжали повозки. В Париже, где все были заняты своими делами, много таких людей приходили и уходили, почти забыв о том, что даже тогда существовала политика. Но эта группа заключенных не давала ему покоя. Он видел, как Дантон стоял и пел, смеясь, он поспешил на улицу де ла Монне, поговорил с Михаилом, который ждал его, а затем, полный впечатлений от этой сцены, побежал обратно через сады Тюильри и, прижавшись лицом к перилам, посмотрел на большую площадь Революции.

Конвой прибыл, повозки стояли у подножия гильотины, и его воспоминания об этой сцене легли в основу ее истории.

Было почти шесть часов, и солнце почти зашло за деревьями Этуаль; оно окрашивало в красный цвет большую гипсовую статую Свободы, которая стояла посреди площади, где сейчас находится обелиск, и к которой мадам Ролан произнесла свою последнюю фразу. Оно посылало ровный луч на огромную толпу, заполнившую площадь, и отбрасывало длинные тени, создавая за гильотиной темный проход над людьми. День оставался ясным и прекрасным до самого конца, небо было чистым, а запад сиял, как кузница. На его фоне одна за другой появлялись фигуры приговоренных. Первым на фоне света появился Эро де Сешель, прямой и великодушный в своей осанке, стоящий на высокой эшафоте. Он посмотрел на Гард-Мебель, и из одного из его высоких окон женская рука смогла помахать ему на прощание. Следующим был Лакруа, столь же одинокий; Камиль, ставший спокойным и самообладающим, был третьим. Один за другим они поднимались по нескольким ступенькам, на мгновение останавливались в ярком свете, черные или в алых одеждах, и спускались вниз.

Дантон был последним. Он стоял неподвижно у подножия ступенек, пока умирали его друзья. Пытаясь обнять Эро перед тем, как подняться, грубо упрекая палача, который разнял их, без эмоций ожидая своей очереди, он слышал, как нож снова и снова падал в мрачной тишине толпы (). Его величественная фигура, более величественная, чем в дни его триумфа, вырисовывалась на фоне заката. Человек, наблюдавший за этим с ворот Тюильри, испугался и рассказал нам, что на мгновение понял, что видел сам Данте. По случайности ему пришлось подождать несколько секунд дольше, чем остальным; палач услышал, как он пробормотал: «Я больше никогда ее не увижу... никакой слабости», но его единственным движением было взглянуть на толпу. Говорят, что его взгляд встретился с чьим-то лицом, и что священная рука поднялась в знак отпущения грехов^[164].

Он стоял так, на мгновение выделяясь над людьми, которых он так часто влиял. В этом положении он остается в истории. Когда смерть внезапно поражает друга, образ, который мы храним о нем в наших умах, — это образ энергичной жизни. Его последний смех, его последние здоровые интонации, его быстрая походка или его оживленные жесты воспроизводят его образ навсегда. Так и с Дантоном: нет маски мертвого Дантона, и нельзя завершить его историю ощущением покоя. Мы не можем увидеть его лицо в спокойствии триумфа или сна — с ровными бровями, удовлетворенными губами и закрытыми веками. Он будет стоять на протяжении всех веков, пока будет рассказываться история Революции, так же, как он стоял на эшафоте, глядя на запад и преображенный красным солнцем, все еще мужественный, все еще сильный в своих словах и все еще обладающий той особой энергией, самоформирующейся, самоуправляемой и целостной. В последний момент он имеет осанку трибуна, взгляд, который овладел опасностью в Бельгии, силу, которая приковала Ролана к его посту в сентябре и которая командовала первым Комитетом. Республика, которую он желал и которая придет, была доказана в его поведении и перешла от него к толпе.

Когда Сансон положил руку ему на плечо, призрак Мирабо стоял рядом с ним и вдохновлял его той гордостью, которая озарила камеру смерти три года назад. Он сказал: «Покажите мою голову народу; это того стоит». Затем они сделали то, что должны были сделать, и без какого-либо страха его великая душа ушла вниз по повороту дороги.

Они показали его голову народу, и солнце зашло. Сразу же поднялся смешанный шум тысячи голосов, которые ликovali, задавали вопросы или отчаивались, и в сгущающейся темноте парижане вернулись по узким улочкам на восток, к своим домам.

ГЛАВА VIII РОБЕСПЬЕР

В этой дополнительной главе я хочу показать, какое место занимал Дантон в Революции, описав безумие и реакцию, последовавшие за его гибелью, а также то, насколько его влияние, несмотря на все это, было постоянным.

Когда Дантон исчез, один человек остался хозяином страшной машины, которую он создал. Остается показать, какова была судьба его дела, когда смерть завершила результаты его отречения.

Гений умершего предвидел необходимость, ответил на нее созданием института, и этот институт доказал его мудрость своим огромным успехом. Франция была единой внутри и начинала на своих границах войну, успех которой не закончился бы, пока не была перестроена вся Европа. Эта беспрецедентная власть господствовала в стране, давно привыкшей к централизации, и укреплялась благодаря случайностям времени, благодаря равномерной игре правительства на территории, где были устранены все местные препятствия, благодаря молчаливому согласию каждого патриота (ведь это было то, что спасло нацию), благодаря самому злоупотреблению карательными мерами. Эта власть была обречена превратиться из машины в игрушку.

Говорят, что дети того времени играли с маленькими моделями гильотины. Это утверждение живописно и, вероятно, ложно, но оно хорошо подходит для сравнения. Человек, не привыкший к действию, мечтавший о совершенном государстве, которое было лишь отражением его собственного интенсивно сосредоточенного ума, получил контроль над гильотиной. К сожалению, модель была в натуральную величину.

До этого смертная казнь применялась в основном с ясной и определенной, хотя и часто аморальной целью. В руках Робеспьера она использовалась для защиты теории и прихоти. Люди того времени горячо любили свою страну и твердо верили в те принципы, на которых в настоящее время основана вся наша цивилизация. Франция и Республика были в их сознании одним целым, и они не жалели средств, чтобы помочь ей выжить в самой страшной борьбе, в которую когда-либо осмеливалась вступить какая-либо нация. Они убивали, чтобы им подчинялись в период, граничащий с анархией, и они хотели, чтобы им подчинялись, потому что без подчинения правительству Франция и все ее свободы погибли бы. Такой мотив наказания справедлив, а его исполнение честно.

Наряду с этим и помимо этого были и чрезмерные действия, те самые чрезмерные действия, в знак протеста против которых погиб сам Дантон. Как бы отвратительны ни были эти действия, как бы печально ни остались в истории их наиболее заметные исполнители, Эбер и Каррье, они были продиктованы мотивом, который является самым распространенным и самым легко понятным в человеческих делах. Это были действия мести. Дантон однажды искренне сказал: «Я не вижу смысла в ненависти». Ключом к его успешным усилиям, безусловно самым творческим в то время, когда все было полно энергии, было то, что ни

одна часть его сил не была потрачена на личные нападки, почти никакая — на личную защиту. Этого нельзя сказать ни о его современниках, ни о большинстве людей в любой нации, даже в периоды порядка и мира. И везде, в Нанте, в Лионе, в Вандее, в обвинении Марии-Антуанетты, с самого начала террора, эта ненависть вздымалась и разрасталась. Жирондинцы были казнены по обвинению, проникнутому духом мести; и по мере того как осень « » переходила в зиму, в самый разгар того угнетения, которое спасло нацию, обвинения становились тривиальными, а процесс правосудия все больше превращался в личное дело, зависящее в провинциях от настроения посланника, а в Париже — от суммарного решения Комитета и Трибунала.

Но все это до сих пор было понятно. С приходом Робеспьера к полной власти мы имеем дело с фазой истории, которую в более счастливые времена понять будет трудно. Дантон, который видел ясно, который понимал и который, когда начались победы, нашел время для сострадания, — это тип, чьи крайности — романтика, а умеренность — основа истории. Мы имеем дело с энтузиастом, который также является государственным деятелем, в котором разум обладает достаточной силой, чтобы осознавать себя даже в своей ярости и сознательно возвращаться в свои обычные пределы после самых фантастических экскурсов. С Эбером мы снова сталкиваемся с этим типом. Не редки люди, в которых чисто личные страсти доминируют над всеми абстрактными концепциями, и чья натура жаждет ужасного в литературе в мирное время и удовлетворяет свое желание действиями в моменты власти.

Но в случае с Робеспьером мы видим совершенно иную черту: человек, который мог смеяться и человек, который мог ненавидеть, правое и левое крыло исчезли, и осталась только личность, которая постепенно стала идиологом города. Он не мог ни смеяться, ни ненавидеть; любовь к родине, которая так ярко проявилась во время Революции и объясняет столько глупостей в поступках менее значительных людей, даже она практически отсутствовала в уме Робеспьера. Его характер хорошо бы вписался в отсутствие человеческих чувств, и если бы какие-то дополнительные документы открыли историкам, что у него отсутствовало чувство вкуса, что он был дальтоником или не мог различать ноты, эти детали во многом дополнили бы несовершенную и тревожную картину. Ибо в сфере, которая находится выше, но соотносится с физической жизнью, все те пути, по которым наши ближние трогают нас больше, чем идеи, были для него закрыты.

Возможно, что через несколько столетий он обретет величественный облик. Он обладал сдержанностью, достоинством, глубоким идеализмом, абсолютной верой в себя, уверенностью в том, что другие ему сочувствуют — короче говоря, всеми чертами, которые отличают абсолютистов и великих реформаторов. В его железном кодексе теории мы как будто слышим призрак Кальвина, в его повторяющихся моральных принципах и их постоянном применении иногда проскальзывает острое воспоминание о Хильдебранде. Знаменитый предсмертный крик «Я любил справедливость и ненавидел неправду, поэтому я умираю в изгнании» не так далек от «... *de mourir pour le peuple et d'en être abhorré*».

Мы привыкли одевать такие фигуры в торжественные одежды и придавать им, на большом расстоянии во времени, некое ужасающее величие. Робеспьер слишком близок к нам, он слишком хорошо известен, и его реформы потерпели слишком полную неудачу, чтобы это было так в его случае. Однако вполне возможно, что кто-то другой, идущий по тому же пути и достигший успеха, сочтет целесообразным создать легенду вокруг своего имени.

Каким же был идеал, к которому он стремился — эта «единственная идея», которая постоянно стояла перед ним, не давая ему видеть ничего человеческого, ни страданий, ни

воспоминаний, ни самого патриотизма? Это был гражданский идеал Руссо, в той мере, в какой он ему соответствовал, и не более того.

Идеи великих реформаторов по своей природе должны быть простыми — невыполнимо простыми. Но идея Робеспьера была не простой — она была скудной. Время от времени в истории потрясений определялся тип с помощью особых формул, который в своем первоначальном виде никогда не смог бы выжить в условиях активного существования, но который был достаточно реальным, чтобы принимать на себя наслоения, и достаточно крепким, чтобы выдерживать формовку, пока в конце концов не стал живым ядром нового общества, изменившимся, преобразованным в тысяче мелочей, но в своих основных чертах остающимся идеалом основателя. Во всех великих реформах мира присутствовал какой-то подобный тип; пуританин, рыцарь рыцарства, сначала были лишь бледными фигурами, воплощенными в нескольких фразах.

Сам Руссо создал такой тип, и он выжил; ведь столетие недостаточно, чтобы показать, что останется навечно. Республиканский гражданин Жан-Жака стоял в поколении, которое сменило его, в центре нового общества; он действительно жил в тысяче форм. Томас Джефферсон, Уильям Коббет были живыми людьми, для которых этот идеал был образцом; не в деталях, но в основных чертах. Таких благородных людей сегодня можно встретить повсюду.

Но Робеспьер видел в своем воображении фигуру, более детализированную и менее человечную, слишком четко очерченную, чтобы ее можно было сформировать или перенести в реальный мир. Для него этот идеальный гражданин был, тем не менее, единственной хорошей вещью, единственной прочной основой государства. Этот идеальный гражданин существовал (если бы только люди знали об этом) в каждом человеке; всех людей можно было приблизить к этому типу; лишь очень немногие противостояли его успеху, и священным долгом было положить конец их преступным усилиям. Эта фигура всегда стояла перед ним, она доминировала в каждой его мысли, она была священной вещью, перед которой его по сути мистический ум постоянно преклонялся. Но он не мог видеть ничего за ней или по обе стороны от нее; конкретные впечатления исчезали на нездоровой сетчатке его ума. Потому что перед его глазами было зеркало, и фигура, на которой он сосредоточился, был он сам.

Так сильно сосредоточившись на определенном индивидуальном типе, он по своей природе забывал о реакции общества. Он видел в обществе несколько явных зол: власть без оправдания, произвольное правление (эта ненавистная вещь), раболепие угнетенных (главное препятствие для любой реформы). Он был слеп к взаимодействию, органической сущности государства, которую наше время так нелепо преувеличивает, но которую XVIII век в целом игнорировал. Руссо замечательно использовал метафору договора для объяснения связей в обществе. Робеспьер, интерпретируя его, представлял договор как простой и всеобъемлющий механизм государства. Эта ошибка придала его попытке механический и бесчеловечный вид, помимо жесткости догмы. Руссо, как и все великие писатели, постоянно давал понять, что язык недостаточен; он позволял своей аудитории увидеть в сотнях фраз, в повторяющихся оговорках, что его слова были не более чем словами других, намеками на реальность, в лучшем случае метафорами, максимально приближенными к истинному отражению идей. Робеспьер читал его и остался среди запутанных и удовлетворенных слов. Руссо постоянно настаивал на одной точке зрения, призывая: «Приходите и посмотрите». Он обнаружил позицию, с которой (как он думал) ошеломляющая сложность человеческих дел представляла в справедливой и простой перспективе. Но Руссо никогда не утверждает, что такая точка зрения будет иметь одинаковую окраску для всех людей; напротив, в лучших

своих проявлениях он отрицает это. Он доверяет основному аспекту своей теории для достижения основного результата в государстве, соглашению между людьми доброй воли для гармонизации противоречивых деталей. Робеспьер, как первосвященник этого евангелия, пришел и увидел, но идеальный гражданин и идеальное государство его видения должны быть реализованы в каждой мелочи, как он их наблюдал. В очередной раз великое послание было обречено на стерилизацию и почти утрату из-за функционера его вероучения.

Таков был человек, который постепенно вытеснил Дантона. Ум, тип отклонения которого характерен для всех наций, вытеснил типичного француза, организовавшего оборону Франции, и на смену тому, кого его враги постоянно упрекали в избытке энергии и мужественности, пришел теоретик, испытывавший почти исключительно интеллектуальные эмоции.

Что дало ему его огромное влияние, его практически абсолютную власть? В первую очередь это было связано с популярностью, рост которой был характерной чертой поздней Революции. Эта популярность была реальной, судя по количеству его последователей и искренности их убеждений. Необходимо помнить, что до сих пор он выступал на стороне мягкости в публичных действиях, в то время как в своих высказываниях он всегда точно, а порой и благородно выражал идеалы, к которым стремилась нация. Из-за конституционной неспособности к реальной работе он оставался лишь на втором плане в тех кризисах, которые оставляли после себя растущую толпу недовольных. Не он, а Дантон создал 10 августа. Никто не связывал его имя с сентябрьскими массовыми убийствами. Необходимость создания правительства не была его интерпретацией поражений в Бельгии; создание этого правительства было делом рук другого человека; его скрытые преимущества не отражаются на нем сейчас; его немедленные жестокие меры не подвергли его особой мести в то время. Не он, а Марат является очевидным демагогом, которого мечтательная девушка-жирондинка выделяет как врага. К Карно обратилась бы ненависть тех, кого угнетала великая воинская повинность. Христианские основы Франции имели других, кроме Робеспьера, кого можно было проклинать за «Маску разума» и за подавление публичного богослужения. Он стоял за Демуленом, когда действовала реакция Нивоза и Фримера; он одобрил и считался автором того суда и казни, в которых Эберт понесла наказание, уже вынесенное ей лучшими представителями Франции. Фактически он не был ни экстремистом, ни тираном до того дня, когда разрешил арест Дантона. Он был скорее голосом сильного общественного мнения, чем рукой, которая, действуя по приказу неразумия, становится ненавистной своему собственному яростному хозяину. Таким образом, с негативной стороны не было ничего, что могло бы помешать его внезапному приходу к власти.

Во-вторых, его имя было самым известным и самым популярным с самых первых дней революции. Пять лет назад он был членом Ассамблеи общин, заметной, хотя и не особо известной фигурой, о которой ходили различные слухи и которая пользовалась довольно хорошей репутацией в своем провинциальном центре; с тех пор, как Жакобинский клуб стал рупором чистых республиканцев, он был заметным лидером общества. Сила преэминенции и традиции не имеет большого значения в истории этого вихря событий, но она в значительной степени объясняет возвышение Робеспьера. Только он один никогда не отсутствовал, только он один оставался, чтобы непрерывно воспевать действия драмы. Его имя было чрезмерно знакомо, но в ту эпоху люди едва ли устали слышать, как политика называли «справедливым». Помимо этой известности его имени, некоторые добродетели — и самые ценные в то время — были его на самом деле или по репутации. Никто не мог обвинить его в продажности; его искренность была очевидна — на самом деле, она была

необходимым плодом его узкого ума. Амбиции, от которых мы не можем отделить его имя, были очевидны лишь немногим из его современников и не были полностью осознаны даже его врагами, пока он не начал свою короткую карьеру абсолютной власти, которая навсегда отразилась на судьбе его страны. Таким образом, привычка, самая сильная из сил, была его союзником.

В-третьих, обстоятельства в той же мере, что и его собственные действия, сделали его (насколько можно проследить тайны Комитета) единственным руководителем исключительной исполнительной власти. Из-за иллюзий и нужд народа такое положение не было сразу признано тираническим. Машина принадлежала им, работала для них и была создана ими; тем лучше, если их кумир держал рычаги; он был самым надежным слугой. Робеспьер не был хозяином в теории. Даже комитеты не были хозяевами в теории. Теория была всем для Франции в II году, и в теории Конвент был хозяином. Более того, даже Конвент был хозяином только потому, что — опять же в теории — за ним стоял суверен, нация. Большинство Конвента, и только оно, является технической властью. Имя Робеспьера не было обнаружено в списках осужденных, составленных его чудовищной политикой, и в конце четырех месяцев он пал, потому что теоретический хозяин, Конвент, поступил так, как он считал нужным, и ни одна достаточная сила не осмелилась отрицать его право.

Затем он переходит к заключительному акту пьесы, к единственной фигуре, на которую все обращают внимание и в чьи руки попали полиция, комитеты, жюри и (по своей собственной вине) большинство самого Конвента.

Новое правление началось 6 апреля, ровно через год после создания Комитета общественной безопасности. Это был герминаль, месяц семян, растущих под землей, самый значимый и самый страшный из новых названий. М. Золя выбрал его в качестве названия для своего величайшего произведения; на днях оно прозвучало на умирающих устах бедняги в Испании, чье безумие также было вызвано социальной несправедливостью.

Последователи Робеспьера не колебались, сразу же продемонстрировав свои тенденции и даже догмы, поскольку они исповедовали религию. В тот же день, 6 апреля — 17 герминаля II года — Кутон пришел из Комитета с предложением обсудить в парламенте вопрос об установлении национального поклонения Богу. В шуме раздался новый звук; вскоре в ясной тишине ожидания он станет единственным звуком, за исключением глухого аккомпанемента двух гильотин. Теоретические причуды и драматизированные непристойности уже были известны «» Террору; неограниченная власть, защищаемая неумолимой суровостью, породила множество странных декретов, оторванных от общей жизни и умирающих, как только появлялись — абсурдов, главной целью которых, по-видимому, был интерес, который они вызывали у иностранцев. Но в них не было никакой системы. Мессы отправлялись повсюду, хотя церкви должны были быть закрыты. Даже когда в Нотр-Даме проходил Праздник Разума, в Сен-Жермен пели вечерню. Только одна вещь была целью и давала движущую силу девяти месяцам перенесенных мучений — спасение революционной Франции. Но когда Кутон выступил, в качестве объекта защиты были предложены не Франция, не общие права и свободы, а Руссо в исполнении Робеспьера. Через два месяца мы будем поклоняться Высшему Существо, через три — наступит реакция, менее чем через четыре — падет первосвященник этой невозможной системы, но его мечта и его власть будут почти достаточны, чтобы погубить Республику.

Еще через пять дней «остальные фракции» были принесены в жертву этому новому личному террору. Гобэль, который всегда боялся и чья совесть, как флюгер, отвернулась от ближайшей пики; жены Демулена и Эбера (поскольку с усилением террора женщины,

иногда справедливо, подозревались в том, что они лучше всех умеют строить заговоры); Шометт, который помогал Эберу устраивать его театральные представления в Нотр-Даме — все они были судимы, и в этом процессе мы снова слышим не революцию, а чисто и просто Робеспьера, который аргументирует и осуждает через уста суда.

Один из обвиняемых «желал стереть идею божественности». Другой «помешал поклонению своих сограждан» (это было сказано Шометту, который, должно быть, даже в тот момент счел это банальностью). Третьему вменяется в вину «изменение способа поклонения без разрешения». Мы находимся на пути к тем последним шести неделям, когда не было ни каких-либо судебных процессов, ни конкретных обвинений. Детали мнения одного человека стали бесчисленными догмами вероучения, вероучения, которое безжалостно убивает. И все же, даже когда он утверждал свое вероучение, его механическая беспомощность резко контрастировала с человечностью, которую преследовал пуританин. Лусиль просияла, когда ее осудили, и сказала: «Я увижу его через несколько часов».

Еще через три дня — 17 апреля — механизм был еще более централизован. Сен-Жюст потребовал, чтобы политические заключенные со всех концов Франции были доставлены в Париж для суда. Народные комиссии — простые собрания, на которых без доказательств и без формальностей выносились обвинительные приговоры, — активно использовались по всей Республике. В Париже комиссия должна была быть щупом для центральной машины. И настолько был неспособен Мечтатель, «который не имел достаточно ума, чтобы сварить яйцо», что эта новая особенность механизма даже не была организована: это было правительство простого жесткого абсолютизма, опирающееся на основы, которые быстро превращались в простую анархию. Но даже когда система, какая она была, развивалась, когда центральная власть становилась все более жесткой, а то, что нужно было управлять, все более разлагалось, Дантон, который был убит, чтобы она могла существовать, продолжал ее преследовать. Именно благодаря его работе борьба на границе показывала определенный результат. Началось продвижение вперед.

С его смертью дипломатия Франции прекратилась. Фраза Робеспьера, с которой он так успешно боролся, вновь появилась в полной силе: «нация не будет вести переговоры со своими врагами». Но организация ее армий, набор рекрутов, жесткая дисциплина, оружие говорили сами за себя. Этот аспект национальной энергии становился все более здоровым по мере того, как центральный мозг становился все более больным и тщеславным. Робеспьер неопределенно угрожал Карно в комитете, но Карно работал и спасал Францию. Сам Сен-Жюст, когда он находится на границе, проявляет себя с достойной восхищения стороны, поскольку там ему приходится иметь дело с реальными событиями. Его энергия по-прежнему яростна, но ее цель — победа над национальным врагом, а не триумф пустой идеи. Ему лучше было бы остаться с солдатами.

В Париже была захвачена Коммуна. Враг, которого все боялись, которого даже Дантон до последнего пытался умиротворить, был без страха схвачен. Мэр был просто смещен и заменен слугой правителей; секции протестовали, используя последние силы, но Клуб осудил их, и они исчезли — даже попытка мученичества придает идолу еще больше блеска. Затем в Париж пришла весть о Туркуане. Это было не более чем радостная молва, сражение, значение которого сейчас кажется нам большим, чем оно казалось современникам. Но крестьянин Пишгру подготовил хорошую дорогу для Журдана, и Флерус был прямым результатом Туркуана. Баррер много позже называл эти победы «фуриями», которые смели и уничтожили фанатиков у власти.

С каждой хорошей новостью террор становился все менее необходимым, но действия Робеспьера усиливалось по мере исчезновения национальной опасности. Даже великая победа лорда Хоу 1 июня мало повлияла на облегчение настроения. «Венжер» затонул, навсегда лишив французский флот многих кораблей. Продовольствие достигло порта, и взоры французов не были обращены к морю, господство над которым, как они знали, они и раньше завоевывали и теряли, но без особых изменений; они обратили свой взор, как всегда обращали и будут обращать, к северо-восточной границе, к арене борьбы, на которой должна была решиться судьба всех их жертв и всех их идеалов, и Париж с каждым днем все больше надеялся на успех, а Робеспьер все больше слеп к всему, кроме своего видения. 8 июня — 20 прериаля — он увенчал здание своей национальной религии Праздником Высшего Существа; 10 июня он создал последний элемент механизма, который должен был силой сделать эту религию моральным порядком новой эры.

В связи с этими датами мы видим всю сущность человека и времени. Три недели прошло от первой определенной победы над союзниками до закона 22-го прериаля. Это короткое время углубило разрыв между армиями и правительством до такой степени, что он стал непреодолимой пропастью. Плоды этого раскола проявились гораздо позже, но его элементы были уже очевидны. Из двух частей работы Дантона одна стала национальной, здоровой, представительной; другая, которая была предназначена для аналогичных действий, в конечном итоге стала делом личностей и теорий. Армии были на пике успеха, террор был под угрозой и был обречен.

В этот праздник Всемогущего Робеспьер был безумно собой. Он был одет в ярко-синее пальто, возможно, чтобы олицетворить яркое небо, которое мы все поклонялись на протяжении многих тысяч лет. В своей маленькой белой руке, которая никогда не была и не могла быть приспособлена к мужской работе, он держал типичные подношения из фруктов и зерна. Его голова была немного наклонена вперед, и он смотрел на землю. Люди, которые смело выступали в духе Мирабо и трибунов, были мертвы или находились в армии.

Перенесите эту сцену на сотни лет назад и расскажите о ней первобытному народу в какой-нибудь горной долине, и она приобретет простоту и величие легенды. Их старые традиции (скажем так) были утрачены или украдены у них. Они ищут законодателя и отправную точку. Находится чистый идеалист, драконовский в своих методах, но аскетичный и искренний в своей жизни, устанавливающий как необходимое для государства ясное и простое моральное учение, основывающее всю этику на признании и поклонении Богу. Если мы создадим эту картину, то получим некоторое представление о том, что происходило в умах небольшой клики, все еще окружавшей Робеспьера, некоторое представление о картине, которая все еще наполовину очаровывала толпу. Для самого Робеспьера это было абсолютно верно; он жил в веках и мириадах лиг от человечества во времени и пространстве, поглощенный своей мечтой.

Но на фоне этой маскарадной сцены возвышался Нотр-Дам. Все присутствующие были крещены в христианской вере; наследием и будущим этой толпы была история, более сложная и богатая событиями, чем, пожалуй, у любой другой нации. И даже пока шла эта игра, настоящая Франция на Самбре и на равнинах Валансьена вела древнейшую борьбу в защиту первоочередных прав. Эта сцена была достаточно высмеяна и презираема иностранцами как внутри, так и за пределами французской нации; для этой книги достаточно подчеркнуть ее нереальность и утверждать, что ее главный действующий человек был подлинным, потому что жил в нереальности.

За этим праздником последовал закон 22-го прериаля. Это было установление чистого деспотизма, произвольного, абсолютного, личного. Судебные процессы уже были централизованы в Париже, поскольку было выдвинуто требование Сен-Жюста (). Коммуна была захвачена, народные комиссии использованы, даже президентство Конвента стало апанажем одного человека и его соратников. Этот новый закон предлагал сделать последний шаг. После его принятия судебные процессы должны были проводиться без доказательств, без свидетелей и без защиты, поскольку они должны были быть не более чем формальной процедурой. Как только комитет убеждался в виновности, трибунал должен был просто вынести приговор. Попасть в список означало практически быть мертвым. Это был конец гражданского правительства, объявление военного положения. И это в тот момент, когда армии каждый день присылали все более и более хорошие новости. Конвент обсуждал вопрос под председательством Робеспьера; он колебался и едва не отклонил предложение. В умах одних происходил конфликт между восхищением — почти поклонением — человеком, в умах других — между страхом и необходимостью, очевидной для всех, ослабить механизм, который был создан только из-за национальной опасности.

Робеспьер спустился с кресла и выступил. Его ровный, уверенный голос, который увлекал его поклонников и пугал его противников, достиг своей цели, и закон был принят. Те, кому легко судить о том времени, кто думает, что все можно объяснить подлостью или малодушием парламента, должны обратить внимание на призыв, с которым он обратился к *умеренным* даже тогда — призыв, который всегда был успешным, который, когда приближалась его смерть, он наконец (и впервые) произнес напрасно.

Умеренные, равнина, «болото» видели в нем своего рода спасителя, праведника, убийцу Горы, господина, который будет страшен лишь недолго и скоро восстановит мир, установив догму морального порядка. Разве умеренные когда-либо медлили с предоставлением полной власти ради порядка?

На следующий день кто-то заметил, что новый закон затрагивает сам парламент. Им пришла в голову самооборона, самое священное, пожалуй, единственное право принца, и они возразили. Они приняли постановление, что ни один член парламента не может быть привлечен к Революционному трибуналу без их согласия. На следующий день снова появляется Робеспьер, снова обращается к «болоту». Люди порядка сразу поняли, что им ничего не угрожает, что в опасности находятся только беспорядочные товарищи на скамьях левых. Резолюция была отменена. В тот день, 24 прайриала II года — 12 июня 1794 года — вся Франция, за исключением армий, была у его ног.

Франция, которая сделала революцию и которую Дантон любил, защищал и спас, находилась в Арденнах и перед Ипром. Было две основные армии. Одно, слева, на равнинах у пограничных городов, противостояло объединенным силам англичан и австрийцев; другое, справа, в лесах и глубоких ущельях Арденн, противостояло сильной цепи австрийских постов. Эти армии не были разделены, но враг удерживал угол между ними. Вдали, на крайнем правом фланге, Журдан удерживал долину Мозеля. Пишегру вернулся в левую армию, которая в его отсутствие завоевала Туркуэн и во главе которой Судам, Моро и Макдональд сражались и одержали победу. Справа Сен-Жюст бросал в атаку на Самбр всю энергию, которая до этого спасла армию Эльзаса. Пять раз предпринимались попытки прорвать австрийские линии, и пять раз они заканчивались неудачей. Кобург лежал по обе стороны реки; Шарлеруа, на правом берегу, был его крепостью. Депутаты по специальному поручению, Сен-Жюст и Леба, те же, которых мы увидим рядом с Робеспьером в конце, присутствовали при последней решающей схватке перед самим Шарлеруа. С удержанием Самбры южная армия оказалась обездвижена; успехи северной армии казались почти

бесполезными, поскольку Кобург удерживал угол между ними. Тем не менее, Туркуэн принес большие плоды, поскольку убедил австрийцев в необходимости подкрепления для противостояния французскому наступлению на севере. Союзники были похожи на человека, сражающегося с мечом в каждой руке против двух противников. Получив ранение в правую руку, он должен был быстро перекрестить мечи, держа левый в левой руке, и тем самым обнажить свою левую сторону. Таким образом, Кобург оставил Самбр немного более уязвимым, чтобы обеспечить временные подкрепления против армии, которая только что завоевала Туркуэн. Сен-Жюст и Карно были врагами; молодой робеспьеринец должен был заменить организатора, которого признавал Дантон; тем не менее, в этот решающий момент они согласились на необходимые действия. Сен-Жюст из армии, Карно из Министерства войны в Париже, вызвали Журдана из Мозеля с более чем сорока тысячами человек.

Ошибаются те, кто полагает, что Наполеон изобрел « » — атаку с концентрацией сил на самом слабом месте; в том, что касается общих линий кампании, он унаследовал ее от генералов ранней республики. Оставив незанятыми крепости, не заботясь о удержании (например) этой позиции на Мозеле, было решено провести поспешный марш на север и предпринять решающую попытку прорвать австрийские линии.

Этим соединением была сформирована «Армия Самбры и Мааса», которая до сих пор является темой одной из самых благородных походных песен французских солдат. Под командованием Журдана были люди, чьи имена сами по себе напоминают звуки горна. Ими руководили Ней, Клебер и Марсо. Эту новую армию пронизывало предчувствие, предвидение победы, непривычное чувство расширения и надежды. Сульт говорит об этом как о своем пробуждении; и в мемуарах одного из современников есть прекрасная фраза, которая дает нам некоторое представление об их энтузиазме: «Нам всегда казалось, что мы идем навстречу рассвету»; в каждом ряду чувствовали, что баланс сил меняется и что Франция будет спасена.

Шестая попытка была в шестой раз сорвана. Седьмая увенчалась успехом. Австрийская линия была прорвана, и Шарлеруа оказался в окружении; через неделю он пал. Капитуляция едва была достигнута, как армия Кобурга появилась на северо-востоке на возвышенностях, господствующих над левым берегом реки, на плато под названием Флерус.

25 июня армии встретились и сражались в окружении горящего сена и созревшего урожая, который загорелся. Клебер восстановил левое крыло, как Кромвель в Насби, после того, как оно было прорвано. Марсо упорно удерживал правое крыло перед Флерусом, как Давуст в Аустерлице десять лет спустя. А к вечеру наблюдатели в воздушном шаре над французскими рядами увидели регулярное и упорное отступление последней армии старого мира. К концу мессидора англичане были в Голландии, австрийцы на Рейне, а вся Бельгия была в руках Республики.

Солнце, зашедшее над смертью Дантона, вновь взошло.

Так что в стране самого Робеспьера его падение было подготовлено обстоятельствами. В Аррасе, его родном городе, почти слышались пушки Флеруса; он и его тонкая душа принадлежали этим равнинам севера, где норманны и бургундцы, провансальцы и гасконцы, рожденные в более щедрых местах, гнали врага перед собой.

Сен-Жюст вернулся с фронта. Он, по крайней мере, видел, к чему действительно стремилась революционная Франция и в чем заключалась ее сила. С великолепным мужеством, присущим его энергии и молодости, он возглавил наступление. Живя с солдатами, он видел более близко и с большей точностью, чем это обычно бывает у мечтателей, нужды армии.

Почему он вернулся, чтобы продолжить безумную драму, семь недель которой имеют большее значение для врагов Франции, чем все ее века?

Потому что армии и их победы, хотя и давали доказательство того, чем была нация и что ей было нужно, могли дать это доказательство только справедливому и уравновешенному уму. Сами солдаты не выражали политического мнения; все их мысли были сосредоточены на прорыве линии обороны, попытке, в которой они преуспели. О Париже, революционном в последние несколько месяцев, они знали мало. Они судили о нем так же, как наши современники — по слухам; и им казалось, что в столице находится могущественный комитет, полный патриотов, которые своей интенсивной, почти яростной энергией спасли их — солдат. Люди, которые каждый день рискуют жизнью и постоянно видят смерть, вряд ли будут в ужасе от чрезмерной строгости правительства. В их глазах пало много людей, места поменялись, центральная власть была окружена бурными волнениями, но *они* были одеты и накормлены почти чудом — их сражения стали возможными. Год, прошедший с тех пор, как великая воинская повинность увлекла их из своих домов, был для них борьбой непрерывных обещаний, закончившейся великим достижением. Солдат уже был полупрофессиональным; рьяный доброволец 1792 года, полный своих политических убеждений, уступил место типу, который безрассудная политика старого режима куяла для своего собственного уничтожения. Ибо она куяла ветеранов, которые все больше и больше заботились о революции и все меньше и меньше о дискуссиях и теориях, пока, наконец, не создали Империю.

Поэтому Сен-Жюст не мог предупредить Робеспьера. Сам Сен-Жюст не извлек урока. Его идеалом по-прежнему было спасение Франции и даже всего мира; победа при Флерусе только сделала более возможным воплощение его идеала в жизнь. Он видел, как эмигранты, взятые в плен в этой битве, были впервые пощажены французскими солдатами, но он не осознавал огромного значения этого факта и не понимал того, что наше время уже хорошо усвоило: именно успех или провал национальной обороны определяют настроение нации.

Когда весть о Флерусе дошла до Парижа, закон Прериала действовал уже почти три недели. К тому времени, когда победа и ее значение полностью осознались в столице, половина короткого периода правления Робеспьера уже истекла. Насколько это было вызвано страхом с его стороны, а насколько — простой слепотой, мы не можем сказать, но именно в тот момент, когда необходимость в терроре явно исчезла, он решил усилить свою систему.

Он напал на Гору.

Следует помнить, что Конвент опасался за себя, когда передал ему всю власть. 11 июня Бурдон из Уазы вынес предложение о «», которое защищало бы депутатов, но Робеспьер добился его отмены на следующий день.

Однако когда нападение стало реальностью, а не осталось угрозой, даже «Болото» испугалось. Он включил в свою речь прекрасную максиму: «Величие нации заключается не в успехах армий за рубежом или на границе, а в добродетели ее граждан внутри страны» (21 мессидор) — истина, прозвучавшая, пожалуй, в самый неподходящий момент, поскольку в умах его слушателей она сразу же превратилась в «победы для меня ничего не значат; гильотина нужна не для защиты нации, а для защиты моих догм». И его вера продолжала приносить в жертву бесчисленные жертвы.

К силам, противостоявшим ему, прибавился еще один, последний элемент. Комитет начал отказываться от его руководства. Надо помнить, что Робеспьер не был абсолютным хозяином в том смысле, в каком, например, английский генерал был хозяином индийской провинции

после подавления мятежа. Обстоятельства, огромная популярность и, прежде всего, тип людей, составлявших великий Комитет, объясняют его власть. Его власть была фактом, но фактом, не основанным на теоретическом праве и поэтому не обладавшим элементами устойчивости. Даже Комитет в глазах всех управляемых и некоторых из своих собственных членов был лишь слугой национального благосостояния. Двое из его членов были робеспьеристами — Кутон и Сен-Жюст; один был по натуре перебежчиком — Баррер; еще двое были людьми гебертианского типа, с которыми идеалисту было крайне ненадежно иметь дело — Бийо и Коло. Наконец, остается Карно, работник, и четверо других — два Приера, Линде и Сен-Андре.

Робеспьер мог быть фактически хозяином, но хозяином только благодаря терпимости вышестоящей, хотя и скрытой силы. Он мог внушать страх благодаря общеизвестному факту, что механизм был в его руках, что его страшные наказания он мог налагать практически по своему усмотрению. Но что-то давало ему эту власть, и что-то могло ее отнять. Нельзя не повторять снова и снова, если мы хотим понять Революцию, что со падения Лафайета до 13 октября 1795 года у правительства не было дисциплинированных вооруженных сил, не было никого, кто был бы лучше вооружен или лучше обучен, чем обычный человек с улицы — даже артиллеристов, которые были первой необходимостью для современных господ, поскольку сама артиллерия была любительской; прежде всего, не было вооруженного корпуса, члены которого беспрекословно подчинялись, которые были, как и должна быть хорошая армия, жестким инструментом правительства, построенным на устройстве, которое в сто раз умножает силу каждого человека на государственной службе. «Сильные люди» истории, которых наши реакционеры с удовольствием чествуют, всегда имели в своем распоряжении такой инструмент, но когда нет никого, кто бы стрелял по команде, ваш сильный человек ничем не отличается от других, за исключением того, что он немного слабее, потому что кричит.

Что же тогда было тем высшим хозяином, который позволял Робеспьеру править? Он состоял из нескольких сил, и в его разделении заключается секрет его инерции.

Во-первых, Конвент, каким бы искалеченным он ни был, все признавали ближайшим представителем нации. То, за что проголосовало большинство, было выполнено. Она оказывала очень большое моральное влияние, и если это влияние проявлялось так слабо, то только потому, что ее организация была презренной — масса индивидуумов, не имеющих традиций действия или объединения, толпа, в которой страх каждого перед тем, что другой может быть его врагом, приводил к тому, что совокупность индивидуальных криков была чем угодно, только не целостным выражением ее коллективной воли. Что ж, у этой толпы был один грозный враг. *Права* Конвента были оспорены силой хорошо организованной Коммуны (). Коммуна раньше была зеркалом по крайней мере половины Парижа, но теперь она утратила этот характер. Теперь она была не чем иным, как группой робеспьеровцев, и Конвент стал сильнее благодаря этой перемене.

Во-вторых, существовала материальная сила — население Парижа. До сих пор оно поднималось на борьбу только по одной или двум причинам — для создания национальной обороны и предотвращения политической реакции; и оно было более бурным и опасным, когда его действиям предшествовала первая причина, чем вторая.

В-третьих, инициатива находилась в руках большинства Комитета общественной безопасности.

Поэтому в тот момент, когда большинство Комитета отказалось следовать за Робеспьером, ему пришлось бы взойти на трибуну Конвента и в одной из тех речей, которые вызывали у

некоторых искреннее убеждение, а у многих других еще более искренний страх, он должен был бы получить большинство голосов для восстановления великого Комитета.

Теперь же совещательное собрание, которое не организовано строго по партийным линиям, не имеет аристократического характера и не испытывает большой (потому что традиционной) корпоративной гордости, находится под очень сильным влиянием того, что мы называем «общественным мнением». Оно заслушивает доклады со всей страны, состоит из самых разных людей, считает своим долгом прислушиваться к голосам извне, встречается в своих кулуарах и во время перерывов всевозможные мнения.

Такое жюри — самое худшее, перед которым может предстать народный кумир, когда какие-то сильные неблагоприятные действия только что показали, что его репутация падает. Проиграв голосование в комитете, осужденный в парламенте, человек, который только что был верховным правителем, должен будет обратиться к любой физической силе, которую он сможет найти, чтобы поддержать себя.

Но в случае с Робеспьером физическая сила заключалась лишь в населении Парижа, причем населении, единственный организационный центр которого — Коммуна — был ослаблен им самим. Предположим, что он был вынужден полагаться на восстание народа, и слабость его положения становится очевидной; даже если бы он по-прежнему был политиком большинства, от одобрения его политики до риска своей жизнью в гражданских беспорядках, осознавая, что ты нападаешь на все формы установленной власти и, по-видимому, на мнение всей нации, не из-за каких-то принципов, не из-за необходимости, а только для того, чтобы спасти одного человека, — был бы долгий путь. Как мы увидим, восстание в его защиту охватило лишь небольшую группу людей и полностью провалилось.

Человек, который не умел даже яйцо сварить, сам приготовил себе гибель. Он открыто угрожал Карно, единственной идеей которого было работать и спасти границу. Робеспьер обдумывал невообразимую глупость заменить науку Карно слепой активностью Сен-Жюста. Оттолкнув Карно и потеряв этого возможного союзника, Робеспьер лишился пяти своих коллег по Комитету. В конце мессидора он оказался в своего рода добровольной изоляции, позволяя фатальной машине работать, а сам держась в стороне от рычагов управления.

Кажется, он просто почувствовал два сомнения, нарушающих спокойствие его фанатичного самодовольства. Во-первых, будет ли он в конце концов запомнен потомками таким, каким он себя видел — создателем новой Франции, «ужасом угнетателей и убежищем угнетенных». (Однажды его глаза наполнились слезами, когда до него донесся шум телег, и он сказал: «Меня будут помнить только как убийцу людей». Настолько поглощенный собой, он еще не услышал отголоска того, о чем говорили все люди). Во-вторых, он задавался вопросом, было ли его идеальное государство так близко, как он думал. Убийства продолжались, а он не приближался к своей цели. «Антипатриоты», «антиреволюционеры», «антиробеспьерцы» (хотя он так о них не думал) ежедневно проносились на восток и запад из тюрем к двум гильотинам.

По иронии судьбы, которая смеется над людьми, события вызвали первые ропоты среди экстремистов. Террор был слишком мягким, и, прежде всего, люди с сердцами зверей — остатки гебертистов — ненавидели политику, которая включала, как бы фантастично это ни было, идеал и поклонение Богу. Они ненавидели его полусоюз с тем, что было христианским в Конвенте, и его постоянные призывы к умеренным.

Нижний комитет вел частично независимую жизнь. Было известно, что политика Робеспьера заключалась в том, чтобы подчинить этот орган, как он подчинил все другие органы правительства, Великому комитету общественной безопасности. Поэтому заговор возник именно в этом Нижнем комитете общей безопасности — угрожаемом как в качестве органа, так и в качестве отдельных лиц, находящихся в тесном контакте с полицией в силу своего положения. Большинство его членов присоединились к нему, а из Высшего комитета — Билло и Коло. 7 термидора (25 июля 1794 г.) разразилась буря. Баррер зачитал свой доклад Конвенту, и это было открытой угрозой Робеспьеру.

Происхождение этого доклада заслуживает отдельного обсуждения. Мы видели, что с самого начала доклады, направляемые Комитетом, обычно писал Баррер и зачитывал их в Конвенте. С другой стороны, мы можем обнаружить, как правило, в стиле, а всегда в мнениях, изложенных в докладах, влияние того, кто возглавлял советы Комитета. Так, в документе такого рода, о котором так много говорится в главе VI, дух и, очевидно, многие из фактических фраз являются делом рук Дантона.

Кто составил доклад Баррера, был ли это (возможно) его собственный труд, когда он увидел, что мнение отходит от Робеспьера, или, что более вероятно, он был вдохновлен Билло и Коло и одобрен пятью нейтралами, мы не можем сказать. Главное заключается в том, что Комитет, по крайней мере, разрешил сделать от его имени публичное заявление, враждебное человеку, который через Комитет правил Францией.

В докладе подробно отвергалась политика последних семи недель; в нем подчеркивалась важность побед и несправедливость дальнейших списков жертв. Впервые за четыре месяца Конвент действовал свободно; он распорядился напечатать доклад и разослать его во все коммуны Франции.

На следующий день Робеспьер в последний раз пришел на свое привычное место. Он выступил с последней речью перед парламентом. Еще однажды он должен был появиться, но уже не как оратор и лидер. Читая, как обычно, а не декламируя, медленным ровным голосом, который вызывал такое внимание, такой энтузиазм и такой страх, он сделал свое последнее заявление. Эту речь, как никакую другую, следует прочитать, чтобы понять этого человека. Здесь с силой и точностью изложена теория; там дано описание тех, без осуждения которых эта теория не могла бы быть реализована. Благородный идеал, основанный на эшафоте; догма и подробное преследование бок о бок. Он читал ее медленно от начала до конца, доказывая себе и, как он думал, своей аудитории, совершенство своего идеала и необходимость страшного пути к нему. Но его аудитория не слышала ничего об идеале; она слышала только описание самих себя.

В этом резюме были всевозможные люди, простые демагоги, личные враги, финансисты. Кажется, в рукописи, из которой он читал, было даже написано имя Камбона. Но в этот крайний кризис, когда он осуждал первых людей, чтобы спасти свою собственную позицию, он уже не был Робеспьером. Это не имело никакого значения для его судьбы, но мы судим о нем более точно, когда знаем, что он опустил имя Камбона и не произнес имя Карно, которому он угрожал в частном порядке. Это была попытка компромисса.

Конвент выслушал его и его угрозу. Они уже достаточно слышали о его теориях на протяжении многих лет. Однако сила его медленной, четкой речи, уважение, которое вызывали его последователи, и идея, которую он так хорошо выразил и в которую все в глубине души верили, были настолько велики, что они проголосовали за печать и

распространение этой речи. Камбон и Бийо-Варенн встали, чтобы потребовать отмены голосования. Большое неповоротливое собрание, или, вернее, его большая неповоротливая нейтральная фракция, колебалась, совещалась и уступила требованию. Тогда Робеспьер был обречен.

Пока он читал, пока голосовали за распространение речи, а затем за ее отмену, над его головой и головой парламента висели флаги, взятые в новых победах над англичанами и австрийцами в Туркуане, Ландреси, Кено, Конде, Валансьене, Флерусе, и именно они перевесили чашу весов.

Когда наступил вечер, собрался Клуб, маленькое общество якобинцев, которое по-прежнему было самой независимой и самой жизнеспособной силой в Париже. Оно осмелилось избрать президентом для своих дебатов человека, вся политика которого была противоположна политике Робеспьера; однако теперь оно выслушало его и вспомнило о своем старом кумире. Он перечитал, тем же тоном, но в более знакомой обстановке и с более богатым словарным запасом, утреннюю речь, и его слушатели пришли в восторг. Они освистали и выгнали Бийо и Коло, которые осмелились присутствовать; они кричали Робеспьеру, что всегда будут следовать за ним к идеальной республике; а Давид, прекрасный художник и плохой человек, крикнул ему с задних рядов: «Я выпью с тобой болиголов!», но он побоялся даже признать своего учителя, когда Робеспьер пришел умирать.

В ту ночь якобинцы были готовы подняться на борьбу за Робеспьера. Как и многие меньшинства в этом городе убеждений и ярого энтузиазма, они были готовы навязать себя и свои убеждения столице и всей Франции, но не знали, до какой малочисленности они сократились за последние семь недель. Всю ночь заговор против Робеспьера работал на полную мощность. Боисси д'Англас, лидер «Марша», был приведен. Ему и его последователям Робеспьер был представлен как тиран; тем, кто остался от «Горы», он был объявлен умеренным и компромиссным. Но, прежде всего, для большей части Конвента он был врагом, который разрушил весь гражданский порядок в погоне за своими безумными теориями и даже не придавал значения победам.

Парламент собрался на следующее утро, 9 термидора (27 июля). Прошел ровно год с тех пор, как Робеспьер вошел в состав Великого комитета, но они собрались для того, чтобы осудить Робеспьера. Большой зал ждал грядущего шума. Первым на трибуну вышел Сен-Жюст с его красивым лицом и сильной осанкой, решительный в ораторском искусстве, как и в сражениях, чтобы сразу нанести удар и возглавить атаку. Он был красноречив, потому что пытался спасти своего друга; он смело пытался вести дискуссию, искать компромисс, что угодно; называл это «спасением Республики». «Давайте положим конец его господству, если хотите, но пусть правительство по-прежнему будет правительством Революции, и давайте разработаем такие правила, которые спасут нас от произвола власти, не уничтожая движущую силу национального требования». Это мнение точно соответствовало мнению Конвента, но оратор был известен как молодой телохранитель их врага.

Таллиен крикнул справа: «Откройте занавес», и, хотя этот человек был актером, он попал в самую точку. Сен-Жюст никогда не мог защитить Робеспьера; это было бы прикрытием для продолжения террора. Конвент аплодировал, а затем перешел от аплодисментов к крикам, осуждающим Сен-Жюста, в общественном реве страха и ненависти.

Затем Робеспьер дважды пытался выступить, но шум заглушал его. Во время затишья в буре они проголосовали за арест Анрио. Это означало переход жалкой вооруженной силы, которой он командовал, из рук друга в руки врага. Робеспьер сделал последнюю попытку отменить этот приказ. Его не услышали.

Таллиен получил трибуну от спикера (в тот день спикером был Коло, а Коло был изгнан якобинцами накануне вечером). Таллиен, как всегда, говорил театрально, но по существу. Он сказал, что Робеспьер замышлял уничтожить ассамблею для своих целей, и процитировал речь предыдущего дня. А Баррер, перебежчик, стоял, оглядываясь по сторонам, не зная, как обернутся дела. Робеспьер еще раз попытался ответить, но вызвал только бурю, заглушившую его голос.

Увидев, что ему не дают выступить, он повернулся от места, где стоял, к «болоту», умеренным, и сказал: «Я обращаюсь к вам, справедливые, которые не вступаете в сговор с этими убийцами», но «болото» было для него потеряно — они тоже заглушили его криками.

Наступила небольшая пауза. Они видели, как Робеспьер в пятый раз пытался заговорить, но муки ночи и страшная борьба утра наконец одолели его: его голос был не слышен, хотя он пытался что-то сказать. Гарнье из Оба крикнул ему через зал: «Кровь Дантона душил тебя». Это было самое правдивое, что было сказано на том бурном собрании.

Прежде чем тишина была нарушена, Луше, неизвестный человек, встал и предложил арестовать его, открыто высказав то, о чем все думали: «Никто не будет отрицать, что Робеспьер играл роль хозяина; давайте проголосуем за его арест». Тогда Робеспьер обрел голос. Он поднялся на четыре ступеньки выше своего обычного места, туда, где, высоко вверху и слева от «», с вершины того, что в старые времена было «Горой», он мог видеть всю эту многочисленную ассамблею, с помощью которой он надеялся возродить Францию и спасти человечество. Под ним, как воинство, подобное туманным образам Мильтона Мартина, ряд за рядом, он видел столько голов, что ему, должно быть, показалось, что это целая нация. Он вспомнил все свои мечты о совершенном государстве, о людях, живущих в равенстве, где никто не угнетает и никто не угнетается, о правительстве, основанном на ясной воле всех и на гражданских добродетелях, которые он проповедовал, пока не возникнет совершенная республика, образец для всех народов. Он понял, что он обречен, и вместе с ним все его мечты. Возможно, он также увидел вооруженный деспотизм, который он дважды предсказывал вместо себя. До последнего он не понимал своей глупости и ответил на требование Луше: «Голосуйте за мою смерть».

Ле Бас, который был с Сен-Жюстом в Арденнах, который помог создать великую армию Самбр-э-Мёз, и Робеспьер младший, другой честный человек, пришли и сделали то, что не смог сделать Давид — они сказали, что умрут вместе с ним, и взяли его за руки. Комитет проголосовал, и троих увезли вместе с Сен-Жюстом и Кутоном. Следующая сцена — это конец Революции в Париже.

По крайней мере дважды за предыдущие пять лет Париж восставал против закона и устранял препятствие или человека ради революции. Примером тому может служить случайная муниципалитет 1789 года (который, несмотря на весь свой беспорядок, был предшественником мощной современной системы коммун); 2 июня — еще один пример. В конечном итоге, народ Парижа был единственной силой, на которой опиралось правительство, и именно к нему была обращена последняя апелляция.

Коммуна обладала инициативой в этом вопросе — она была единственным центром Парижа в теории; а теперь, когда клубы «» пришли в упадок (за исключением якобинцев), когда

великие ораторы были изгнаны или умерли, а сами секции не собирались, коммуна была также единственным центром на деле. Но коммуна, как помнят, стала робеспьеровской. Она решила восстать против Конвента.

Конвент приказал арестовать Анрио, который был командующим вооруженными силами (такими, какие они были) города. Он послал его преемника, Эсмарта, выполнить эту работу. Но главарям пик и ружей не хотелось подчиняться человеку, который представлял только закон, и вместо того, чтобы Эсмар арестовал Анрио, Анрио арестовал Эсмарта.

Тем временем другие офицеры коммуны проявили ту же энергию, ту же быстроту исполнения и планирования, которые под руководством лучших лидеров и в лучших целях до сих пор приносили успех. Во главе движения стояли Леско-Пайо (мэр-робеспьеровец, который был поставлен на место Паша 21-го числа месяца Флореаль) и национальный агент Паян. Они отправили приказы в тюрьмы отказать арестованным депутатам, они дали Анрио официальный приказ использовать всю свою силу и действовать. Они подняли якобинцев. Они сформировали комитет из девяти человек, которые должны были взять на себя управление; они приказали арестовать своих главных врагов в Конвенте и, что наиболее важно, созвали секции.

У них была только одна ночь для работы — с 9 по 10 термидора — и *они* работали с лихорадочной энергией, но не хватало самого важного — лихорадка не распространилась. Инертность народа, даже его неодобрение, были очевидны по мере того, как они действовали; большинство секций, которые все же собрались, держались в стороне или осуждали дело Робеспьера.

Еще при свете дня, между восьмым и девятым вечера, Робеспьер, которого отказались принять охранники тюрьмы Люксембург (), был доставлен в мэрию, и туда один за другим прибывали все арестованные депутаты, пользуясь официальной процедурой; ведь мэрия была «правильным местом» для заключенных, когда возникали трудности с их содержанием под стражей в Париже. Но в ту ночь официальная процедура имела странного союзника, поскольку, пока чиновники доставляли туда заключенных, небольшая группа мятежников, не зная более подходящего места, привела туда тех, кого они освободили силой. Робеспьер снова был с самыми верными из своих друзей — своим братом, Сен-Жюстом, Кутоном; он был окружен организованным и законным органом, Коммуной, которая встала на его защиту; они прошли в Отель де Виль, а снаружи, на площади Грев, между десятью и одиннадцатью часами собралась довольно большая группа Национальной гвардии. Но среди них не было порядка, и их офицеры не имели точного представления о том, что нужно делать. Из окон комнаты, где сидели Робеспьер и его товарищи, можно было смутно видеть движущуюся толпу, состоящую из граждан и гвардейцев, которые скорее обсуждали, чем готовились к действию.

Робеспьер отказался возглавить движение; по крайней мере, только так можно объяснить задержку и путаницу. До последнего он оставался странной смесью юриста, педанта и идеалиста. Он не хотел действовать без законных прав, потому что его педантизм запрещал ему это, и не хотел действовать с вооруженным меньшинством, потому что, судя по его теориям, это было бы преступлением. Возможно, в самый последний момент он решил действовать: существует документ, санкционирующий марш на Конвенцию, и внизу на нем стоят первые три буквы его имени — подпись незавершенная, прерванная.

Тем временем Конвент обрел новую энергию и силу коллективных действий, которые долгое время были ему чужды — каждый человек там защищал свою жизнь. Лежандр с небольшим отрядом пошел и закрыл якобинцев. Баррасу было поручено командование всеми

вооруженными людьми, которых удалось собрать; два комитета послали эмиссаров, которые успешно обратились к секциям. Конвент был законом, который всегда значил так много для народа; он был авторитетом конституции. Его большинство, которому подчинялись, когда оно пребывало в летаргии, не могло не добиться успеха, когда пробудилось. Весь Париж защищал его.

В полночь одна из внезапных гроз, которые в это время года часто бывают в долине Сены, рассеяла остатки толпы перед Отель-де-Виль. Они обсудили обе стороны и не пришли к решению — вряд ли это была армия для восстания; они сомневались, зачем они там собрались, и с дождем разошлись по домам. Однако только через два часа, ранним утром, небольшая группа членов Конвента пришла на площадь. Они застали ее почти пустой, с небольшими группами людей, стоящих на мокрой брусчатке, сонными, но любопытными.

Бурдон и несколько полицейских вошли в Отель де Виль и не нашли там защитников. Они поднялись в комнату, где сидели заговорщики.

Робеспьер лежал на полу с переломанной челюстью от выстрела из пистолета.

В половине восьмого вечера того же дня (10 термидора) двадцать два робеспьеряна были отвезены на трех телегах к гильотине. Сам Робеспьер, полубессознательный от ранения, стоял, прислонившись к борту телеги, с забинтованной головой, связанными руками и подбородком, прижатым к груди. Его тело было привязано веревками к бортам телеги. Он проехал мимо дома, где его укрыл Дюпле и где он спрятался, чтобы не слышать шума телег палачей. Теперь под ним тяжелые колеса издавали тот же звук на ухабах улицы Сент-Оноре. На перекрестке телега остановилась, чтобы пропустить похороны мадам Эгюэ (), которая накануне покончила с собой из-за страха перед Робеспьером.

Когда они приблизились к площади Революции, где пострадали Людовик и Дантон, вероятно, на повороте улицы Сент-Оноре, где появилась гильотина и где Дантон спел свою песню, из толпы вышла женщина — несомненно, кто-то, кого его тирания непосредственно лишила близкого человека — и нанесла Робеспьеру удар. В течение шестнадцати часов он не говорил и не давал никаких знаков, но когда он почувствовал через этот удар народную ненависть, он сделал жест презрения и отчаяния; он пожал плечами, но сохранил свои бесчисленные мысли под повязками. *«Умереть за народ и быть им ненавидимым».*

Затем, как рассказывают нам величайшие французские историки, Франция пошла по широкой дороге к могиле, где она оставила два миллиона человек.

Но армии великих двадцати лет нельзя описать с точки зрения амбиций одного человека, ни обобщить с помощью простых формул, которые справедливая ненависть к цезаризму сформулировала для их объяснения. В основе каждой битвы Империи лежала организация и энтузиазм 1793 года. Тактика Аустерлица и Йены была усвоена во Фландрии; энтузиазм самой гвардии явно происходил от воодушевления Самбр-э-Мёз.

В этой книге мы попытались оценить первого человека великого кризиса в контексте его времени; еще более важно, что, рассматривая последствия его действий, вся вооруженная нация должна стоять в правильном историческом контексте, а ее гигантские усилия — быть неотъемлемой частью высшей необходимости.

Мы можем понять, мы можем говорить рационально и, следовательно, правдиво о Дантоне, когда мы показываем его прежде всего любящим и защищающим Францию и революционное дело: эта же самая оценка () позволит нам ясно проследить непрерывное развитие его действий. Не будет преувеличением сказать, что до Тильзита французы должны

были либо продвигаться вперед, либо быть разгромленными — нация, вероисповедание и люди.

Люди и армии должны быть для нас людьми и армиями, которые придали новую силу Европе; детали их действий не должны быть предметом нашего суждения, а их отношение ко всему сообществу — его потребностям, его защите, его вере.

По мере того как время между тем периодом и нашим собственным увеличивается, навязывается справедливая пропорция. Пламя, которое, находясь рядом, горело в бесформенной печи, начинает принимать определенную форму. С такой отдаленной точки зрения, что никакая живая память не может преодолеть эту пропасть, мы можем измерить свет, тепло и даже топливо этого пламени.

Что касается его окончательного значения в нашем обществе, то с каждым днем оно становится все яснее; и, если изменить метафору, становится все более очевидным, что какие бы кризисы ни переживала западная цивилизация и какую бы форму ни приняло в конечном итоге ее здание, когда шум строительства утихнет, краеугольный камень с его огромной прочностью и точностью линий был задуман философией и высечен силой Революции. Цивилизации умирают, и наша умирала еще до того, как этот ветер пронесся по Европе.

Было бы плохим оправданием для того, чтобы не убирать обломки, пыль и гниль старого мира, утверждать, что упадок был результатом веков и что только старые вещи достойны почитания. Только старые вещи достойны почитания, но старые вещи, которые состарились на справедливых и надежных основах, к которым время добавило украшения и удовлетворение гармоничными цветами, не разрушая основных линий и не подрывая силу, которой они живут.

В настоящее время существуют только новые фундаменты. Они сырые, они не удовлетворяют нас ничем надолго, они очень далеки от того, чтобы дать нам чувство удовлетворения, которое является первым условием счастливой цивилизации. Но время в этом случае, как и во всех других, сделает свою работу по созданию гармонии и завершению. Окончательное общество не будет лишено своей бесчисленной сложности деталей, своего юмора и своей внутренней жизни. Конечно, оно не останется долго чужим невидимому, но оно будет построено на 1793 году.

Между тем свет проливается на истоки. Личная горечь, порожденная борьбой, прошла. В той или иной семье во Франции по-прежнему с благоговением вспоминают о себе как о революционной фракции, но ненависть, которая вызывала замешательство у честных критиков и давала такой богатый материал для ложной истории, эта ненависть исчезает во Франции. Вендетты прекратились, и более грубые клеветы больше не слышны. История революции стала возможной, когда Луи Бланк сел, чтобы проклясть переворот, убивший его отца, и закончил тем, что создал произведение, которое больше всего прославило крайний революционный идеал.

История того времени теперь похожа на фотографический негатив, который человек фиксирует, смывая белые облака с чистых деталей пленки. Точка за точкой, а затем все быстрее и быстрее целые пространства выделяются четкими и правдивыми. И уверенность, которую он испытывает в том, что лежащая в основе картина является точным воспоминанием о природе, приходит и к нам, когда мы выделяем и фиксируем какой-то отрывок из революции, очищенный от массы слухов, ругательств, невежества и пустых звуков.

Мы начинаем видеть великую картину, согласованную в деталях и последовательную в действии. Необходимость реформ; свет идеала, поражающий умы людей после долгого сна, сначала холмы, а затем равнины; привилегии и все интересы немногих, встревоженных и воинственных; угроза нападения и подготовка к обороне; противостояние крайностей по обе стороны границы, нарастающее с возрастающей скоростью, пока, наконец, каждый противоположный принцип не стал взаимно возбуждать другой, как магниты, и из небольшого течения мнений возникла сила, которой никто не мог противостоять. Правительства всего мира были за уничтожение французского народа, а французский народ был за искоренение всего, хорошего и плохого, что было связано, пусть даже слабо, со старым режимом.

Риторика исчезла в дыму пожара, неосязаемые, полные слов, которые могли вести и вдохновлять, но пустые от действий, которые могли бы укротить бурю. Из их ухода, который так же неопределен, как видение, мы слабо слышим «Марсельезу» жирондистов.

Люди действия и кризиса ушли. Они сгорели в жаре, которую сами разжег, но в этой печи нация была прокалена, закалена и создана. Затем пришли армии: Франция остыла от плавильной печи, но была готова к действию и способна действовать.

Везде, где проходила Франция, революционное дело оставалось наследием ее убеждений и ее силы. Оно остается с каким-то железным смехом для тех, кто считает эту идею мимолетным безумием. Философы определились с новой философией; юристы ясно доказали, что никаких изменений не произошло; риторика была полностью высмеяна, энтузиазм стал смешным, а люди действия прокляты. Но вслед за французским походом появляются граждане, которые владеют землей и судятся по равным законам; национальности сливаются воедино, патриотизм поднимается под призывом нового патристического кредо; Германия, Австрия, Венгрия, Богемия, Италия осознают себя чем-то большим, чем просто границы суверенитетов. Не было и отвращения к старому упадку, его мучениям, его позорам, его привилегиям, его разрешенным оскорблениям или его рабству, но она полностью искоренила их. В Германии, Австрии, Италии () они исчезли. Только в одном темном углу они остались — на большом северном поле, где сама Франция стала бессильной от холода и откуда неизвестное правление и продвижение неумолимых вещей теперь угрожают Европе.

Но при упоминании об этом замерзшем месте возникает мысль, более древняя, чем все наши теории, — скорбь о мертвых. Дантон помог создать нас и был убит: его усилия увенчались успехом, но трагедия осталась. Армия, источником которой он был, капитан, унаследовавший его дело, изнемогли в создании нового мира. И я закончу эту книгу последним долгом скорби, как мы, верящие в бессмертие, все же разбиваем сердца о мертвых.

Среди крестьян в России ходит легенда о некой мрачной фигуре на лошади, нереальной, лишь очертаниях и облаке, которая ушла в Азию, на восток и на север. Они видели, как он двигался по их снегам в долгих таинственных сумерках северной осени в тишине, с опущенной головой и рыхлыми поводьями в левой руке, следуя какой-то непреклонной цели, стремясь к древней одиночеству и покою. Говорят, что это был Наполеон. За ним в течение нескольких дней тянулись тени солдат, смутные туманы, в которых слабо проступали очертания рот людей. Это было так, как будто дым пушек Ватерлоо, унесенный легким западным ветром того июньского дня, принял в себя дух двадцати лет сражений и уносился все дальше и дальше в течение осени над бесконечными равнинами.

Но не было ни голоса, ни приказа. Ужасный топот гвардии и звук, который любил Гейне, танец французских барабанов, затихли; не было эха их песен, потому что армия была армией призраков и была разгромлена. Они прошли в тишине, которую мы никогда не сможем пробить, и где-то вдали от людей они спят в биваке вокруг великолепнейшего из человеческих мечей.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I

ПРИМЕЧАНИЕ О КОРДЕЛЬЕРАХ

Место, когда-то занимаемое Корделиерами, является одним из самых интересных в Париже, и имеет определенное значение, чтобы обрисовать его историю и воссоздать его облик более подробно, чем это было возможно в тексте.

Вся земля от Сен-Жермен-де-Пре на север вдоль холма принадлежала этому аббатству с момента его основания, когда первая династия франкских королей наделила его большим имением, выделенным из того, что когда-то было римскими фискальными землями на южном берегу. Вокруг самого аббатства собралось несколько домов, образовавших «Фаубург» (или пригород) «Сен-Жермен», но большая часть поместья представляла собой открытые поля и луга. Когда Филипп Август построил свою великую стену вокруг Парижа, она пересекла поместье, оставив церковь и аббатство Сен-Жермен за пределами города, но охватив небольшую часть полей в пределах его границ.

Сегодня можно проследить линию стены, обратив внимание на улицу «Rue de Monsieur le Prince», которая когда-то называлась «Rue des Fossés Monsieur le Prince» и проходит по линии внешнего рва. Стена пролежала не далее двадцати ярдов к востоку от современной улицы и точно параллельно ей. Часть ее еще можно увидеть в этом районе, в виде большой полой ниши, встроенной в стену одного из домов, сапожной мастерской в Cour du Commerce; это одна (по-моему, последняя) из полубашен, которые фланкировали стену Филиппа Августа.

В начале XIII века, вскоре после смерти святого Франциска, в Париж прибыли первые проповедники нового ордена, основанного им (). Это был момент, когда университет поднимался на вершину, строил свои колледжи, уже несколько лет обладая своей хартией, и уже являлся сильной, организованной, богатой и, следовательно, консервативной организацией. Этот орден проповедников, странствующий, совершенно новый и основанный мистиком, место которого в христианском мире еще не было окончательно определено, был обречен на столкновение с духом того места. Необходимо помнить, что XIII век был не переходным, а, напротив, временем устоявшегося порядка. На протяжении столетия оно знало римское право, повсюду было распространено готическое зодчество, были систематизированы и узаконены грубые особенности феодальных обычаев; оно было богатым, гордым и успешным. На него обрушилось одно из тех творений, которые возможны только в эпоху энергии, но которые почти всегда вступают в конфликт с эпохой, породившей их. Орден, посвятивший себя простоте, сделавший святую бедность основой внутренней

жизни, специально созданный для бедных (которых растущее различие в обществе начинало унижать), ранние францисканцы были по сути революционерами, потому что они строили на великих основах всех активных и постоянных реформ — я имею в виду стремление к первобытным условиям и решимость прорвать сеть сложностей, которую долгое время плело консервативное общество.

Богатое аббатство Сен-Жермен предоставило им убежище. Оно гордилось тем, что имело подданных, было достаточно велико, чтобы позволить себе благотворительные эксперименты, и с удовольствием оскорбляло университет, который в его глазах был выскочкой и начинал проявляться как мощный соперник в делах южной части Парижа. Таким образом, францисканцам, которых народ уже называл «кордельерами» из-за веревочного пояса на их одежде, было позволено поселиться в том маленьком уголке их поместья, который был отрезан строительством городской стены, и они заняли треугольник, юго-западную границу которого составляла стена, а северо-восточную — переулок (впоследствии названный «Rue des Cordeliers»), а нерегулярная линия, ограничивающая одно из поместий университета, — юго-восточную сторону.

Это было в 1230 году. Св. Людовик был еще пятнадцатилетним мальчиком. Для университета это небольшое учреждение было лишь нежелательным соседом, которого он не мог изгнать, а для аббатства Сен-Жермен — всего лишь гостем. Их временное право владения не позволяло им звонить в колокола и иметь общественное кладбище.

Однако Сен-Луи вырос в мужчину, который, несмотря на всю свою набожность, прекрасно понимал окружающее его общество. Святой, который никогда не был священником, и Капетин, который во всем предпочитал дух буквы закона, стали их главной опорой. Папство, однажды (хотя и с неохотой) признавшее францисканское движение во время встречи Иннокентия III с его основателем, продолжало защищать его и в следующем поколении. Находясь вдали, где споры университета мало влияли на него, Святой Престол разрешил более одного спора в пользу новоприбывших, и францисканцы Парижа процветали чрезвычайно. К 1240 году им были предоставлены все привилегии независимого фонда. У них есть своя общественная служба, свое кладбище и свои колокола. Святой Людовик помог им построить новую часовню, предоставив им в 1267 году часть огромного штрафа, который он наложил на Энгеранда де Куси. В конце концов им удалось добиться признания университета; им разрешили преподавать; среди их лекторов были Дунс Скот и Святой Бонавентура; и они стали одним из самых известных колледжей.

В средние века (помимо некоторых небольших построек и нескольких частных домов, которые было разрешено возвести на их земле и которые технически назывались «dépendances») фундамент составляли три основные группы зданий. Во-первых, сам монастырь, несколько нерегулярной формы, простиравшийся (в целом) с севера на юг и отделенный от Rue des Cordeliers небольшим двором или садом. Во-вторых, от северного конца этого монастыря, образуя, так сказать, букву L с главным зданием, располагалась часовня, простирающаяся, конечно, с востока на запад и образующая южную сторону улицы Rue des Cordeliers, на которой находился главный портик. В-третьих, также простирался с востока на запад, но отделенный от других зданий небольшим пространством, был зал.

Этот знаменитый памятник, единственная сохранившаяся часть колледжа, стоял вдали от улицы, посреди территории монастыря. Он находился на восточной стороне монастыря и, таким образом, в плане здания уравнивал (так сказать) церковь, которая располагалась к западу от главного здания; она была спроектирована таким образом, что ее западный конец был обращен примерно к середине колледжа.

Я назвал его залом, потому что его назначение точно соответствовало назначению залов в наших английских университетах. То есть он был одновременно трапезной и лекционным залом. К нему вела небольшая улочка, проходящая через территорию под боком монастыря, позже застроенную домами.

Здесь не только слышались голоса великих ученых и обсуждались тонкости XIV века, но и Этьен Марсель созвал Генеральные штаты 1357 года. Отсюда этот Дантон средневекового вторжения послал своих посланников к феодалам. Здесь собрался округ для выборов 1789 года; здесь клуб собрался в 1791 году и инициировал дебаты, которые в конечном итоге привели к созданию Республики в следующем году. Именно здесь были придуманы три лозунга Республики; здесь Эрберт завуалировал Декларацию; и здесь были произнесены последние слова 1794 года. Здесь век, который, возможно, обязан этому месту больше, чем любому другому во Франции, собрал музей хирургии, где можно увидеть аномалии, сохраненные в спирте, скелеты, подвешенные на проволоке, и другие предметы, скорее интересные, чем возвышенные.

Что касается колледжа и его поместья, то в течение примерно трехсот лет, то есть в XIV, XV и XVI веках, их значение продолжало расти. Общеизвестно, как скоро чистые идеалы святого Франциска пришлось скомпрометировать миром. Этот орден, как и все другие, стал богатым, укоренившимся и традиционным. По мере роста Парижа кордельеры обнаружили, что владеют самым ценным участком земли, стоимость которого постоянно росла. Они оставили сад на западе, но на остальной территории, особенно вокруг зданий и вдоль переулков, были построены дома. Когда стена Филиппа Августа сначала была поглощена ростом города, а затем частично разрушена, кордельеры купили пристройку к своему поместью, так что оно простиралось немного за пределы новой улицы «Фоссе», построенной на месте рва. В 1580 году их старая часовня XIII века (которая, должно быть, была одним из лучших образцов ранней готики в Париже) сгорела, и по благочестивой инициативе Генриха IV была построена более крупная часовня в стиле того времени. На протяжении XVII века здание, по-видимому, подвергалось разрушению, которое продолжалось в течение следующих ста лет и достигло своего апогея в период революции. Они разрешили отчуждение полосы земли к западу от своих владений, через которую муниципалитет проложил в 1673 году новую улицу, которую в честь ордена называли «Rue de l'Observance» по названию их правила.

За этим исключением, никаких значительных изменений, которые могли бы изменить облик квартала, не произошло вплоть до революционного периода, о котором мы будем говорить.

После этого общего описания мы можем определить местонахождение Кордельеров в современном Париже. Спускаясь по бульвару Сен-Жермен, непосредственно перед бульваром Сен-Мишель (если двигаться на восток), вы увидите улицу, отходящую под небольшим углом вправо. Это Rue de l'École de Médecine, колледж, в честь которого она названа, выходит как на эту улицу, так и на бульвар. Эта улица — просто расширенная и модернизированная Rue des Cordeliers. Пройдя несколько метров по этой улице, вы увидите слева большой двор колледжа, а если вы встанете у его ворот и посмотрите на противоположную сторону улицы, на новые здания, которые сейчас являются лекционными залами и театрами факультета, то вы увидите место, где раньше стояла старая церковь, исчезнувшая в этом столетии. Улица была расширена за счет сноса южной стороны, так что церковь фактически перекрывала бы современную улицу. Продолжая идти, вы пройдете справа от открытого двора, ведущего к тому, что было залом Кордельеров, а сейчас является музеем хирургии (Музей Дюпюитрена), и через несколько метров вы попадаете на бульвар

Сен-Мишель. Пройдя по этому очень широкому проспекту не более двадцати метров, вы можете заметить новую улицу, «Rue Racine», поворачивающую направо. Ее не было во времена Дантона, но она проходит *почти* по линии, которая отделяла Корделье от Колледжа д'Аркур (ныне Лицей Сен-Луи). На самом деле линия пролегла немного южнее улицы Расин и, конечно, была более неровной. Улица Расин, в свою очередь, приведет вас к старой улице «Rue de Monsieur le Prince». Если вы снова повернете направо и пройдете по ней несколько сотен метров, вы все еще будете следовать по границе Кордельеров, пока не дойдете до улицы «Rue Antoine Dubois». Она идентична старой улице «Rue de l'Observance», о которой говорилось выше, и через несколько шагов по этой короткой улице вы дойдете до отправной точки на улице «Rue de l'École de Médecine». Такой современный маршрут максимально точно описывает периметр колледжа и поместья Кордельеров. Четырехугольник, образованный этими четырьмя улицами — Rue de l'École de Médecine, Rue Racine, Rue M. de le Prince и Rue Antoine Dubois — является местом расположения знаменитого монастыря и его территории.

Чтобы воссоздать этот квартал в 1788 году, мы должны представить себе следующие изменения: Rue de l'École de Médecine, очень узкая улица, большая часть южной стороны которой примыкала к церкви и старой стене монастыря. Она вела к небольшой узкой улочке под названием «Rue de la Harpe», которая поднималась прямо на холм и соответствовала полосе, проходящей точно по центру нынешнего бульвара Сен-Мишель. Первые несколько зданий здесь, в частности церковь Сен-Ком, все еще находились на территории поместья Корделье. Однако чуть выше них начинались земли и здания «Колледжа д'Аркур». Как мы уже отмечали, улицы Расин не существовало, как и ничего, что ей соответствовало бы. Чтобы пройти по границе поместья, нужно было войти через боковую дверь, а затем следовать вдоль длинной неровной стены, отделявшей их землю от Колледжа д'Аркура. Эта стена, проходя через большой сад, выходила на улицу Monsieur le Prince, а остальная часть маршрута в основном соответствовала сегодняшнему.

Наконец, чтобы увидеть здание таким, каким его видел Дантон, нужно представить себе полузаброшенное место, богатое, но малопосещаемое, подобное некоторым старым юридическим гостиницам, которые когда-то стояли в Лондоне, со старыми стенами, появляющимися то тут, то там между домами столетней давности; массу неровных зданий, садов и частных домов, безнадежно перемешанных между собой; а в конце узкого и темного прохода стоял зал, который до сих пор остается наиболее хорошо сохранившейся частью колледжа и с которым ассоциируется его имя.

II

ПРИМЕЧАНИЕ О НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ, УПОМЯНУТЫХ В ЭТОЙ КНИГЕ

Тем, кто желает более подробно изучить личную историю Дантона, может быть интересно узнать, где в современном Париже находятся места, с которыми мы связали его лично в этой книге.

Его первые офисы находились на улице Ру-де-Мове-Пароль. Эта улица исчезла в результате благоустройства, которое включало продление улицы Риволи. Этот офис на улице Ру-де-Мове-Пароль занимал почти точно то же место, которое сегодня можно узнать следующим образом. Идя по северной стороне улицы Риволи на восток, вы дойдете до места, расположенного примерно в 500 ярдах от Лувра, откуда вы начнете видеть башню Сен-Жак, выглядывающую из-за южной стороны улицы. Магазины, которые находятся слева от вас, и

тротуар, на котором вы стоите, соответствуют расположению старого мансардного дома, в котором Дантон проходил стажировку. Именно здесь у него были его первые офисы; именно отсюда он купил бизнес месье М. де Пейзи на улице Тиссандри.

О местоположении этих офисов на улице де ла Тиссандри, куда он переехал, мне ничего не удалось узнать. В полицейских архивах Парижа есть любопытная небольшая запись — Дантон жалуется, что не может работать из-за шума, который производит седельный мастер, занимающийся своим ремеслом в том же доме. В этом небольшом документе, который цитирует месье Кларетье в своей «Жизни Камиля Демулена», дом упоминается как «находящийся прямо напротив Rue des Deux Portes»; но поскольку из той же записи можно сделать вывод, что он сразу же переехал в другое жилье на той же улице, это нам не очень помогает.

Я уже упоминал в тексте, что Дантон в течение шести лет своей активной политической деятельности жил в доме на Пассаж-дю-Коммерс. Я также упомянул в тексте, что доктор Робине упоминает о коротком проживании на улице Фоссе-Сен-Жермен. Кроме того, в том же отрывке я привел свои доводы в пользу того, чтобы последовать за М. Оларом и отвергнуть этот первый адрес. Кажется доказанным, что после того, как он покинул Rue de la Tissanderie, он переехал с женой в угловой дом Passage du Commerce. Это был его дом на протяжении всей революции, и стоит с некоторым вниманием описать его расположение и характер.

Во-первых, он исчез; строительство бульвара Сен-Жермен уничтожило всю эту часть Кур-дю-Коммерс. Если вы идете по бульвару Сен-Жермен с запада в сторону университета, то справа вы пройдете мимо статуи Дантона. Она установлена на открытом треугольном участке земли, образованном пересечением бульвара и улицы де л'Эколь-де-Медисин. Вершина этого треугольника, менее чем в двадцати ярдах от статуи, отмечает место, где стоял старый дом, в котором жили Дантон и Демулен и в котором они были арестованы перед судом.

Старый квартал представлял собой сеть узких улочек, а там, где сейчас находится бульвар Сен-Жермен, сложный квартал домов с внутренними дворами и проходами, не отличающийся от подобных сложных массивов, которые можно найти в лондонском Сити, образовывал северную сторону улицы Корделье (то есть современной улицы Эколь-де-Медисин). Узкий переулок, известный как Кур-де-Коммерс, соединялся с улицей Корделье еще более узким проходом. Дом Дантона был угловым, о чем свидетельствует упоминание в описи, что некоторые комнаты выходили на этот проход, а некоторые — на улицу Корделье.

Конечно, он не занимал весь дом, но, по парижскому обычаю, который существовал уже более века, он снял квартиру, и к ней были добавлены две комнаты (используемые как кладовая и спальня для прислуги) с нижнего этажа. Эта квартира была такой же, как и квартира подобного буржуазного домовладельца в современном Париже: столовая, две спальни, кабинет, небольшая библиотека, гостиная, кухня и подсобные помещения, построенные вокруг лестницы и внутреннего двора или колодца дома.

Мне не удалось найти никаких упоминаний о сумме арендной платы, но, по-моему, предположение о том, что в то время в этом районе за такую квартиру платили около 150 фунтов стерлингов в год, не будет чрезмерным. Соответствующую квартиру наверху Демулен занял после своей романтической свадьбы в декабре 1790 года, но начал жить в этом доме

только в начале 1791 года. Именно здесь родился его маленький Гораций; именно здесь его жена и жена Дантона провели страшную ночь 10 августа, и именно здесь, в большой спальне с видом на Rue des Cordeliers, в феврале 1793 года умерла жена Дантона.

Что касается мебели маленькой квартиры, то ее можно описать следующим образом: гостиная была не очень большой, но на ее обстановку была потрачена самая значительная сумма из всех расходов на меблировку дома. Она составляет почти треть от общей стоимости, которая приведена в [Приложении VII](#). Белая мебель, которая была характерной чертой XVIII века, была ее главной особенностью; также стоит отметить, что в доме было достаточно тесно, чтобы использовать шкафы в гостиной в качестве гардеробов. Главная спальня была хорошо меблирована, но, как и в большинстве подобных домов в Париже, кабинет, столовая и запасная комната рядом с кабинетом были очень скудно обставлены. Также примечательно, что в кладовой не было ничего, кроме двух сундуков и старой двуспальной кровати. Это был дом человека, который прилагал все усилия, чтобы сохранить свое положение перед друзьями своей жены, но который не был богат и, очевидно, установил уровень своих расходов значительно ниже вероятных доходов, которые приносила бы такая должность, как его. Я очень сомневаюсь, что на такое хозяйство уходило бы до 500 фунтов в год, хотя он, безусловно, получал 1000 фунтов. Мы знаем причину этого: он должен был всеми силами погасить долг, который взял на себя, покупая практику. Пока он жил в этом доме и до тех пор, пока в 1790 году его должность не была упразднена, он продолжал держать свои рабочие комнаты на улице де ла Тиссандри. Стоит упомянуть, что у него было два слуги, а его квартира находилась на первом этаже, а квартира Демулена — на втором.

Что касается Кордельеров, о которых говорится в предыдущем примечании, то зал, в котором они впервые проводили свои собрания, все еще существует (как мы уже упоминали в тексте) под названием Musée Dupuytren. Церковь Кордельеров, в которую они впоследствии переехали, исчезла, но последнее помещение клуба (когда муниципалитет выгнал их из церкви в 1791 году) все еще существует и находится по адресу Rue Thionville, 105. Тесть Дантона был хозяином кафе на Quai de l'École. Этот дом все еще существует. Если я не ошибаюсь, он был немного изменен во время реставрации во времена Второй империи. Это дом, который сейчас стоит на юго-западном углу площади Эколь и выходит с одной стороны на набережную, а с другой — на площадь. Однако улица и набережная перед кафе г-на Шарпантье были несколько наклонными по отношению к современной улице и пролегали не столько с востока на запад, сколько с юго-востока на северо-запад, чем сегодня.

Набережная была поднята, а старый фонтан на площади Эколь был разрушен. В остальном квартал остался практически неизменным. Позже кафе прославилось своими игроками в карты, и эта репутация сохраняется до сих пор.

III

ПРИМЕЧАНИЕ О ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРОДАЖНОСТИ ДАНТОНА

В этой заметке я не буду вдаваться в общие соображения, которые привели большинство современных историков к отказу от легенды о продажности Дантона. Эти общие соображения являются, безусловно, самыми весомыми аргументами, на которые мы можем опираться в этом вопросе, но я полагаю, что характер, который я попытался нарисовать в тексте книги, будет достаточным их подтверждением.

Я также не хочу настаивать в этой заметке на неоспоримой ценности двух основных современных авторитетов в Англии и Франции (г-на Морса Стивенса и г-на Олара), которые оба считают этот вопрос окончательно решенным в пользу Дантона. Я достаточно настаивал на этом в тексте. Я постараюсь процитировать современные обвинения, определить, насколько на них можно полагаться, показать их характер и описать, каким образом и в какой степени они объясняются документами, которые с тех пор стали доступны.

Прежде всего, список тех современников, которые считали его продажность несомненной. Он весьма внушителен.

Мирабо (письмо Ламарку, четверг, 10 марта 1791 г.) — ... «Монморен рассказал мне ... об определенных планах ... например, что Бомез и ... Д'Андре вчера ужинали вдвоем и завоевали доверие Дантона ... а затем предложили снести Винсенн, чтобы завоевать популярность. Дантон вчера получил 30 000 ливров, и у меня есть доказательства, что Дантон вдохновил последний номер газеты Демулена... Если это возможно, я намерен рискнуть 6000 ливров, но в любом случае они будут распределены более невинно, чем 30 000 ливров Дантона». Здесь мы видим категорическое заявление, в котором человек говорит то, что часто говорил суд (а Мирабо в то время был агентом суда «»), «Я управлял Дантоном за такую-то цену», и этот отрывок косвенно дает нам имя Монморена. Следует обратить внимание на дату.

Бертран де Мольвиль, гораздо менее практичный и гораздо менее осторожный человек, чем Мирабо, а также исключительно ненадежный авторитет, пишет следующее: «Memoirs Particuliers», i. 354. «От рук этого человека Дюрана, под руководством Де Монморена, Дантон получил более 50 000 франков, чтобы предложить определенные предложения якобинцев. Он довольно верно выполнял этот договор, но оговорил, что ему должна быть предоставлена свобода в выборе средств, которые он будет использовать». ... И снова ... «В первых дебатах по делу короля печально известный Дантон, услуги которого были так дорого оплачены *из гражданского списка*, был одним из тех, кто проявлял наибольшую жестокость. Я был тем более встревожен, что этот негодяй в тот момент (осень 1792 года) был самым влиятельным и опасным человеком в Ассамблее. Горячая забота о безопасности короля, которая заставляла меня считать все средства законными, подсказала мне этот способ против Дантона, чтобы нейтрализовать ярость этого чудовища; и хотя выбранный мною метод требовал лжи, я без малейших угрызений совести не колебался его применить. 11 декабря я написал ему: «Я не могу не сообщить вам, господин, что я нашел в бумагах покойного месье Монморена записки с датами выплат из средств секретной службы, в том числе квитанцию, написанную вашим почерком. До сих пор я не использовал этот документ, но предупреждаю вас, что я вложил его в письмо, которое пишу президенту Конвента, и я распоряжусь, чтобы его напечатали и расклеили на углах улиц, если вы не будете вести себя должным образом на суде над королем». На самом деле Монморен показал мне эти документы год назад, хотя и не передал их мне. Но Дантон знал о их существовании и знал, насколько близкими были мои отношения с Монмореном. Он не ответил на письмо, но я увидел в опубликованных газетах, что он назначил себя депутатом в миссии к армии Севера. Он вернулся только в конце суда над королем и ограничился тем, что проголосовал за смертную казнь, не высказывая никакого мнения». (Particular Memoirs, ii. 288-291.) Я прошу читателя особо отметить этот отрывок, к которому я вернусь в конце своей заметки, поскольку его ложность легко доказать с помощью внутренних свидетельств. Он, действительно, имеет большее значение для того, кто желает написать биографию самого Бертрана, чем для того, кто пишет биографию Дантона.

В-третьих, Лафайет говорит (Мемуары, iii. 83-85): «Дантон, чек на 100 000 франков которого находился в руках Монморена, просил голову Лафайета; это было очень рискованно, но он полагался на благоразумие Лафайета и на то, что тот сохранит тайну. Если бы Лафайет проговорился, это означало бы подписать смертный приговор Монморену, который заплатил Дантону, чтобы умерить его анархическую ярость». И снова (iv. 328-330) он говорит о Дантоне: «Он был вульгарным трибуном и неспособен был отвратить массы от зла убеждением или уважением, но он умел льстить их страстям и т. д. и т. п...Я знал его с первой недели революции в районе Корделье, куда меня привлекло. После 6 октября он взял деньги у Монморена, которого в результате убил 2 сентября. В связи с этой тайной он однажды сказал мне: «Генерал, я знаю, что вы меня не знаете, я больше монархист, чем вы»... Позже я узнал от человека, которому мадам Элизабет рассказала об этом, что около 10 августа он получил значительную сумму, чтобы направить движение в пользу короля, и действительно, он добился того, что королевская семья была отправлена в Темплъ. Он сказал другу короля: «Это я спасу его или убью»».

В-четвертых, есть Бриссо (iv. 193-194). «Среди получателей жалованья Орлеана был... Дантон. Я видел квитанцию на 500 000 франков, которые ему выплатил Монморен. Он был продан двору, чтобы подтолкнуть революцию к чрезмерностям, которые сделали бы ее ненавистной для большей части французов».

В-пятых, мадам Ролан (которая так много говорит против человека, столь глубоко ей антипатичного) имеет следующий особый отрывок о его коррумпированности (издание Даубана, 1864, стр. 254-255): «Он отправился в Бельгию, чтобы увеличить свое состояние, и осмелился признать, что его состояние составляет 1 400 000 франков, чтобы вести роскошную жизнь» и т. д. и т. п.

В-шестых (если это стоит цитировать), среди бумаг, оставленных Робеспьером, в заметках, которые легли в основу доклада Сен-Жюста, есть такие слова: «Дантон был обязан Мирабо; именно Мирабо добился для него возмещения расходов на его практику. Даже говорили, что ему заплатили дважды. Я слышал, как он признался Фабру в некоторых кражах обуви, принадлежащей армии».

Таковы современные обвинения. В связи с ними следует отметить следующие моменты. Никто не говорит, что он сам платил деньги; суммы денег очень разные. По мнению одних, они выплачивались в нескольких конкретных случаях, по мнению других — во всех случаях. Наконец, каждое обвинение, имеющее какое-либо определенное основание, вращается вокруг имени Монморена. «Монморен держал квитанцию», «Монморен сказал мне» и так далее. Теперь, если мы вспомним, что Монморен держал квитанцию о законном и открытом возмещении (см. [Приложение VI](#)), а затем сравним обвинения с тем, что мы знаем об этих людях и о том времени, если мы затем проверим эти чисто общие выводы с помощью абсолютно достоверных сведений, полученных из оценок имущества Дантона в разные моменты его жизни, то мы согласимся с более современными авторитетами, которые работали с документами, что Дантон невиновен в действиях, в которых его обвиняют, и к которым его подвергли его неустойчивый характер и отсутствие прочного социального окружения.

В первую очередь, давайте рассмотрим слова обвинений, которые приведены выше и которые включают в себя все важные моменты.

Обвинение Мирабо — это то, чего можно было бы ожидать от такого человека; оно спокойное, презрительное, относится к Дантону как к чему-то, находящемуся на самом нижнем уровне того времени. Но если мы возьмем конкретное обвинение и отделим его от

всех общих точек зрения, то обнаружим следующее: Монморан говорил с ним о том, что делали «эти парни». «В связи с этим, — говорит Мирабо, — Дантон вчера получил 30 000», чтобы осуществить такой-то политический ход. Серьезной чертой в этой цитате является то, как Мирабо, который понимал людей и хорошо знал Париж, относится к продажности Дантона как к чему-то хорошо известному, приводит конкретный пример этого и сразу переходит к другим вещам. Но конкретное обвинение является слухом от Монморена, и, как я уже сказал, именно имя Монморена всегда всплывает, когда ходят эти слухи.

Поэтому я бы подытожил значение обвинения Мирабо примерно так: если бы мы могли доказать, что Дантон был расточительным человеком и что через его руки проходили большие суммы денег для его личных удовольствий, то случайное замечание Мирабо « » (Дантон — это человек, который тратит деньги, как будто они ему не нужны), хотя и не имело бы никакой ценности в суде, должно было бы иметь некоторое значение в истории. Мирабо был (на более высоком уровне) таким же *бонвиваном*, каким считался Дантон, и круги, в которых вращались эти люди, пересекались, особенно в том, что касалось их хорошей жизни; но если мы можем доказать, что Дантон на самом деле не тратил и не инвестировал большие суммы денег, то это обвинение является просто распространенной ошибкой, основанной на замечании Монморена, соответствующем тогдашнему представлению о характере Дантона, но опровергаемом известными фактами из жизни Дантона.

Обвинение Бертрана де Мольвилля имеет особую ценность для всех, кто, как и я, стремится докопаться до правды в этом вопросе. Это единственное обвинение, которое является абсолютно категоричным и подробным. Но в той же мере, в какой оно категорично и подробно, оно и не соответствует действительности. Если вы хотите узнать, совершил ли человек определенное преступление, и вы слышите ряд свидетелей против него, один из которых дает только тщательные показания с датами, подробностями и т. д., и если вы можете доказать, что этот свидетель солгал по всем пунктам, которые поддерживали его основное обвинение, вы на верном пути к выигрышу дела.

Де Мольвиль начинает с суммы в 500 000 франков. Это кажется огромной суммой. Это сумма, которую никто не мог бы получить и потратить за несколько дней разгула, не привлекая внимания всего города, которую никто не мог бы инвестировать, не оставив явных следов приобретения имущества, и он относит получение этой суммы к периоду министерства Монморена, то есть к времени, когда был обеспечен общественный порядок, когда регистрация, передача имущества и т. д. были полностью прозрачны.

Он называет имя человека, который передал ему эту сумму, и называет его Дюраном. По этому вопросу невозможно сказать ни «да», ни «нет», но мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что инцидент с письмом, на котором Бертран де Мольвиль основывает всю эту историю, является неправдой, добавленной к неправде. Во-первых, он делает Дантона «жестоким в своих требованиях к королю». Это обвинение абсолютно ложно.

Когда обсуждался вопрос о суде над королем, Дантон выступил (в частности, 6 сентября) с некоторым решением в пользу привлечения короля к суду по конкретным пунктам. В этой речи он с большой энергией высказался по поводу одной особенности суда, а именно того, что король заслуживает осуждения, поскольку он явно и открыто предал нацию — что никто не сомневался, что никто не отрицал и что сам Людовик и его советники просто ответили бы (конечно, в более позднюю эпоху): «Мы пригласили иностранцев в качестве необходимой полиции во время анархии; мы хотели спасти Францию, предав ее». Однако Дантон не был лидером нападок на Людовика или требования его суда, эти нападки и требования были

столь же спонтанными, как и все, что когда-либо делал Конвент; и Дантон скорее следовал, чем лидировал, что можно доказать, взглянув на *Moniteur*.

В гораздо более важных дебатах, в которых сначала неявно, а затем явно ставилась на карту жизнь Людовика, Дантон отсутствовал, и в ноябре нет никаких сомнений в том, что единственной заботой Дантона было примирить «гору» с жирондистами.

Де Мольвиль далее указывает дату своего письма — такие вещи, как правило, делаются специально, чтобы придать своим обвинениям особый характер юридического доказательства. Он говорит, что написал письмо 11 декабря, что Дантон, получив письмо, испугался и, не ответив на него, отправился с миссией в армию Севера.

Однако Дантон уехал в армию Севера 1 декабря, и если это письмо и было написано (в чем я сомневаюсь), то оно было написано в то время, когда Дантон, находясь в отъезде, не мог поступить так, как утверждает де Молевль. Он не мог «попросить» отправить его в миссию (он не просил, а был отправлен) и отправиться 1-го числа в результате письма, написанного 11-го.

Наконец, Де Мольвиль говорит, что он вернулся, чтобы проголосовать по вопросу о наказании короля, но под давлением письма был вынужден просто проголосовать за смертную казнь, не высказывая своего мнения. Это снова ложь. Если для историка и есть что-то примечательное в голосовании Дантона 16 января 1793 года и в речи, которую он произнес перед голосованием, то это то, что он, по своей природе столь осторожный, обнаружил в этом кризисе явное проявление мнения и мотива. Я достаточно подробно показал в тексте, что мы можем объяснить эти ненормальные дни в жизни Дантона только каким-то сильным эмоциональным потрясением. Некоторые представляют его как человека, перенесшего сильный удар со стороны своих политических противников; другие считают, что причиной было то, что по возвращении из долгого путешествия он застал в своем доме сцену страдания и надвигающейся смерти (). Он требовал простого большинства голосов; он яростно выступал против обращения к народу; и когда он проголосовал за смерть короля, он повернулся к правой стороне и сказал: «Я не государственный деятель; я не из тех, кто не знает о долге не идти на компромисс с тиранами, кто не знает, что королей можно свалить только ударом по голове, кто не знает, что от королей Европы мы не можем ожидать ничего, кроме силы и оружия. Я голосую за смерть тирана».

Если это слова и если это действие человека, запуганного письмом до молчаливого и скрытного голосования, то доказательства не имеют никакого значения.

Де Мольвиль, по-моему, в этом, как и почти во всех своих исторических свидетельствах (за исключением тех, которые касаются личных привычек короля, где он обладает подробностями камердинера), может быть отвергнут.

Что касается Лафайета, то мы снова сталкиваемся с той полуправдой и полуложью, которая проходит через все его обвинения. «Квитанция на 100 000 франков была в руках Монморена». Это было правдой. Сумма была не совсем 100 000, а 61 000 (Приложение VI); но квитанция действительно существовала, и для любого, кто не знал, что все люди, занимавшие должности в Совете, получали возмещение, она могла выглядеть как квитанция о получении взятки или быть искажена таким образом, чтобы означать именно это. Нам невозможно выяснить, хотел ли Лафайет сказать неправду, как мы можем доказать, что сделал Де Мольвиль; возможно, он был абсолютно честен в этом вопросе, поскольку после его смерти среди его бумаг была найдена записка (Мемуары, iii. 84-85), в которой говорилось, что «должность в Совете стоила всего 10 000, а возмещение было выплачено в размере 100 000 в

качестве взятки». Теперь, благодаря обнаружению множества квитанций, мы знаем, что обычная цена возмещения составляла от 60 000 до 80 000, но Лафайет мог легко не знать об этом и поспешно сделать ложный вывод.

Что касается его упоминания о том, что мадам Элизабет сказала человеку, который рассказал ему, что Дантону заплатили до 10 августа, то память старика, безусловно, обращается к замечанию, которое многие свидетели слышали из уст этой святой женщины незадолго до нападения на Тюильри, когда она с простотой сказала (она ничего не знала о персонажах Революции, кроме того, что могла услышать от придворных): «Что ж, мы можем рассчитывать на Дантона; ему заплатили». Это не доказательство. Если Дантону заплатили, чтобы 10 августа обернулось в пользу монархии, и если, как намекает Лафайет, он пытался добиться этого, то он, безусловно, выбрал самый необычный способ защитить своих работодателей. С таким же успехом можно сказать, что главной целью лорда Чатема при захвате Квебека была защита французской власти в Канаде. Ведь 10 августа было открытым и прямым нападением на древнюю корону Франции, целью которого было ее свержение и замена новым режимом, и Дантон работал над этим так же неустанно, как генерал перед сражением.

Замечание «Генерал, я больше монархист, чем вы» кажется мне правдивым; это именно то, что сказал бы Дантон. Он презирал Лафайета так сильно, как только один человек может презирать другого. До самого начала войны он верил, что существующая монархия как ядро нового режима стоит всех теорий мира, и видел пустоту тщеславия Лафайета. Вполне вероятно, что он столкнулся с этим в какой-то ситуации, столь же прямой, как та, которую описал нам Лафайет, и Лафайет, в своем безумии, мог легко неправильно понять смысл его критики.

Бриссо является замечательным примером того, как возникли ложные слухи. Он говорит: «Я сам видел квитанции, которые Монморен держал от Дантона».

Теперь, как мы видели, эта квитанция (для любого, кто не знал подробностей сделки) могла вполне честно показаться убедительным доказательством, и она, без сомнения, является документом, вокруг которого было построено большое количество обвинений.

Что касается мадам Ролан, я не могу себе представить, какая женская неточность заставила ее записать состояние в 60 000 фунтов стерлингов на имя своего врага. Если бы свидетель в любых других обстоятельствах, кроме революции, рассказал, что молодой юрист и политик тайно и внезапно стал обладателем этой суммы, его сочли бы сумасшедшим. Однако в такое время для врага все кажется возможным, и мы должны полагаться на простой факт, что нельзя однозначно доказать, что Дантон потратил, инвестировал или оставил десятую часть такой суммы (). Мне кажется, что это обвинение мадам Ролан находится на одном уровне с другим крайним замечанием, что она знала, что «Дантоны жили на 16 шиллингов в неделю в неделю, которые они регулярно одалживали у своего тестя», и это «в начале революции», в то время, когда мы точно знаем, что он защищал дела, связанные с полумиллионными суммами в ходе судебного разбирательства, и когда мы знаем, что среди его клиентов были некоторые из самых богатых людей Франции.

Теперь документы, подтверждающие финансовое положение Дантона, довольно просты. Он был внезапно лишен средств к существованию; все его деньги были конфискованы и

сохранились. Если он не тратил огромные суммы на разврат (такие суммы, как Орлеан), или если он не закопал деньги, он не мог получить гораздо больше, чем то, что открыто фигурирует. Он вступил в брак с долгом в 2500 фунтов, обеспеченным его должностью. В течение четырех лет он успешно занимался своей практикой; ему было возмещено несколько меньше, чем стоимость его должности, и после его смерти сумма, конфискованная государством, а затем возвращенная его сыновьям, соответствует этому небольшому состоянию.

IV

ЗАМЕТКА О ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДАНТОНА ЗА СЕНТЯБРЬСКИЕ РЕЗНИ

Аргументы за и против ответственности Дантона в этом вопросе должны быть более общего характера, чем те, которые можно привести за и против его характера в отношении денежных вопросов. Существует только один или два действительно определенных факта с каждой стороны, и, поскольку цель этих заметок — рассмотреть фактические обстоятельства, я буду рассматривать только эти известные факты.

Во-первых, необходимо четко понимать, что Дантон не уклонялся от крайних мер Революции и не был к ним равнодушен. Его позиция по отношению к ним совершенно ясна в истории и заключается просто в следующем: его насилие было убеждено, что исключительное время () требовало, почти как метод управления, самых исключительных мер террора.

Но, с другой стороны, Дантон был человеком, для которого отвратительны были не только бессмысленные массовые убийства, но и любые бессмысленные действия. Смерть сама по себе, причинение смерти другим, даже смерть, к которой он сам был приведен, никогда не казались ему делом огромной важности. Это обычная ошибка мужественных людей — пренебрегать жизнью других и своей собственной, но я отрицаю, что вы когда-либо обнаружите, что Дантон стал причиной смерти хотя бы одного человека, если только это не было сделано в интересах его политики.

Во-вторых, рассмотрим, что на самом деле известно о его высказываниях. (1) В самом начале революции (в июне 1791 года) он требовал казни Лафайета и, вероятно, имел это в виду; (2) он хвастался или признавался в том, что был автором смерти Манда; (3) в ходе речей, которые привели к созданию Революционного трибунала, он высказывается в пользу крайних наказаний и террора, который они вызывают, всегда как средство для достижения цели и как средство, которое следует применять без колебаний. Позвольте мне процитировать всего одну фразу из речи от 10 марта 1793 года, чтобы проиллюстрировать то, что я имею в виду: «Я чувствую, насколько необходимо принять судебные меры, с помощью которых мы сможем наказать контрреволюционеров. Этот трибунал должен быть создан, чтобы заменить им верховный трибунал народной мести. Очень трудно определить, что такое политическое преступление, но если человек из простого народа за свое преступление немедленно подвергается наказанию, разве не необходимо принять чрезвычайные законы, выходящие за рамки обычного функционирования нашего социального механизма, чтобы устроить мятежников и наказать виновных? В этом вопросе безопасность народа требует от вас крайних методов и мер террора».

Наконец, мы знаем, что Дантон был, в целом, руководителем той ранней части террора между маем и августом 1793 года, в которой (как он считал) система выполняла необходимую работу, без которой нация не могла бы быть спасена.

Теперь давайте сопоставим это с тем, что мы точно знаем о характере Дантона, что приведет нас к выводу, что он не одобрил бы массовые убийства.

Никто не ставит под сомнение тот факт, что главным мотивом в сознании Дантона было создание сильного правительства вокруг или вместо слабой монархии. Он был истинным потомком юристов Кодекса. Резня сентября произошла в тот момент, когда он использовал всю свою личную энергию, пытаясь как можно лучше обеспечить это правительство. Он руководит министерством в Париже; он доминирует над Роланом, как мужчина может доминировать над женщиной. Для такого плана было чрезвычайно важно, чтобы тонкий лед между правительством и анархией в дни, предшествовавшие Вальми, не был прорван. Резня сентября прорвала его; в Париже наступила неделя анархии. Это первый весомый аргумент против соучастия Дантона в резне.

Однако следует помнить, что существует вполне обоснованная теория, согласно которой Дантон мог рассуждать примерно так: «Пусть народная ярость разразится со всей силой против того, кого она считает внутренним врагом, и я добьюсь исчезновения этого беспокоящего фактора роялистской реакции в Париже, а со стороны толпы я добьюсь утомления и стыда, которые следуют за излишествами; их нетрудно управлять». Это только личное мнение, но мне кажется, что в уме Дантона, , прямолинейном и чрезмерно практичном, такая далеко идущая и тонкая идея вряд ли могла возникнуть, и что массовые убийства, должно быть, вызвали у него особое раздражение, потому что они были крахом системы, поддержка которой занимала все его усилия.

Во-вторых, намеки Дантона на сентябрьские массовые убийства всегда были более определенными и разумными, чем намеки его коллег. Его отношение к ним после их совершения таково: «Не было никакой общественной силы, никакого дисциплинированного правительства, которое я считаю первой необходимостью Революции; ничто на земле не могло их предотвратить, и они произошли вопреки всякой правящей власти». Столько об общих чертах.

Теперь перейдем к одному или двум моментам, которые легли в основу конкретного обвинения Дантона в этом деле.

Во-первых: он знал, что массовые убийства приближаются, и накануне восстания вывел из тюрьмы более одного своего друга. Я считаю это правдой, или, скорее, я в этом уверен; но нужно быть очень невежественным, чтобы не знать, что весь Париж ожидал массовых убийств, и что те, кто был хоть как-то связан с Коммуной, знали за два-три дня до этого, что могут быть совершены незаконные действия. Работать над их предотвращением, на что Дантон мог бы потратить свою энергию, означало бы, как я уже сказал в тексте, рисковать тем, чего он больше всего желал, и рисковать ради спасения заключенных. Конечно, он не желал спасти их так страстно, как желал остаться у руля и построить правительство; он предпочитал сохранить свое влияние над городом. Это обвинение справедливо.

Во-вторых, справедливо утверждается, что Дантон, благодаря своему особому положению в министерстве, заполнил тюрьмы, которые впоследствии были опустошены. Верно, что на Дантоне, как министре юстиции и, прежде всего, как на общей силе в кабинете, лежит ответственность за арест заключенных; но было ли это действие предпринято с осознанием того, какими будут последствия почти через месяц? Конечно, нет. Было бы полным

незнанием того, что произошло в последнюю неделю августа, утверждать, что действие, предпринятое сразу после 10-го числа, было предпринято с прицелом на то, что произойдет 2 сентября. За эти четыре недели общественное мнение пережило крайне бурный кризис, и можно сказать, что интенсивность настроений против роялистов и иностранцев не только была в сто раз сильнее, когда Верден фактически пал, чем сразу после успеха против Тюильри, но и отличалась по своему характеру.

В-третьих, есть одно подробное обвинение — циркуляр, который Марат разослал департаментам. Если можно доказать, что этот циркуляр был одобрен, что его распространению способствовал Дантон, то у нас будет неопровержимое доказательство, которое нельзя игнорировать. Теперь позвольте мне описать, что представлял собой этот циркуляр, и посмотреть, насколько мы должны винить обстоятельства, насколько — небрежность, а насколько — преднамеренные действия министра. Все свидетельства в основном совпадают. Мадам Ролан говорит: «Разослан с подписью министра юстиции». Бертран де Мольвиль также совершенно определен (Мемуары, ix. 310): «Разослан министром Дантоном».

Изучение документов семьдесят лет спустя дало более точные результаты для истории, чем мемуары современников, будь то правдивые и восторженные, как у мадам Ролан, или откровенно нечестные, как у Бертрана де Молеввиля. Бужеарт с большим трудом разыскал оригиналы документов в архивах полиции. В этом документе (Бужеарт, стр. 121-122) фигурирует ряд подписей: Панис, Сержен, Марат и т. д., то есть члены Комитета надзора, назначенного Коммуной. Никаких следов подписей министров нет, и даже штамп, который использовался в офисе клерками для всего, что официально проходило через Министерство юстиции, не приложен к листу. На самом деле произошло следующее. Циркуляры были отправлены в конвертах с официальным штампом министерства. Это все равно что какой-то документ, принятый, скажем, в Лондоне, был бы распространен по провинциям в синих конвертах Королевской почты. Это все, что осталось от инцидента с циркуляром, как в пользу, так и против Дантона.

Теперь можно с уверенностью сказать, что Дантон в то время еще не порвал с Маратом. Более того, Дантон на самом деле не ссорился с Коммуной, хотя, безусловно, относился к ней с презрением. Но у Дантона не было никакой причины помогать Марату распространять циркуляры, если он сам не был открыто на стороне Марата. Человек его характера либо подписал бы циркуляр, либо, зная о его распространении, запретил бы его; он занял бы определенную позицию. Почему? Потому что распространение циркуляра обрекало его на очень определенную позицию — вот человек, который держался в стороне от очень жестокого заговора, заговора, авторы которого в конце концов вышли из тени и прославляли то, что они сделали. Они написали самый жестокий из всех своих манифестов, содержащий такие фразы, как «жестокие заключенные были казнены народом», «это был акт справедливости, необходимый нашему комитету» и так далее. Было бы совершенно невозможно невольно разослать такой циркуляр, не зная, что тем самым ты компрометируешь себя и окончательно вступаешь в ряды самой крайней партии парижан. Поэтому невозможно представить, что он предоставил бы для этой цели официальные конверты и сказал: «Я помогу вам до определенной степени, но не больше того». Это все равно что предположить, что английский чиновник в Индии, относящийся к более жестким, сказал бы: «Я позволю вам, неофициальному лицу, отправить из этого офиса приказ о незаконной казни, но я не поставлю на нем свою подпись».

И снова, как так получилось, что из всех документов, отправленных в то время министром юстиции, только этот документ был отправлен в официальном конверте, но не имел на себе

никаких отметок Министерства юстиции? Как так получилось, что чиновники в провинциальных городах среди множества документов, которые они получали из министерства в Париже, получили только этот единственный документ без печати и подписи, а затем обнаружили, что он исходил от органа, который не имел никакого отношения к министерству юстиции? На этот вопрос есть только два возможных ответа: либо конверты были взяты из министерства одним из клерков (несколько из которых, как мы знаем, были тесно связаны с Коммуной), либо Дантон робко одолжил конверты, но отказался делать что-либо дальше. Из этих двух ответов второй, на мой взгляд, абсолютно не соответствует не только характеру самого Дантона, но и общей практике работы крупного ведомства. Я не могу себе представить, чтобы министр кабинета в самых серьезных условиях предложил несколько синих конвертов, когда вся политическая партия « » требует от него четкого заявления в пользу той или иной стороны.

Наконец, можно спросить, могли ли эти конверты быть отправлены без его ведома? На это я отвечаю, что сегодня такое может быть сделано из любого правительственного учреждения. Более того, это было время революции; весь сложный организм был потрясен и частично преобразован; в каждом отделе здания царил суматоха, и даже в этих условиях Дантон делал гораздо больше работы, чем требовалось по его должности. Поэтому я считаю вполне возможным, что циркуляры могли быть отправлены одним из клерков без его ведома; а тот факт, что на них не было подписи и что документы даже не прошли через руки тех, чья обязанность была поставить официальную печать, еще больше подтверждает мнение о том, что распространение призыва было тайным.

Что касается обвинений, подобных обвинению Лафайета (Мемуары, iv. 139, 140): «Он приказал устроить сентябрьскую резню и заплатил убийцам, которые, покрытые кровью, пошли за своими деньгами к Ролану», я не придаю им никакого значения. Даже фраза, которой Дантон якобы приветствовал возвращение убийц из Версаля, вызывает большие сомнения. Она не встречается ни в одном современном отчете; ее нет в «*Мониторе*»; ее нет в «*Революциях Парижа*»; мадам Роланд не цитирует ее, даже понаслышке; она не является одним из изобретений Пельтье, и мне трудно проследить ее происхождение.

Я думаю, что общую позицию Дантона в сентябре можно резюмировать следующим образом. Он не считал жизнь заключенных первостепенной важностью; он не тратил на протесты энергию, которая, как он точно знал, была бы бесполезной; он не создал (как он, возможно, мог бы сделать) специальный и энергичный трибунал, чтобы заменить тот, который был на грани оправдания Л. де Монморена. Поэтому все те, кто считает общественный порядок и безопасность жизни более важными, чем успех политической идеи или целостность и защита нации, могут обвинить его в преступной халатности в вопросе сентябрьских массовых убийств. Конечно, его нельзя обвинить в том, что он их спланировал; его нельзя обвинить на основании каких-либо конкретных доказательств в том, что он их одобрил, и его нельзя обвинить в том, что он не разделил сожаление и страдания, вызванные этой ужасной ошибкой. Если мы можем судить о его отношении, сравнивая его с отношением современников, а не с нашим собственным отношением в период безопасности и порядка, то можно сказать, что массовые убийства преподали ему более четкий урок, чем Роланду, поскольку они заставили его проводить политику примирения и укреплять правительство; что, с другой стороны, он сделал меньше, чем Мануэль, чтобы остановить их; и что в сравнении с людьми, которых мы знаем как честных, такими как сам Ролан, или в противоположность людям, которых мы знаем как злых, такими как Эбер, или как безумных, такими как Марат, — судя по всему этому, Дантон предстанет перед историей виновным в

безразличии в тот момент, когда он мог спасти свою репутацию, выступив с протестом, хотя, возможно, его протест не спас бы ни одной жизни.

Цель остальной части этого приложения — предоставить читателю некоторые документы, иллюстрирующие утверждения и аргументацию в тексте. Из этих документов лишь немногие были переведены, потому что только некоторые из них представляют интерес для кого-либо, кроме специалистов по революции, или необходимы для понимания этой книги.

Безусловно, самым важным из приведенных здесь документов является последний — отчет Баррера от 29 мая 1793 года. До сих пор не публиковавшийся, он дает (на мой взгляд) наиболее полное объяснение довольно сложных маневров, предпринятых Комитетом, маневров, которые позволили произойти революции 31 мая и 2 июня.

К каждому документу добавлено краткое предисловие с целью объяснить его происхождение и указать источники (если таковые имеются), в которых он может быть найден.

V

КРАТКАЯ МЕМУАРНАЯ ЗАПИСЬ А. Р. К. де Сен-Альбина

Этот мемуар был впервые опубликован в виде статьи в *Critique Française* 15 марта 1864 года. Он был опубликован самим автором и, хотя появился через семьдесят лет после смерти Дантона, не лишен значения. Де Сен-Альбин, более известный под своим первым именем Русселен, был лично знаком с Дантоном (хотя в то время был еще мальчиком) и дожил до глубокой старости. Кроме того, он был знаком с семьей после революционного периода. Эти обстоятельства делают его свидетельство решающим по всем неспорным вопросам и ценным по многим другим.

Критика, которую можно высказать в адрес его рассказа, очевидна. Он слишком цветист; он также ошибается, придавая государственному деятелю, всем его родственникам и окружению любезный и несколько посредственный характер. В нем мы видим лишь слабое отражение энергии, которая была главной чертой Дантона и которую ум самого автора не может отразить. Кроме того, оно было написано так долго после описываемых в нем событий, что в нескольких местах допущены ошибки в датах или цифрах, особенно в эпизоде с Барентином в конце мемуаров, который так сильно критикует М. Олар, и в сумме приданого его жены, которая составляла не 40 000, а только 20 000 ливров. С другой стороны, она свежа, полна личных воспоминаний, написана надежным человеком и содержит много интересных подробностей о ранней и менее известной части жизни Дантона.

«Семья Дантона не может похвастаться древним дворянством. Фамилия Дантон распространена в окрестностях Арси-сюр-Об, она появилась с некоторым шумом в 1740 году в спорах о янсенизме. Среди пьес, предназначенных для популяризации этих теологических дискуссий, есть одна под названием «Банкротство торговцев чудесами», подписанная Р. Danton. Не без оснований предполагалось, что этот священнослужитель был двоюродным дедом конвенционала.

«Жорж-Жак Дантон родился в Арси-сюр-Обе 26 октября 1759 года. Он был сыном Жака Дантона, прокурора бальяжа Арси, который в 1754 году женился на Жанне-Мадлен Каму. Отец умер 24 февраля 1762 года в возрасте около сорока лет, оставив беременную жену и четверых маленьких детей, двух девочек и двух мальчиков. Жорж-Жак Дантон остался под опекой матери, женщины, обладавшей всеми качествами, заслуживающими уважение. Мать Дантона воспитывала и управляла своей молодой семьей с чувствительностью и мягкостью характера. Жорж, тот из ее детей, внешность которого больше всего указывала на силу и волю, был самым послушным по отношению к ней. Его юная независимость быстро уступала место, когда мать обращалась к его сердцу. Нежность достигала того, чего страх тщетно пытался добиться. Вдова мадам Дантон имела счастливого помощника в ведении своего дома в лице своего отца, предпринимателя по строительству мостов и дорог в провинции Шампань. Он давал первые уроки своему внуку: он с радостью наблюдал за его мужскими наклонностями.

«Интересно отметить, в какой среде Дантон провел свои первые годы, и мы нашли у одного современного автора следующий отрывок, который нам кажется любопытным:

«Город Арси-сюр-Об состоит из независимых людей; воздух здесь свежий, люди крепкие; река Об, протекающая через эту местность, судоходна в любое время года, морская торговля занимает местных жителей; когда моряки не заняты на воде, они занимаются ткачеством; они трудолюбивы и изобретательны. Арсис не сравнится ни с одной частью Шампани; законы здесь соблюдаются так, как будто их не существует, только из чувства порядка; сеньоры старого режима всегда сталкивались с оппозицией со стороны людей, в которых любовь к свободе была врожденной».

«Детство Дантона не было чем-то примечательным; он был воспитан, согласно обычаям страны, почти как ребенок природы.

«Его кормила корова, что было обычным явлением в Шампани, когда матери не были достаточно сильны, чтобы кормить своих детей грудью. Однажды на кормящую корову Дантона наткнулся сбежавший бык, который бросился на нее и ударил бедного ребенка рогом, оторвав ему губу. Именно от этого шрама и произошла деформация его верхней губы.

«Подрастая, Дантон, как и все люди, наделенные необычайной силой, испытывал потребность ее проявить. Однажды он захотел продемонстрировать свою мощь, взять реванш и сразиться с быком. Ему было трудно выйти победителем из этой схватки. Удар рогом разбил ему нос.

«Эти несчастные случаи должны были научить его осторожности, но осторожность не имеет места там, где есть избыток жизненной энергии. Однажды крепкий мальчик решил, что сможет заставить свиней с фермы, которые загородили вход в дом, идти перед ним. Он нападает на них с кнутом, но его нога поскальзывается, он падает, и свиньи, разъяренные, набрасываются на него и наносят ему ужасную рану, очень похожую на ту, от которой, по словам Гельвеция, в детстве пострадал Буало, который приписывал этой ране недостаток чувств, который он якобы замечал в произведениях поэта. Какова бы ни была ценность этой оценки, она не применима к Дантону. Его мужественность была поставлена под угрозу, но не утрачена, и он сохранил всю свою энергию и смелость. Ничто не могло его остановить: каждый день он давал новые доказательства своей отваги. Едва оправившись от этого несчастного случая, он, увлеченный своей страстью к плаванию, чуть не утонул и заболел

злокачественной лихорадкой, к которой присоединилась очень тяжелая осповатость, сопровождавшаяся пурпуром. Казалось, все сходилось, чтобы обезобразить его.

«Чтобы привить своему ребенку некоторые привычки дисциплины, мать Дантона сначала отдала его под присмотр школьной учительницы; та не имела ни времени, ни желания проявлять к нему снисходительность. Дантон заметил разницу между этим новым режимом и нежностью своей матери и деда: не менее строгая, чем мадемуазель Ламберсье из романа Ж.-Ж. Руссо, учительница считала, что не может обойтись без розги, чтобы управлять детьми, и Дантон, по ее мнению, был первым, кто заслуживал ее наказания (). Все его современники помнили, что он слишком часто прогуливал школу и проводил уроки, плескаясь в реке Об. Он предпочитал свободу жизни скуке повторения букв алфавита. Тем не менее, он обладал счастливыми способностями и быстро учился, но всякая установленная привычка была противна его натуре.

«В восемь лет он избавился от строгой учительницы и *был переведен*, как он сам говорит, в высшее учебное заведение. Руководитель этого заведения считал, что знает латынь достаточно хорошо, чтобы преподавать ее основы. Когда первые принципы грамматики не преподаются молодым умам с помощью умелой методики, они мало привлекательны для них.

«Дантон, возможно, интересовался *Ломоном* чуть меньше, чем карточной игрой. Едва закончив уроки, он спешил с несколькими товарищами в уголок, чтобы сыграть партию. Победитель получал в награду шарики или пирожные. Часто выигрывая, он всегда делился с проигравшим. Когда он оставался один, он читал или гулял по лесу или полям.

«Чтобы изменить это немного дикое настроение, родители Дантона решили отдать его в религиозный дом.

Хотя он не был предназначен для церковной карьеры, его сначала поместили в малую семинарию в *Труа*, но однообразие этой жизни скоро стало для него невыносимым. Все время, пока он там находился, он соблюдал правила, но не мог терпеть, когда его отдых внезапно прерывался звоном колокола. *Этот колокол*, говорил он, *если я буду вынужден слушать его еще долго, в конце концов зазвонит на моих похоронах.*

Необоснованный упрек, публично высказанный ему начальником, побудил Дантона попросить об уходе из семинарии.

«Следующий факт можно рассказать как черту характера: пансион в этом доме был скромным. Ученики получали вино только по отдельной оплате в конце каждого года. Каждое воскресенье раздавали карточки, которые были своего рода билетами на предъявителя. Предъявив эту карточку дистрибьютору, можно было получить мерку вина, называемую *roquille*. Дантон был щедрым, и одним из его больших удовольствий тогда было угощать своих товарищей, передавая им карточки *«рокиль»*, особенно тем, о которых он знал, что у них не очень полный кошелек (). Его щедрость зашла так далеко, что, когда подвели общий счет и публично объявили всех, кто пил вино, оказалось, что он был тем, кто выпил больше всех *рокиль*. Накануне отъезда на каникулы настоятель малой семинарии обратился к Дантону со следующими словами: *«Мой друг, вы можете гордиться тем, что вы самый большой пьяница в общине»*. На эти слова все разразилось смехом; он не ответил, но пообещал себе больше не пить рокки в малой семинарии. Несмотря на свою истинную доброту, Дантон был нетерпелив, и его прозвали *анти-настоятелем* и даже *республиканцем*.

«Едва вернувшись в Арси-сюр-Об, он заявил матери, что больше не вернется в малую семинарию: «Там, — сказал он, — есть привычки, которые мне не подходят и которые я никогда не смогу понять». В следующем году его поместили в светскую школу. Его учеба от этого не пострадала, поскольку он добился успехов, которых не достигал раньше. Он окончил второй класс и получил почти все награды...

«Наступает июнь 1775 года. Становится известно, что коронация Людовика XVI состоится в Реймсе. Дантон уже не раз слышал проклятия, которыми вся Франция осыпала память Людовика XV. В шестнадцать лет он знал достаточно, чтобы возненавидеть использование секретных писем, которые так щедро раздавались во время этого скандального правления. Профессор объявил, что он даст событие коронации нового монарха в качестве текста для расширения: *«Чтобы хорошо понять тему, — сказал Дантон решительным тоном, — нужно использовать свои глаза. Мне любопытно посмотреть, как становится королем.*

«Его план известен лишь нескольким верным товарищам, которые одалживают ему деньги на дорогу. Он уезжает, не предупредив своего хозяина; он пересекает свою страну Арсис, не видя своих родителей, опасаясь, что они будут против его паломничества. Пройдя без приключений двадцать восемь лиг, он прибывает в Реймс, пробирается повсюду; он внимательно следит за всеми церемониями коронации и слышит, как молодой монарх, положив руку на Евангелие, произносит клятву *править по законам и для счастья нации*. Какие размышления вызывает подобное зрелище в пылком уме, уже готовом к сопоставлениям!

«По возвращении из Реймса друзья Дантона с нетерпением ждали, чтобы он рассказал им обо всем, что он видел. Это устройство не вызвало у него восхищения, богатство убранства собора не покорило его. Он был достаточно рассудителен, чтобы понять, что это было не более чем тщеславное и дорогостоящее для и без того обремененной долгами Франции. Молодой путешественник оживлялся, рассказывая о многочисленном рое птиц всех видов, которых выпустили в церковь: *«Забавная свобода, — говорил он, — порхать между четырьмя стенами, не имея ни еды, ни места для гнезда!»* Он также сравнивал болтливых птиц с придворными, которые уже окружали нового короля, продолжая свою преданность покойному. Слушая, как он с такой же простотой, как и злобой, излагает свои размышления о роскоши, можно догадаться, что школьник-моралист, став взрослым, не будет без требований к королевской власти и без строгости к агентам, которые живут за счет злоупотреблений.

«Дантон, вернувшись в Труа, столкнулся с трудностями при возвращении в свою пансион. Его уход без ведома хозяина вызвал у того недовольство. Путешественник, покорный и раскаявшийся, уверяет, *что он был в Реймсе только для того, чтобы сознательно выполнить свой долг по освещению коронации*. Он действительно создал одно из самых блестящих произведений, но отказался включить в него смелые замечания, проскальзывавшие в разговоре, которые не могут быть представлены в письменном повествовании, где первостепенное значение имеют правила приличия. Учитель, удовлетворенный и удивленный достоинствами произведения, зачитал его своим ученикам. Он говорит, *что отдал бы первое место автору, если бы тот не прогулял уроки*. Товарищи Дантона с энтузиазмом присоединяются к оценке учителя; они восхищаются тем, как блудный сын, рассказав им столь пикантную и веселую историю о своем путешествии, смог одновременно придать своему стилю столько сдержанности и благородства. Так Дантон добился прощения, и его милость превратилась в своего рода триумф. Он вернулся в класс, где занятия скоро должны были закончиться. Приближалось время ежегодных сочинений; полагаясь на свою легкость, Дантон, казалось, не готовился к конкурсу. Но как только были

заданы темы сочинений, он собрал все силы своего ума и получил все короны. Он продемонстрировал замечательные способности в французской речи, латинском повествовании и поэзии. Воображение, -jugement, точность, острота мысли, сила, элегантность, оригинальность выражения — ему не хватало ничего, и 18 августа 1775 года, возможно, стало самым прекрасным днем в его жизни. Имя *Дантон-Камут* (которое было именем его матери, чтобы отличать его от однофамильца, его сокурсника) повторялось под звуки фанфар. Если лауреат был счастлив, то прежде всего потому, что принес лавры своей матери, объекту своего поклонения и любви; эта сыновняя преданность, ставшая с тех пор самым живым из его чувств, останется в его сердце на всю жизнь, несмотря на все невзгоды и отвлекающие факторы; позже он продемонстрировал ее еще ярче, и человеком, которому он питал самую упорную ненависть, был несчастный, подозреваемый в неуважительном отношении к мадам Дантон.

«Когда школьник отличался в колледже, все думали о карьере, которую ему откроют его таланты. *Из него нужно сделать священника или прокурора.* Священник из Барбери, недалеко от Труа, уже назначил Дантона своим преемником в приходе; но время, проведенное Дантоном в семинарии, не вдохновило его на церковную карьеру. Ему нужна была свобода, ему нужны были свободные нравы, независимость. Он хотел получить свободную профессию, он хотел быть адвокатом... Разве Демосфен и Цицерон, с которыми он только что познакомился, не были адвокатами? Семья, собравшись вместе, уступила желанию Дантона, и было решено, что он поедет в Париж и будет работать у прокурора, чтобы изучить судебную практику и одновременно получить юридическое образование, чтобы подготовиться к адвокатской практике.

«Здесь возникает интересное обстоятельство, которое делает честь Дантону и служит новым доказательством его нежности по отношению к родителям. Вдова Дантона, оставшаяся одна с многочисленной семьей, вышла замуж, чтобы обеспечить ей поддержку. Она вышла замуж за господина Рекордина, уважаемого торговца, чья доброта осталась пословицей в стране: *добрый и храбрый, как Рекордин.* Вследствие его легкости в отношениях дела дома Рекордина оказались в затруднительном положении. Дантон, не требуя отчета, на который он имел право в отношении состояния, унаследованного от отца, первым предложил помощь своему отчиму; он предоставил ему в распоряжение все, что ему принадлежало; он даже заложил часть имущества своих теток, которое должно было однажды перейти к нему, не боясь отчуждать свое настоящее в будущем. *Il faut mettre ses affaires en règle, disait-il, quand on fait un grand voyage.*

Таковы были приготовления к отъезду.

Все свидетельства его товарищей, родственников и друзей свидетельствуют о деликатности Дантона во всех отношениях; за исключением нескольких экз, которые ему одолжили товарищи для поездки в Реймс, он никогда не просил денег ни у кого, даже в те моменты, когда, будучи школьником или помощником прокурора, он испытывал те затруднения, которые заставляют молодых людей смело брать в долг.

«Дантон прибыл в Париж в 1780 году в карете курьера из Арси-сюр-Об, который был другом его семьи и согласился бесплатно отвезти его. Он поселился в гостинице «*Черный конь*», расположенной на улице Жофруа-Ланье и принадлежащей некому Лейрону, которая была самым популярным местом среди жителей Шампани. У Дантона было очень мало средств, и ему пришлось сразу же приступить к работе: он устроился к прокурору по имени Вино. Этот прокурор сначала попросил его показать образец его почерка, который ему не понравился. Прокуроры того времени хотели, чтобы письмо было быстрым и легким, подходящим для

написания больших и длинных ходатайств. Молодой житель Шампани честно заявил, *что он приехал не для того, чтобы быть писцом*. Такой уверенный тон произвел впечатление на прокурора Вино. Он сказал: *«Мне нравится уверенность, она необходима в нашей профессии»*.

«Дантон был принят в качестве клерка с питанием и проживанием. Он изучал процедуру не без некоторого отвращения; ему было поручено, как говорят в профессии, *заниматься дворцом*. Это первое знакомство молодых клерков с делами. Оно начинает знакомить их с вещами и людьми судебного мира и дает им элементы практики через небольшие краткие плоды и противоречивые объяснения, которые открывают им идеи и учат их вести себя в лабиринте, в котором им суждено жить.

«Дантон выполнял свои обязанности клерка с умом и точностью; его самыми обычными развлечениями всегда были фехтование, игра в пальму и плавание, его любимое увлечение! которым он часто занимался; это было необходимостью его темперамента. Он был достаточно искусен в этом упражнении, чтобы быть отнесенным к первому ряду; он нашел в этом поощрение, достойное его соперничества. Il sauva plusieurs fois de la mort des camarades qui auraient péri s'il n'était venu au secours de leur imprudence et de leur faiblesse. Quelques-uns d'entre eux ont raconté les tours de force véritables que Danton exécutait dans les courants les plus difficiles de la rivière. С того места, где они резвились, были видны башни Бастилии, и не раз купальщики слышали, как Дантон, поднимая голову, как тритон, бросал угрозу в сторону государственной тюрьмы и восклицал своим дрожащим голосом: *«Этот крепостной замок, висящий над нашими головами, оскорбляет и мешает мне. Когда же мы увидим его разрушенным? Что касается меня, то в тот день я с гордостью нанесу по нему удар киркой!»*

«Самые крепкие конституции часто бывают наиболее уязвимыми, потому что эта избыточная сила дает больше уверенности. Дантон, после двойной партии в плавание и фехтование, снова заболел тяжелой болезнью. Долгое время он был прикован к постели, его тело было лишено возможности двигаться, он не мог заниматься своими обычными упражнениями, но его воображение не оставалось бездействующим. С неутомимым рвением он упорно читал всю *Энциклопедию* и завершил эту огромную работу еще до окончания выздоровления. Он еще находил время читать великих публицистов, чьи принципы и политическая мораль начинали становиться ориентирами века. Монтескье, которого он часто цитировал, был для него предметом особого изучения, и, прочитав *«Дух законов»*, он сказал: *«Какой новый горизонт открывается передо мной! Я сожалею только о том, что в писателе, который уносит вас так далеко и так высоко, я нахожу председателя парламента»*. От Монтескье Дантон вскоре перешел к Вольтеру, Ж.-Ж. Руссо, а затем к Беккарии, который тогда только появлялся на сцене. Дантон вскоре выучил наизусть замечательное небольшое сочинение этого автора, трактат *«О преступлениях и наказаниях»*, который должен был реформировать уголовное законодательство всего мира; чтобы подготовиться к тому дню, когда ему придется выступать перед толпами, чтобы научиться облекать социальные вопросы в красивые образы природы, Дантон особенно углубленно изучал *«Естественную историю»* Бюффона: благодаря своей мощной памяти он запоминал и цитировал целые страницы. Вот обширный запас знаний, который однажды может пригодиться в карьере государственного деятеля! Пренебрегая легкомысленной литературой и не читая романов, кроме признанных шедевров, которые являются отражением нравов, Дантон одновременно выучил итальянский язык настолько, что мог читать Тассо, Ариосто и даже Данте. Он также с легкостью сочинял стихи, некоторые из которых были адресованы, со всем уважением и

честью, человеку, который был достоин вдохновить его на их создание, — жене его прокурора.

«Но все эти литературные развлечения не имели отношения к профессии, которой он хотел заниматься. Они не заставили его пренебрегать изучением процедуры и права.

Теперь ему оставалось стать адвокатом, и, поскольку у него остались хорошие воспоминания о городе Реймс, он отправился туда, чтобы получить адвокатскую лицензию. Будучи шампанцем в душе, он был счастлив всеми силами способствовать прославлению своей родины. Он всегда был готов с остроумными замечаниями и не упускал случая процитировать выдающихся людей в области литературы и искусства разных эпох, которые были родом из провинции Шампань. Среди современников Дантон мог найти более чем один пример в поддержку своего патриотического энтузиазма: так, он часто говорил о некоторых известных личностях, которых знал, таких как ученый *Грослей*, адвокат *Линге*.

«Вернувшись из Реймса в Париж, Дантон, завершив стажировку, некоторое время пробовал свои силы в столичной адвокатуре. Будучи порученным, среди прочего, делом пастуха против сеньора его деревни, он имел возможность проявить в этой ситуации некоторые из своих убеждений, которые позже он более подробно изложил на большой сцене. Он с такой же энергией, как и ловкостью, отстаивал принципы равенства перед законом. Он выиграл дело в парламенте, который, как мы помним, в то время состоял только из дворян и привилегированных лиц. Это было еще в 1785 году. Факт Дантона был напечатан: он был лаконичным, содержательным, энергичным — мы не смогли найти его следы.—Эта первая борьба, которую вел Дантон, произвела сенсацию во дворце и принесла молодому адвокату признание со стороны Жербье, Дебоньера, Ардуэна и всех выдающихся деятелей адвокатуры того времени. Лингет, который разбирался в стиле и, как мы уже видели, был из Реймса, направил ему по этому поводу горячие слова поддержки.

«Mais les témoignages de ces hommes éminents, qui assuraient à Danton un succès d'honneur, ne le menaient point à la fortune; il s'en éloignait même à mesure que son talent aurait dû l'en rapprocher davantage, car il recherchait la clientèle du pauvre autant que d'autres recherchaient la clientèle du riche. Он считал, что в целом бедные чаще всего являются угнетенными, и поэтому имеют право на приоритетную защиту. Исходя из этого принципа поведения, те, кто говорил, что Дантон не сделал карьеру в адвокатуре, могли бы добавить, что он никогда бы ее не сделал...

«Возможно, немного скучая, как можно было заметить, в своей профессии адвоката, Дантон не искал развлечений в удовольствиях, которые могли бы отнять у него средства, необходимые для существования. Зарабатывая очень мало на своей работе в суде, он не хотел усугублять свое затруднительное положение, влезая в долги; он был очень аккуратным, всегда имел небольшой запас сбережений, который позволял ему оказывать услуги, не прося ничего взамен. После скромного обеда в ресторане, который назывался «*Отель скромности*», он выпивал полчашки кофе и играл в домино. Добавьте к этому время от времени посещение классической трагедии в Театре Французском, и вот все развлечения молодого адвоката.

«Кафе, в которое чаще всего ходил Дантон, называлось *Café de l'École*, потому что оно находилось на набережной, почти на углу площади, которая сохранила это название. Это было место, очень популярное среди юристов, которые находились недалеко от Шатле и Дворца правосудия. Строгость костюма и прически, своего рода постоянная опознавательная черта, имела то преимущество, что не было соблазна совершить проступок.

«Владельцы кафе, которых в то время в Париже было немного, сами были буржуа с честными манерами. Они поддерживали хороший тон своего заведения своей вежливостью. Они редко делали состояние, за исключением двух или трех, которые были первоклассными. *Café de l'École* не было именно на этом уровне, но оно было одним из тех, которые имели лучшую репутацию. Мы как будто снова видим хозяина заведения с его маленькой круглой париком, серым костюмом и портфелем под мышкой. Он был очень внимателен к своим клиентам, и они относились к нему с сердечным уважением. За прилавком стояла дочь хозяина, очень милая и любезная женщина. Среди постоянных посетителей, которые, казалось, с особым интересом останавливались у этого прилавка (), можно было заметить молодого адвоката, который сначала был очень веселым и жизнерадостным, но через некоторое время стал более серьезным. Этот молодой адвокат был Дантон; сначала он думал, что разговаривает с дамами за прилавком только общих и неважных вещах, но его сердце было покорено, и Дантон влюбился. Мадемуазель Габриэль Шарпантье не думала с подозрением относиться к ухаживаниям Дантона; вскоре она, сама того не замечая, обнаружила, что испытывает те же чувства. Не зная о этой склонности, отец и мать Шарпантье не были очень удивлены, когда молодой адвокат попросил руки их дочери. Его живой характер заставил их на мгновение побояться согласиться на этот брак, но он сумел тронуть сердце Габриэль. Когда говорили: «*Какой он уродливый!*», она повторяла, почти как одна женщина сказала о Лекане: «*Какой он красивый!*». Она восхищалась его умом, который считали слишком острым; его душой, которую считали слишком горячей; его голосом, который считали сильным и страшным, а она находила мягким.

«Однако нужно было собрать информацию об этом женихе. Г-н Шарпантье посетил, в частности, прокуроров, у которых работал Дантон, и адвокатов, с которыми он общался в коллегии адвокатов. Все отзывы о нем были положительными. Получив столь удовлетворительную информацию, добрые родители не стали интересоваться его состоянием; они не придавали этому большого значения, хотя сами были довольно скромными людьми. Тем не менее, они выдали свою дочь замуж с приданым в 40 000 франков, что для того времени было значительным приданым. Они поставили своему зятю единственное условие: он должен был иметь профессию, то есть быть *занятым*. Профессия адвоката в парламенте, без сомнения, была почётной и свободной, но, возможно, слишком свободной и не требовала достаточно усердной работы. Дантон пообещал выполнить пожелания своего тестя; он выразился в столь тёплых словах, что отец и мать Шарпантье полюбили Дантона почти так же, как свою дочь.

«Друзья Дантона посоветовали ему купить должность адвоката в совете. Господин и госпожа Шарпантье щедро предложили приданое своей дочери, но это было всего 40 000 франков, а нужно было 80 000! Преданные жители Шампани предложили доплатить недостающую сумму для оплаты должности.

«Все они полагались на деликатность и честность Жоржа-Жака Дантона; его добропорядочное поведение было его поручительством. Поскольку больше не было причин для отсрочки брака, были объявлены свадебные банты, пришло согласие его матери из Арси-сюр-Об, и Жорж-Жак Дантон и Габриэль Шарпантье поженились, и в тот же день он, как он весело говорил, стал *мужем и министерским чиновником; в тот же день он стал мужем и адвокатом*.

«Адвокаты совета объединяли в себе двойные функции адвокатов и прокуроров; имея мало судебных дел, они имели преимущество оставаться хозяевами своих дел и не подвергаться, как адвокаты других судов, закону прокурора, озабоченного желанием привлечь к себе все выгоды. Функции адвокатов при совете также имели нечто, что в высшей степени

способствовало воспитанию духа молодых людей; их миссия часто заключалась в исправлении несправедливостей парламента и высших судов. Они ежедневно общались с мастерами прошений, с государственными советниками, с людьми самого высокого ранга, которые были вынуждены прибегать к их услугам, чтобы бороться с узурпацией, на которую они жаловались.

«Таким образом, адвокаты при совете имели возможность, обсуждая с самими министрами, либо для того, чтобы атаковать их, либо для того, чтобы защищать их, познакомиться с отношениями между властями, с истинным разделением властей, с гражданской организацией во всей ее полноте, с социальным порядком в целом: это была отличная школа для подготовки экономистов, политиков, законодателей.

«Рассказывая о роли и миссии адвокатов при совете, мы, возможно, должны были объяснить, что таковы были, по крайней мере, идеи и право этой институции. Необходимо ли теперь констатировать, чем на самом деле была эта институция? Среди шестидесяти членов этого почтенного братства было несколько выдающихся людей, которые чувствовали достоинство своих функций, относились к своим клиентам с великодушием и деликатностью, а к делам — с научным подходом, усердием и мужеством. Но, надо сказать, не все из них имели столь высокое чувство долга, и были некоторые, чье соперничество заключалось в том, чтобы совершать много *крупных ошибок*.

«Когда Дантон был принят в адвокаты, это было в 1787 году; ему было двадцать восемь лет, его жене — двадцать пять. В то время орден был разделен на три более или менее активные партии.

«Старожилы хотели создать *профсоюз*, во главе которого они, естественно, оказались бы.

«Молодые пришельцы придерживались новых идей и не хотели, чтобы их вели или отвергали.

Третья партия состояла из умеренных и миролюбивых людей, которые, любя прежде всего покой и, как говорили впоследствии, *мир везде и всегда*, не хотели участвовать ни в каких действиях и предпочитали терпеть зло в ущерб себе, чем двигаться в каком-либо направлении и позволять себе быть потревоженными даже прогрессом, который был бы им полезен, но мог *лишить их привилегий*.

«Уже можно было догадаться, к какой партии должен был примкнуть Дантон. Он не пренебрегал дисциплиной, которая должна преобладать в хорошей организации судебной компании, но считал, что реальная сила и мощь компаний заключаются в их независимости, так же как талант членов этих корпораций не может обойтись без достоинства характера.

Человек, который, вступая в компанию, высказывает свои мнения с энергичной резкостью, может ожидать много борьбы и враждебности.

«Желая оценить ценность новоприбывшего, адвокаты под предлогом приветствия и без предварительного предупреждения подвергли его испытанию на латыни. Ему было предложено изложить морально-политическую ситуацию в стране в ее отношениях с правосудием. Как позже сказал Дантон, это было все равно что *предложить ему ходить по лезвию бритвы*... Он не отступил. Восприняв неожиданную трудность, в которую, как полагали, его хотели заманить, как удачу, он блестяще справился с заданием и поразил слушателей своей находчивостью и решительностью характера. Он не побоялся затронуть

тему политики, которая начинала проникать во все сферы жизни и, возможно, была тайной причиной западни, устроенной для него. Надеялись поймать на ошибке молодого адвоката, который поднимал голову и провозглашал принципы независимости. Дантон, как человек талантливый и умеющий преодолевать самые большие трудности, осмелился говорить о самых актуальных вещах; он сказал, что как гражданин, друг своей страны, а также как член корпорации, посвятившей себя защите частных и общественных интересов общества, он желает, чтобы правительство достаточно осознавало серьезность ситуации, чтобы исправить ее простыми, естественными средствами, основанными на его власти; что в условиях насущных потребностей страны необходимо смириться с необходимостью пожертвовать чем-то; что дворянство и духовенство, владевшие богатствами Франции, должны были показать пример; что, по его мнению, в борьбе парламента, которая разразилась в то время, он видел только интересы нескольких влиятельных частных лиц, которые боролись с министрами, но не предлагали ничего в пользу народа. Он заявлял, что, по его мнению, горизонт выглядел мрачным и он чувствовал приближение страшной революции. Если бы только можно было отсрочить ее на тридцать лет, она прошла бы мирно, благодаря силе обстоятельств и прогрессу просвещения. В этой речи, напоминавшей пророческий крик Кассандры, он повторял: *горе тем, кто провоцирует революции, горе тем, кто их совершает!*

«Несколько раз старые адвокаты, которые подстроили эту ловушку Дантону, хотели прервать его импровизацию. Им показалось, что они услышали слова, которые их напугали, такие как *motus populorum, ira gentium, salus populi suprema lex...* Молодые люди, недавно окончившие колледжи, которые имели право понимать латынь лучше, чем старики, которые ее забыли или никогда не знали, отвечали своим старым коллегам, что те неправильно услышали, что оратор остался в пределах совершенной, безупречной меры.

«Надеясь легче обнаружить в тексте письменного сочинения опрометчивые мысли, которые они, как им казалось, уловили, слушая его слова, старейшины попросили Дантона положить свою речь на стол в зале заседаний. Дантон ответил, что он ничего не писал. Он уже имел привычку писать как можно меньше. Как он сказал позже, во время революции не пишут. Кроме того, он добавил, что если кто-то желает вынести суждение о его словах, он не будет этому противиться. Он был достаточно уверен в своих мыслях и памяти, чтобы точно повторить всю свою импровизацию... Лекарство было бы хуже болезни. Ареопаж счел, что услышанного было уже достаточно, и большинство решительно выступило против повторного слушания.

«Кабинет, купленный Дантоном, был далек от того, чтобы иметь многочисленную клиентуру, когда он стал его владельцем. Тем не менее, он всегда был очень бескорыстен по отношению к своим клиентам.

Он был нетребовательным в вопросе гонораров, , даже когда выигрывал дело. Когда его клиент приходил расплачиваться с ним, он часто говорил: «*Это слишком много*» и возвращал то, что называл «*лишним*». В некоторых проигранных делах он отказывался от любого вознаграждения. «У меня нет расходов, — говорил он, — поскольку я не составлял документов и оставил в канцелярии свою бумагу с гербовой маркой». Хотя он не был богат, ему случалось самому помогать деньгами несчастным клиентам.

«Подобное поведение не приводит к быстрому обогащению. Однако деловая репутация Дантона улучшилась за очень короткое время. Достоинство ведя свои дела, он зарабатывал от двадцати до двадцати пяти тысяч франков в год; его положение как главы семьи было обеспечено.

«В то время, когда Франция еще была разделена на провинции, низшие классы могли обращаться к великим сеньорам своей страны, и те часто из тщеславия, а не из гуманности, любили защищать своих вассалов. Дом Бриенн находился в Шампани, недалеко от Арси-сюр-Об. Дантон был знаком с графом де Бриенном, бывшим министром войны, и архиепископом Сенса, тогдашним премьер-министром. Среди его клиентов был г-н де Барентен. Он проводил с ним совещания по своим личным делам, и несколько раз, после их обсуждения, г-н де Барентен беседовал со своим адвокатом о государственных делах. Высокий уровень, с которым Дантон смотрел на вещи, поразил г-на де Барентина и произвел на него сильное впечатление его способностями.

«Став министром юстиции, г-н де Барентен сразу же вспомнил о своем адвокате и спросил его, не хочет ли он стать секретарем канцелярии. Дантон в ходе долгой беседы с министром подробно изложил ему план, который, по его мнению, мог предотвратить раскол, к которому привело бы противостояние парламентов. Некоторые из этих парламентов были только что изгнаны: Дантон считал, что их возвращение не было делом первой необходимости. Прежде всего, нужно было вовлечь их в участие в реформах; они были столь же их противниками, как и дворянство и духовенство, к которым они в некотором роде принадлежали и чьи привилегии они имели. Все привилегированные, наконец, какими бы ни были их костюмы, будь то мантия дворянина, сутана священника или дворцовая мантия, все, по мнению Дантона, должны были вносить свой вклад в расходы, которые ложились исключительно на третье сословие (), то есть на подавляющее большинство; нация ждала облегчения невыносимого бремени, которое она больше не могла нести, терпение было исчерпано...

«Если бы эти идеи были приняты, король, стоявший во главе их, оказался бы в интересах всех обладателем власти, превосходящей все частные интересы. Он мог бы реализовать требования разума и, благодаря реальному прогрессу, полностью удовлетворить просвещенных людей того века и философию, интерпретирующую истинные потребности человечества.

«Одним словом, план, разработанный Дантоном, был направлен на то, чтобы король осуществил постепенную реформу, которая, оставив на месте установленные власти, сделала бы их, без их ведома или вопреки их воле, инструментами этой практической справедливости, которая укрепила бы одновременно все органы социального механизма. М. де Барентен рассказал о проекте Дантона архиепископу Сенса. Похоже, тот одобрил его. Между тем двор отверг эту систему, слишком четкую и решительную для его вкусов. Парламент был вновь созван. Бриенн полагал, что заручился поддержкой его основных членов.

«Но три месяца спустя, в ноябре 1787 года, когда король был вынужден приехать в Париж, чтобы провести судебное заседание в том же парламенте с целью регистрации указа о создании различных займов на сумму до 450 миллионов, Людовик XVI столкнулся с самым яростным сопротивлением в этом дворе, который, как считалось, был ослаблен. Он хотел победить оппозицию, сослав самых непокорных, советников Фрето, Сабатье, де Кабре и герцога Орлеанского... В мае следующего года, 1788 года, тот же парламент вынес постановление, в котором с яростью требовал «основных законов государства; право нации предоставлять субсидии, право судов королевства проверять указы, проверять в каждой провинции волю короля и регистрировать их только в том случае, если они соответствуют конституционным законам провинции, а также основополагающим законам государства; незыблемость и независимость магистратов, право каждого гражданина никогда не представлять перед другими судьями, кроме своих естественных судей, назначенных законом; право, без которого все остальные права бесполезны, не подвергаться аресту по

какому бы то ни было распоряжению, за исключением случаев, когда арестованный немедленно передается в руки компетентных судей; протест суда парламента против любого посягательства на выраженные принципы».

«М. де Барентен вновь предложил Дантону стать секретарем печати. Тот поблагодарил его, сказав, что политическая ситуация изменилась. «Мы больше не находимся на этапе скромных реформ; те, кто их отверг, отвергли свое собственное спасение; мы, — сказал он более четко, чем когда-либо, — находимся на пороге революции. Что же! Разве вы не видите приближающуюся лавину?

А. Р. С. де Сен-Альбен».

VI

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКУМЕНТОВ

Отражающие цену, уплаченную за место Дантона в *Conseils du Roi*, источники, из которых он получил деньги для его оплаты, и компенсацию, выплаченную при его упразднении в 1791 году.

Три документа, из которых я цитирую ниже, имеют огромное значение для специального исследования Дантона, поскольку они дают нам большинство доказательств ценности его поста в *Conseils du Roi* и позволяют понять его финансовое положение в первые годы Революции.

Их три:

(a) Договор купли-продажи, по которому Дантон приобрел должность у Ме. Уэ де Пайси. Этот договор был обнаружен доктором Робине (из чьей «*Vie Privée de Danton*» я беру все цитируемые документы) в офисе парижского адвоката Ме. Фазо-Жаранна на улице Вивьен. Этот джентльмен был прямым преемником в своем деле М. Досфанта, который составил договор семьдесят лет назад.

Я процитировал только самые важные части этого чрезвычайно интересного документа. Они дают нам дату сделки (29 марта 1787 года), уплаченную цену — 78 000 ливров, или, скорее (учитывая, что Дантон приобрел право взыскать долг в размере 11 000), 67 000 ливров нетто (примерно 2600 фунтов стерлингов); факт, что около 2000 фунтов стерлингов из этой суммы были выплачены из ссуды, взятой для него его родственниками в Шампани и его будущим тестем, а около 160 фунтов стерлингов он выплатил из своих сбережений, а остальная часть осталась непогашенной. Квитанция 1789 года, которую я приложил в конце выдержки, показывает нам, что к тому времени остаток был выплачен Ме. Уэ де Пайси, включая проценты в размере 5 процентов. Кстати, упоминается о переезде Дантона на Rue de la Tissanderie, где мы найдем его, составляющего свой брачный договор.

(b) Брачный договор между Дантоном и Антуанеттой Шарпантье содержит все обычные положения французского брачного договора и заверен обычным составом свидетелей, подобным тому, который мы видим в договоре Демулена, заключенном тремя или четырьмя годами позже. Он сообщает нам, среди прочего, о положении его отчима Рекордена и о состоятельных связях семьи Шарпантье; но главный интерес представляет приданое — 20

000 ливров, то есть около 800 фунтов стерлингов, большая часть которых (600 фунтов) пошла на погашение его долга за должность адвоката-консультанта, и тот факт, что у него осталось наследство в размере около 500 фунтов стерлингов.

(с) Признание суммы, причитающейся в качестве компенсации Дантону, когда была упразднена наследственная и подлежащая покупке должность, которую он приобрел. Все исследователи того периода знают о том огромном шуме, который поднялся по поводу этого вопроса, о слухах, что Дантону переплатили в качестве своего рода взятки от суда и т. д. и т. п. Все прямые доказательства этой сделки содержатся в этих нескольких строках. Они ничем не отличаются от всех других форм возмещения и совершенно просты.

Сумма несколько меньше той, которую мы выплатили бы в Англии в аналогичных обстоятельствах, поскольку (1) государство не учитывает вступительные взносы (10 000 ливров), которые Дантон должен был уплатить, и (2) взимает с него 12 процентов в качестве *вероятного* будущего налога, который был бы уплачен в случае смерти, передачи и т. д. В итоге он получает не ganz 70 000 ливров за место, которое стоило ему в общей сложности 78 000.

Подводя итог: общие выводы, которые эти документы позволяют сделать в отношении финансового положения Дантона, следующие: цена практики, которую он купил, составляла 68 000 ливров; из них 56 000 были выплачены наличными, сумма, полученная путем заимствования 36 000 у мадемуазель Дюхаттуа (, обнаруженной семейным адвокатом Милло) и 15 000 у его будущего тестя Шарпантье, а остальные 5000 были выплачены из средств, полученных от его будущего тестя Шарпантье, а остальные 5000 были выплачены из средств, полученных от его будущего тестя Шарпантье, а остальные 5000 были выплачены из средств, полученных от его будущего тестя Шарпантье, а оста Духатуа (залогодержатель, обнаруженный семейным адвокатом Милло), и 15 000 — от его будущего тестя Шарпантье, а остальные 5000 были выплачены из его собственного кармана.

Таким образом, он остается в долгу перед Ме. Уэ де Пайси, продавцом, на сумму 12 000 ливров под 5 процентов годовых.

К этому следует добавить сумму в 10 000 ливров вступительного взноса, которую он, по-видимому, выплачивает, взыскивая долг несколько большей суммы (11 000), который он приобрел вместе с практикой.

Когда он женится, приданое его жены погашает его долг Шарпантье и оставляет ему 5000 ливров, при этом он владеет на тот момент землей и домами в Арси на сумму около 12 000 — всего 17 000 ливров или их эквивалент на руках летом 1787 года, а его общие обязательства на ту же дату составляют 36 000 мадемуазель Дюхаттуа и 12 000 мему де Пэзи. Духатуа и 12 000 мадам де Пайзи. Таким образом, он начинает свою практику с 31 000 ливров, или около 1200 фунтов стерлингов чистой задолженности. Практика была прибыльной; мы знаем, что он сразу же занимается тремя важными делами в канцелярии; он становится адвокатом двух самых богатых людей в королевстве; он живет скромно. Мы знаем, что он выплатил 12 000 с процентами в декабре 1789 года, и хотя у нас нет квитанции о выплате мадемуазель Дюаттуар, вполне вероятно, что в таких условиях он мог легко погасить долг менее 800 фунтов стерлингов за четыре года успешной практики в закрытой корпорации, которая по необходимости занималась самыми прибыльными делами в королевстве. Поэтому я думаю, что можно считать, что возмещение, которое он получил в 1791 году, было, по-видимому, свободным от долгов, и что он не испытывал финансовых затруднений в любой период Революции. Это мнение имеет то преимущество, что оно опирается на поддержку всех тех,

кто недавно исследовал те же документы — ММ. Олар, Робине, ранее Бужеар (но он является специальным адвокатом) и, наконец, г-н Морс Стивенс в Англии.

(а) Из договора купли-продажи между Уэтом де Пэзи и Дантоном от 29 марта 1787 года.

«В присутствии советников короля, нотариусов и т. д....

«... Я, Шарль-Николя Уэ де Пэзи, эскавайр, бывший адвокат в парламенте и советник короля, проживающий в Париже, на улице Тиссандри, в приходе Сен-Жан-ан-Грев... продал... г-ну Жаку-Жоржу Дантону, адвокату в парламенте, проживающему в Париже, на улице Де-Мове-Пароль, в приходе Сен-Жермен-л'Оксерруа... наследственное звание и должность адвоката в совете короля, являющегося одним из 70, созданных указом от сентября 1738 года...

«Указанный г-н Уэ де Пайзи продает кроме того указанному г-ну Дантону практику и клиентуру, связанные с указанной должностью, и состоящие из дел, папок и т. д....

«Эта продажа осуществляется... упомянутым г-ном Дантоном, который обязуется занять место... упомянутого г-на Уэта де Пайзи... за сумму в 78 000 ливров... из которых 68 000 составляют цену практики, а 10 000 — обычные расходы...

«Указанный г-н Уэт де Пэзи признает, что из 68 000 ливров (стоимость практики) он получил сумму в 56 000 ливров, о чем имеются соответствующие квитанции. Что касается 12 000 ливров излишка, то г-н Дантон обещает и обязуется выплатить их в течение четырех лет со дня своего вступления в должность с процентами по ставке последних двадцати... (5 процентов).

«Déclare en outre une ... сумма в 11 000 ливров, которая ему законно причитается от... (Далее следуют подробности этой задолженности перед офисом. Дантон соглашается выплатить 68 000 при условии, что он сможет взыскать эту задолженность с клиента офиса, и особо упоминает тот факт, что, если ему не будет предоставлено полное право на взыскание, цена составит не 68 000, а только 57 000 ливров)....

[illegible]

указанным именем, задействует, обязывает и закладывает под указанную солидарность, в целом все имущество, движимое и недвижимое, настоящее и будущее своих учредителей.

«Указанный г-н Дантон заявляет, что в пятьдесят шести тысячах ливров, уплаченных им вышеуказанным образом, тридцать шесть тысяч ливров происходят из денег, которые он занял у девицы Франсуазы-Жюли Дюотуар, девицы совершеннолетней, и пятнадцать тысяч ливров, которые он занял у сеньора Франсуа-Жерома Шарпантье, контролера ферм, под поручительство упомянутых сеньора и дамы Ленуар, дамы вдовы Жаннет и девицы Камус....
(Далее следует полный текст квитанции, подписанной Уэтом де Пайзи в декабре 1789 года.)

«Et le trois décembre mil sept cent quatre-vingt-neuf, est comparu devant les notaires à Paris, soussignés, ledit Me. Huet de Paisy, nommé et qualifié en l'acte ci-devant, demeurant à Paris, rue des Couronnes, près de Belleville,—Lequel a reconnu avoir reçu dudit Me. Дантона, также названного, квалифицированного и проживающего в настоящее время, сумму в тринадцать тысяч пятьсот ливров, состоящую из 1^о двенадцати тысяч ливров, которые, по цене вышеуказанного договора, были оговорены к уплате в течение четырех лет со дня получения указанным г-ном Дантона, и на которые последний должен был распространить действие гарантии, взятой на себя указанным г-ном де Пайзи в соответствии с вышеуказанным договором в отношении дела сеньора Папийона де ла Гранжа, в силу которой, несмотря на то, что данное дело еще не завершено, указанный г-н Дантон освобождает упомянутого г-на де Пайзи; 2^о и пятнадцать сотен ливров в качестве процентов от упомянутой суммы в двенадцать тысяч ливров, начисленных до первого октября прошлого года, которые перестали начисляться по соглашению между сторонами; из этой суммы в тринадцать тысяч пятьсот ливров и всех вещей, относящихся к упомянутому договору, упомянутый г-н Уэ де Пайзи освобождает и освобождает г-на Дантона; — Дантона; — Dont acte fait et passé à Paris, en l'étude, lesdits jour et an et ont signé.

(b) Из брачного контракта Дантона и мадемуазель Шарпантье, 9 июня 1787 года.

«В присутствии советников короля и т. д....

«Месье Жорж-Жак Дантон, адвокат королевского совета, проживающий в Париже, на улице де ла Тиссандри, в приходе Жан-ан-Грев, сын покойного сеньора Жака Дантона, буржуа из Арси-сюр-Об, и дамы Жанны-Мадлен Камус, его вдовы, в настоящее время супруги сеньора Жана Реордена, торговца в Арси-сюр-Обе, проживающего в настоящее время в Париже, проживающей у упомянутого сеньора, его сына, в настоящее время, заключающего договор с упомянутым г-ном Дантоном, с одной стороны.

«И сэр Франсуа-Жером Шарпантье, контролер ферм, и дама Анжелик-Октави Солдини, его супруга... проживающие в Париже, на набережной Эколь, приход Сен-Жермен-л'Оксерруа, выступающие от имени... девицы Антуанетты-Габриэль Шарпантье, их совершеннолетней дочери... с другой стороны.

«... заключили гражданский брак... а именно...

(Далее следуют имена свидетелей договора; их единственное значение заключается в том, что они дают нам представление о социальном положении двух буржуазных семей, участвующих в сделке. Среди них Папийон, хирург; Дюпон, адвокат Шатле; Дюпра и Гуссо, адвокаты; Висле, банкир; мадам Тававаль, вдова придворного художника, и так далее.)...

«... Имущество будущего мужа состоит из:

«(1^o) В должности адвоката... купленной у Ме. Уэ де Пайси... 29 марта прошлого года... за сумму в 68 000 ливров, которую он должен полностью либо указанному Ме. Уэ де Пайси, либо лицам, которые одолжили ему суммы, которые он заплатил наличными.

«(2^o) В землях, домах и наследствах, расположенных в Arcis-sur Aube и его окрестностях, стоимостью 12 000 ливров....

«Родители упомянутой девушки дают ей в качестве приданого... сумму в 18 000 ливров... для погашения этой суммы ... они освобождают упомянутого Ме. Дантона от суммы в 15 000 ливров, которую они ему одолжили и которая была им использована для оплаты части цены... связанной с должностью упомянутого г-на Уэ де Пайси...

«Они в настоящее время выплатили упомянутому Ме. Дантону 3000 ливров, дополняющих восемнадцать тысяч ливров.

«Enfin ladite demoiselle future épouse apporte ... la somme de 2000 livres provenant de ses gains et épargnes.»

(Остальная часть документа представляет собой заявление о «совместной собственности» в браке и о выплатах в случае смерти, все это регулируется «обычаями Парижа». Они не представляют интереса для данной книги).

(с) Из записки о ликвидации должности Дантона в Conseils du Roi и его квитанции о возмещении расходов, 8 и 11 октября 1791 года. Хранится у де Монморена в его офисе.

«Nous, Louis-César-Alexandre-Dufresne Saint-Léon, commissaire du Roi, directeur général de la liquidation.

«Attendu la remise à nous faite des titres originels... concernant l'office d'avocat ès conseils du Roi dont était titulaire ... le Sieur Georges-Jacques Danton.

Указанная должность ликвидирована... декретом Национального собрания... утвержденным королем 2 октября, на сумму 69 031 ливр 4 соль... Мы вручили сеньору Дантону... настоящее окончательное подтверждение указанной суммы в 69 031 ливр 4 соля, которая будет выплачена из кассы чрезвычайных расходов...

«M. Georges-Jacques Danton, адвокат-консультант, в присутствии нижеподписавшихся... признал... ликвидацию... должности адвоката-консультанта короля, которой был титуляр... упомянутый Жорж-Жак Дантон... а именно.

«(1^o) 78 000 ливров... основная сумма, за которую он приобрел должность 29 марта 1787 года.

«(2^o) 240 ливров для возмещения права перехода.

«(3^o) 416 ливров 4 соля для оплаты золотого марка.

«(4^o) 125 ливров за расходы на печать.

«Deduction faite de 9750 pour le huitième du prix retenu.... Au moyen du paiement effectif qui sera fait audit Sieur Danton de ... 69,031 livres 4 sols ... quitte et décharge l'état, M. Dufresne de Saint-Léon et tous autres de ladite somme de 69,031 livres 4 sols ... &c.» *(Остальная часть документа содержит упоминание о том, что ликвидатору был представлен оригинал договора купли-продажи, а также исправление некоторых канцелярских ошибок в предыдущем документе).*

VII

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКУМЕНТОВ

Описание расположения квартиры Дантона в Cour de Commerce, ее мебели и стоимости и т. д.

Приведенные ниже выдержки представляют чисто личный интерес и не добавляют ничего существенного к нашим знаниям о Революции. С другой стороны, они ценны для тех, кто в первую очередь интересуется личностью Дантона и подробностями его повседневной жизни. Они показывают, каким образом он жил, с его простой мебелью, двумя слугами, денежными запасами и т. д., и позволяют нам составить точное представление о квартире, в которой он жил, и о ее расположении. Именно из них я почерпнул материал для своего описания комнат в Приложении II на стр. 329. Кстати, они рассказывают нам о профессии брата М. Шарпантье (нотариуса), дают представление о религиозном погребении, практиковавшемся весной 1793 года, показывают нам, как и многие его фразы в других местах, полное отсутствие антиклерикализма в семье Дантона, как и в его собственном сознании, номер дома, имя его владельца, гардероб Дантона, его вино, лошадь и карету, которые он купил для своего поспешного возвращения из Бельгии, и многие другие мелкие детали, которые представляют такой интерес при изучении исторического персонажа.

Как и большинство документов, цитируемых в этом приложении, они являются результатом трудолюбия и исследований биографа Дантона, доктора Робине, и можно найти их в его «Мемуарах о частной жизни Дантона». Их три:

(a) Различные заявления Тюйе, мирового судьи Секции Французского театра. Он наложил печати « » на двери и мебель (как это принято во Франции) после смерти первой жены Дантона. Эта смерть произошла 11 февраля 1793 года, когда Дантон был в командировке в Бельгии, а визит мирового судьи состоялся на следующий день, 12-го числа. Дантон немедленно возвращается, и печати снимаются в разные дни с 24 марта по 5 апреля в присутствии самого Дантона или его тестя Шарпантье.

(b) Опись, сопровождавшая опечатывание и вскрытие квартир.

(в) Снятие печатей, которые были наложены на дом после казни Дантона. Интересно в основном из-за удивительного почерка и орфографии новых чиновников.

Все три документа были получены доктором Робине от адвокатов, которые унаследовали или получили в наследство оригинальные «Etudes», где хранились эти документы.

«Сегодня, двенадцатого февраля тысяча семьсот девяносто третьего года, второго года Французской Республики, в десять часов утра, мы, Клод-Луи Тюйе, мировой судья секции Театра-Франсе, известной как Марсельская, в Париже, узнав, что гражданка Антуанетта-Габриэль Шарпантье, супруга гражданина Жоржа-Жака Дантона, депутата Национального конвента, скончалась вчера в своей квартире на улице Корделье, двор Коммерции, в пределах нашего участка, и учитывая, что упомянутый гражданин Дантон отсутствует по поручению Национального комитета, мы вместе с гражданином Антуаном-Мари Бертю, нашим обычным секретарем-канцеляристом, отправились в дом, расположенный в Париже, на улице Корделье, двор Коммерции, и, подойдя к входу в лестницу, ведущую к квартире упомянутого гражданина Дантона, мы обнаружили священников из прихода Сен-Андре-де-

Ар и кортеж, сопровождавший перевозку тела упомянутой Шарпантье, супруги упомянутого гражданина Дантона, и поднявшись на первый этаж над антресолю и войдя в квартиру упомянутого гражданина, в салон с видом на улицу Корделье, мы обнаружили там и перед нами явилась гражданка Мари Фужеро, дочь служанки упомянутого гражданина Дантона.— Которая, сказала нам, что упомянутая гражданка Антуанетта-Габриэль Шарпантье, супруга упомянутого гражданина Дантона, скончалась в ночь с воскресенья на понедельник в квартире, где мы находимся, в результате болезни; что упомянутый Дантон отсутствует по поручению Национального Конвента; что мать упомянутой покойной Шарпантье вчера послала за своим еще маленьким сыном, что она, гражданин Жак Фужеро, ее брат, который в течение пятнадцати дней проживает в доме, где мы находимся, и гражданка Катрин Мотен, также служанка упомянутого гражданина Дантона, являются единственными, кто остался в квартире упомянутого Дантона; что ключи от мебели и вещей, находящихся в квартире, где мы находимся, были взяты и унесены матерью упомянутой покойной Шарпантье, которая присутствовала при ее последних минутах; что она только что послала за упомянутыми ключами к гражданину Шарпантье, проживающему на набережной Эколь. И подписал г-н Фужеро.

«В этот момент явился гражданин Франсуа-Жером Шарпантье, проживающий в Париже, на набережной Эколь, № 3, район Лувр, который представил нам пакет с ключами».

(а) Выдержки из «Apposition des Scellés» М. Тюё, мирового судьи, от 12 февраля 1793 года, и из «Vacations» того же судьи.

«Surquoy nous, Juge de Paix susdit ... avons apposé nos scellés comme il suit. Premierment dans le dit salon ayant vu sur la rue des Cordeliers ... dans un petit salon étant en suite ayant même vue ... dans la chambre à coucher étant en suite et ayant même vue....

«Гражданин Шарпантье заметил луидоры, которые упомянутый гражданин Дантон передал своей жене для оплаты мандатов тех, кто присоединится к нему в Бельгии. — Печати ... на двери черного кабинета, соединяющегося с маленькой спальней ... на входной двери упомянутого черного кабинета ... в последней комнате салона, выходящей на двор Торгового двора... в прихожей рядом с кухней с видом на двор Коммерции... В комнате для прислуги на антресоли... В маленькой комнате внизу... В столовой с видом на двор Коммерции... В комнате с ванной... На кухне... В погребе...

«И 24 февраля 1793 года, во второй год Французской Республики, перед нами явился гражданин Жорж-Жак Дантон, депутат Конвента... который попросил нас... снять указанные печати... наложенные после смерти упомянутой дамы (слово «*citoyenne*» явно еще немного непривычно) Антуанетты Шарпантье....

«Затем, по просьбе сторон, мы ... отправились в дом на улице Пэон, Отель де Тур ... где была произведена оценка кабриолета, лошади, кобылы и упряжи.... Le C. Antoine-François Charpentier, нотариус, проживающий на улице l'Arbre-Sec, явился ... и C. François-Jerome Charpentier, №. 3 Quai de l'École....»

(Остальная часть документа представляет собой длинный отчет о снятии печатей в различных случаях с 1 марта по 5 апреля. Он не содержит ничего интересного.)

(b) Краткое изложение описи имущества, проведенной в доме Дантона после смерти его первой жены, 25 февраля 1793 года.

«L'an mil sept cent quatre vingt-treize, le deuxième de la République française, le vingt-cinq février, huit heures du matin.

По просьбе Жоржа-Жака Дантона, депутата Рационального Конвента, проживающего, и т. д. ... указанные ниже нотариусы в Париже приступят к описи всего имущества, движимого и т. д.... в помещениях, составляющих квартиру на первом этаже дома, расположенного в Париже, на улице Корделье, в переулке Коммерс, принадлежащего сеньору Буллоноа».

(Далее следуют подробности описи, краткое изложение которой я привожу на английском языке).

	Книги
<i>В погребе</i> — три бутылки бургундского, 62 бутылки кларета, 92 бутылки бургундского, небольшая бочка белого вина	600
<i>На кухне</i> — обычная кухонная утварь французского дома, перечисленная в деталях и оцененная в	208
<i>В кладовой и подсобных помещениях кухни</i> — несколько стульев, весы, чашки, блюда и т. д.	98
<i>В спальне, примыкающей к Cour de Commerce и выходящей на него.</i> — Обычная мебель; вероятно, гардеробная. Здесь были найдены часы Дантона после его казни, его письменный стол « » и т. д.: все, включая посуду в шкафу и печь	264
<i>В более просторной спальне, выходящей на Rue des Cordeliers.</i> — Помимо обычной мебели, небольшое пианино, гитара, два зеркала и письменный стол.	990
<i>В маленькой комнате, выходящей из этой.</i> — Обычная мебель небольшого кабинета или будуара, обставленного белым деревом того периода	470
<i>В гостиной.</i> — Мебель, в основном серого и белого цвета, ни одна деталь не заслуживает особого упоминания.	992
<i>В большом шкафу возле камина</i> хранилась летняя одежда и меч, который Дантон носил в старом батальоне Кордельеров. Общая стоимость	332
<i>В маленькой комнате, выходящей во внутренний двор</i> (очевидно, использовавшейся как библиотека, список книг которой можно найти на стр. 380): мебель, в основном книжные шкафы, стоимостью	160
<i>В маленькой кладовой</i> — три пустых сундука и кровать	16
<i>В двух маленьких смежных комнатах</i> — мебель (в основном убрана)	214
В остальной части описи упоминаются домашнее белье, одежда, столовое серебро и драгоценности. Краткое содержание следующее:	
Постельное белье, всего	734
Одежда, включая все предметы	925
Посуда, включая несколько свадебных подарков, с инициалами	291
Ножи и вилки, кроме тарелок	20
Ювелирные изделия (включая два женских кольца с бриллиантами и обручальное кольцо)	509

Это дает нам общую стоимость мебели, одежды и т. д. в доме, которая составляет чуть более 9000 ливров, то есть около 360 фунтов стерлингов. В доме было 50 фунтов стерлингов наличными, которые он оставил своей жене перед отъездом в Бельгию.

(с) Выдержки из «Подъема печатей после смерти Дантона».

«В третий год единой и неделимой Республики, сегодня, двадцать пятого мессидора, в девять часов утра, по просьбе управления национального имущества департамента Парижа и на основании его постановления № 16, подписанного Реннесоном и Гильотином, о назначении нас, Журдена, в качестве комиссара указанного управления, с целью перевозки нас в сопровождении двух гражданских комиссаров секции Французского театра и комиссара любой конституционной власти, который наложил печати на дом покойного Жака-Жоржа Дантона, приговоренного к смертной казни шестнадцатого герминаля второго года Революционным трибуналом, учрежденным в Париже, с целью снятия этих печатей, а также печатей указанного бюро национального домена в указанном доме, расположенном на улице Корделье, № 24, в присутствии гражданина Шарпантье, тестя покойного Дантона и опекуна Антуана и Франсуа-Жоржа Дантонов, несовершеннолетних детей *покойного*, и покойной гражданки Антуанетты-Габриэль Шарпантье, дочери гражданина Шарпантье, деда и опекуна указанных несовершеннолетних; затем совместно с указанным опекуном и в присутствии гражданки, второй жены указанного Дантона, или ее доверенного лица, провести сверку мебели и вещей указанного *покойного* с ранее составленным описью, а затем поместить вышеуказанное жилье, а также документы и бумаги, мебель и вещи, которые будут находиться в распоряжении указанного гражданина Шарпантье от его имени и в его качестве, с предоставлением ему действительного освобождения от ответственности, отстранить от должности хранителя печатей, которому будет вручена копия указанного отстранения.

«Мы, Жан-Батист Журден, *вышеуказанный*, проживающий в Париже, на улице Свободы, № 86, район Театр-Франсе.

В сопровождении граждан Бёрнье и Леблан, заместителей комиссаров гражданского комитета вышеуказанного района, по нашему требованию в указанном гражданском комитете, мы вместе и на основании *вышеуказанного* постановления были доставлены в *указанное* жилище, улица Корделье, *так* называемая Эколь-де-Сант, под номером 24, вход с улицы Коммерсе, где мы попросили гражданина Дегранжа, сторожа, открыть нам дверь при содействии вышеупомянутого гражданина Шарпантье и гражданки Жели, второй жены вышеупомянутого Дантона...

«Закрывается в два часа дня указанного дня, двадцать пятого мессидора, третьего года единой и неделимой Республики, и указанные граждане Шарпантье и Жели, а также наши помощники и указанный гражданин Дегранж подписали настоящее вместе с нами, после тщательного прочтения, одоблив тридцать девять слов, зачеркнутых как недействительные, подписанных Жели, Шарпантье Ле Блан, Дегранж, Журден и Бёрнье. Ниже написано. Зарегистрировано в Париже, первого термидора года 3^о. Получено четыре лиры. Подписано Кароном. Два слова, зачеркнутые как недействительные в настоящем документе.

«За верность *копии*, выданной нами, членами бюро Национального домена департамента Парижа.

«В Париже, седьмого термидора третьего года единой и неделимой Республики.

Подписано Реннесоном, Дюшателем.

«Сверяно с оригиналом, хранящимся в архивах департамента Сен-э-Уаз.

Архивариус,
Сент-Мари Мевиль».

Стоит отметить отсутствие образования у робеспьеровского чиновника.

VIII

КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ ДАНТОНА

Ни одна часть тех скудных сведений, которыми мы располагаем о личной жизни и привычках Дантона, не имеет большей ценности, чем этот небольшой список. Это небольшой и тщательно подобранный книжный шкаф человека, в совершенстве владеющего английским и итальянским языками, а также своим родным языком. Он почти всегда покупает книги в оригинале и собирает в своей коллекции, насчитывающей менее двухсот произведений, одну классическую работу за другой. Он читал Джонсона и Поупа, знал Адама Смита, усердно изучал Блэкстоуна. Следует тщательно отметить, что каждую купленную книгу он выбирал сам. В старом доме в Арси было всего несколько юридических сборников, и Дантон был человеком, который никогда не славился своей ученостью или литературными знаниями, тем более у него не было причин покупать книги для показухи. Я знаю немногие документы, более трогательные, чем этот каталог, который появился на свет после семидесяти лет молчания и показывает нам ум человека, который был внезапно убит и подвергся клевете. Он читал на их родных языках Рабле, Боккаччо и Шекспира.

Следующие тома написаны на английском языке:

Перевод «Жизни» Плутарха	8	тома.
Перевод Вергилия	4	”
Драйденом		
Шекспир	8	”
Поуп	6	”
Письма Суссини	1	том
The Spectator	12	тома
Кларисса Харлоу	8	”
Перевод «Дон Кихота» (вероятно, Смоллетта)	4	тома.
” ” Гиль Блас	4	”
Очерк о пунктуации	1	том
Словарь Джонсона (в фолио)	2	воров.
Блэкстоун	1	том.
Жизнь Джонсона	2	тома

«Богатство народов» Адама
Смита (количество
томов указано как 23,
вероятно, ошибка)

«История Шотландии» Робертсона	2	»
» » Америка	2	”
Труды доктора Джонсона	7	”

Следующие имена приведены на итальянском языке:

(Имена не указаны на итальянском языке адвокатом, и я могу только следовать его версии.)

Венути: История современного Рима	2 тома.
Гвискардини: История Италии	4 ”
Фонтанини: Итальянское красноречие	3 ”
Итальянские революции Денины	2 ”
Перевод Вергилия, выполненный Каро	2 ”
Декамерон Боккаччо	2 »
Ариосто	5 ”
Издание Боярди «Безумный Орландо»	4 ”
Метастаз (?)	8 ”
Далина (?)	7 ”
Рейчарде (?)	3 ”
Давила: История французских гражданских войн	2 ”
«Письма о живописи и скульптуре»	5 ”
«Морганте» Пульчи, 12 месяцев	3 ”

Остальные книги (за исключением одной-двух юридических книг и классических произведений) написаны на французском языке.

Метаморфозы Овидия, перевод Банье, в 4to	4	тома.
Произведения Руссо, 4to	16	”
Деревенский дом, 4to	2	”
Лукреция, перевод Ла Гранжа, 8vo	2	”
Любовь Дафниса и Хлои, 4to, Париж, 1745		
Произведения Лукиана, перевод с греческого, 8vo	6	”
— де Монтескье, 8vo	5	”
— де Монтень, 8vo	3	”
— де Мальби, 8vo	13	”

— Полное собрание сочинений Гельвеция, 8vo	4	”
Философия природы, 8vo	7	”
Философская история, аббат Рейналь, 8vo	10	”
Произведения Буланже, 8vo	5	”
«Характеры де ла Брьюера», 8vo	3	”
Произведения Брантома, 8vo	8	»
— из Рабле, 8vo	2	”
Басни Лафонтена с иллюстрациями Фессара, 8vo	6	”
Сказки Лафонтена с красивыми иллюстрациями, 8vo	2	”
Произведения Скаррона, 8vo	7	”
— де Пирона, 8vo	7	”
— де Вольтер, 12mo	91	”
Письма Севинье, 12mo	8	”
Произведения Корнеля, 12 mo	6	”
— Расина, 12mo	3	”
— из Грессе, 12mo	2	”
— де Мольер, 12mo	8	”
— из Кребийона, 12mo	3	”
— из Фиеве (sic), 12 mo	5	”
— из Регнара, 12mo	4	”
Трактат о преступлениях, 12mo	1	том
Снятая печать, 12mo	3	тома
Картина Французской революции,	13	тетради
Словарь Бейля, фолиант	5	тома
Сезар де Турпен, 4to	3	”
Произведения Паскье, фолио	2	”
История Франции Велли, Вилларе и Гарнье, 12mo	30	”
История отца Эно, 8vo	25	”
— Церковный служитель из Флери, 4to	25	”
— Английский Рапин, 4to	16	”
Словарь Академии, 4to	2	”

Corpus Doctorum, 4to	1	т.
Исторический словарь, 8vo	8	тома
Краткая история путешествий, 8vo	23	”
Словарь естественной истории Бомара, 8vo	15	”
Вергилий де Дефонтен, 8vo	4	”
Произведения Бюффона, 12mo, иллюстрации	58	”
Геродот де Ларше, 8vo	7	”
Произведения Демосфена и Эсхила, автор Оже, 4to	4	”
Древняя история Роллена, 12mo	14	”
Курс лекций Кондильяка, 12mo	16	”
Современная история, 12 месяцев	30	”
— поздней империи, 12mo	22	”
Corpus Juris Civilis, фолио	2	”
Энциклопедия по предметам, все поставки, кроме последней (1).		

Общая стоимость составляет чуть более ста фунтов (2800 ливров).

IX ВЫДЕРЖКИ ИЗ МЕМУАРОВ, НАПИСАННЫХ В 1846 ГОДУ СЫНОВЬЯМИ ДАНТОНА

Эти мемуары были написаны сыновьями Дантона. Оба пережили своего отца, один на пятьдесят пять, другой на шестьдесят четыре года (1849, 1858). Их состояние было возвращено им Республикой через два года после смерти отца (13 апреля 1796 года). Их опекун, Шарпантье (их дед по материнской линии), умер в 1804 году; после этого их взяла к себе мать Дантона, мадам Рекорден, которая все еще жила в Арси. Она умерла в октябре 1813 года, в том же году, когда младший из братьев достиг совершеннолетия, и они продали большую часть земли, в которую было вложено состояние Дантона, и, по-видимому, вложили капитал в одну из новых фабрик, которые появились после заключения мира. В 1832 году мы видим их партнерами и руководителями хлопкопрядильной фабрики в Арси, которую они поддерживали до самой смерти. К сожалению, у них не осталось выживших сыновей.

Рукопись была написана для племянника Дантона, сына его младшего брата. Этот племянник стал инспектором Парижского университета и одолжил рукопись нескольким историкам, в том числе Мишле и Бужеару. В конце концов она перешла в собственность

последнего, который передал ее доктору Робине. Этот писатель напечатал ее в приложении к «Vie Privée», откуда я и взял ее.

Это не точный исторический документ, как официальные отчеты, квитанции и т. д., на которых во многом основана эта книга. Так, в ней не упоминается приданое мадемуазель Шарпантье и точная дата второго брака; она слаба в некоторых моментах, особенно в датах, но к ней привязана личная заинтересованность () из-за самого качества, из которого проистекают эти ошибки — я имею в виду ее знаковые воспоминания. Хотя память этих людей, достигших преклонного возраста, неточна в деталях, она, скорее всего, более точна в описании мотивов и тенденций, чем мы, живущие сто лет спустя.

«Ничто в мире не дороже нам, чем память о нашем отце. Она была и до сих пор ежедневно подвергается клевете, ужасным оскорблениям; поэтому нашим самым горячим желанием всегда было, чтобы история восстановила справедливость.

«Жорж-Жак Дантон, наш отец, был женат дважды. Впервые он женился в июне 1787 года на Антуанетте-Габриэль Шарпантье, которая умерла 10 февраля 1793 года. В том же 1793 году, мы не можем указать точную дату, он женился во второй раз на мадемуазель Софи Гели, которая еще жила два года назад (мы не знаем, умерла ли она с тех пор). Умирая, наш отец оставил только двух сыновей от первого брака. Один из нас родился 18 июня 1790 года, а другой — 2 февраля 1792 года; наш отец умер 5 апреля 1794 года; поэтому мы не имели счастья получать его наставления, его доверительные откровения, быть посвященными в его мысли и планы. После его смерти все его имущество было арестовано, конфисковано, и позже нам не вернули ни одного из его документов, за исключением документов о праве собственности. Нас воспитывал г-н Франсуа-Жером Шарпантье, наш дед по материнской линии и наш опекун. Он всегда с умилением говорил о своем зяте Дантоне. Г-н Шарпантье, который жил в Париже, умер там в 1804 году, в то время, когда, без сомнения, он еще считал нас слишком молодыми, чтобы мы могли по-настоящему оценить то, что он мог бы рассказать нам о политической жизни нашего отца, потому что он воздерживался от разговоров на эту тему. Кроме того, ему было около восьмидесяти лет, когда он умер, и в последние годы его ум, казалось, был гораздо больше занят его будущим в другом мире, чем тем, что происходило в этом. После смерти нашего деда Шарпантье его сын, г-н Виктор Шарпантье, был назначен нашим опекуном. Он умер в 1810 году. Хотя он жил в Париже, в 1805 году мы вернулись в Арсис, чтобы больше его не покидать. Конец нашего детства и начало нашей юности прошли там, рядом с матерью нашего отца. Она была ослаблена возрастом, недугами и горестями. всегда с глазами, полными слез, рассказывала нам о своем сыне, о бесчисленных проявлениях любви, которые он ей дарил, о нежных ласках, которыми он ее осыпал. Она часто ездила в Париж; он так любил видеть ее рядом с собой! Он полностью доверял ей; она была достойна этого доверия, и если бы у него были секреты, она бы их знала, а мы узнали бы о них от нее. Очень часто она рассказывала нам о Революции, но охватить ее целиком одним взглядом, оценить ее причины, проследить ее ход, судить о людях и событиях, различать все партии, угадывать их цели, распутывать нити, которые заставляли их действовать, — все это было нелегко, согласитесь: поэтому, хотя мать Дантона обладала большим умом и остроумием, неудивительно, что, судя по ее рассказам, мы никогда не знали Революцию, кроме как в крайне смутном виде...

«Его мать, соглашаясь со всеми, кто так часто рассказывал нам о нем, зная его лично, и кого наше социальное положение, конечно, не заставит подозревать в лести, его мать всегда описывала его как самого честного человека, которого только можно встретить, как самого любящего, самого откровенного, самого верного, самого бескорыстного, самого щедрого, самого преданного своим родителям, своим друзьям, своей родине и своей стране. Что в

этом удивительного, скажут нам? Что доказывает такая похвала из уст матери? Ничего, кроме того, что она обожала своего сына. Добавим: чтобы судить человека, должно ли потомство полагаться на заявления матери и сыновей этого человека? Нет, конечно, оно не должно, мы согласны. Но разве для того, чтобы судить этого же человека, оно должно полагаться на заявления его врагов? Оно не должно этого делать. И все же что бы оно сделало, если бы для того, чтобы судить Дантона, оно консультировалось только с «Мемуарами» тех, с кем он всегда боролся?

«Дантона обвиняли в том, что он использовал Революцию, чтобы скандально накопить огромное состояние. Мы докажем неопровержимо, что это обвинение было совершенно несправедливым. Для этого мы сравним состояние его состояния в начале Революции с состоянием его состояния на момент его смерти.

«В момент начала революции наш отец был адвокатом при королевском суде. Это факт, который не требует доказательств: даже его враги не оспаривают его. Мы не можем точно и достоверно установить, чем он владел в то время, однако мы утверждаем, что, даже если он не владел ничем другим (что не доказано), он, по крайней мере, владел своей должностью, и вот наше обоснование:

«(1^о) Некоторые записки, которые находятся в нашем распоряжении, доказывают, что Жак Дантон, наш дед, скончавшийся в Арси 24 февраля 1762 года, оставил недвижимость на территории Планси и Арси, поэтому можно предположить, что наш отец, родившийся 26 октября 1759 года и, следовательно, остававшийся несовершеннолетним в очень раннем возрасте, должен был обладать каким-то наследством, каким бы скромным оно ни было»...

[Далее следуют предположения о том, как он оплатил свое место в *Совете*. Сейчас они не имеют значения, так как у нас есть документы, которые дают нам эту информацию (с. 365). Единственный интересный момент в пропущенном отрывке — фраза «вероятно, наша мать принесла с собой приданое». Мы знаем его размер (с. 366), но это предложение является интересным доказательством полного разлада, который Герминаль вызвал в семье.

«Мы установим, что все, что он имел на момент смерти, было лишь эквивалентом его должности адвоката в Совете. Мы так и не узнали, были ли составлены документы о разделе его имущества и имущества его жен, и были ли во время конфискации его имущества был составлен его опись, но мы очень хорошо и точно знаем, что мы получили из его наследства, и мы собираемся рассказать об этом, не оставляя никаких неясностей, потому что, как мы уже объявили, наши аргументы будут основаны на подлинных документах.

«Мы обратим внимание на то, что состояние, которое мы собираемся представить, включает без различия то, что принадлежало нашему отцу и нашей матери.

Закон от февраля 1791 года предписывал, что стоимость упраздненных должностей и постов должна быть возмещена государством их обладателям. Должность, которую занимал Дантон, была одной из них. Мы никогда не знали, даже приблизительно, во сколько она ему обошлась. Он, несомненно, получил возмещение, поскольку именно в это время он начал покупать недвижимость, подробности о которой приводятся ниже:

«24 марта 1791 года он купил на аукционе за сорок восемь тысяч двести ливров национальное имущество, принадлежавшее духовенству, — ферму «», состоящую из фермы под названием «Nuisement», расположенной на территории Chassericourt, кантон Chavanges, округ Arcis, департамент Aube, в семи лигах от Arcis... Дантон купил эту ферму за сорок восемь тысяч двести ливров,

48 200 ливров

Перенести 48 200 ливров.

«12 апреля 91 года. — Он покупает на аукционе округа Арсис через посредника мастера Жака Жанне-Бурсье...

[Далее следует список покупок, сделанных в апреле 1791 года, из которых наиболее важной является пристройка к дому в Арси — их общая стоимость составляет 33 600 ливров; а в октябре 1791 года — несколько акров земли в городе и участок леса за 3160 ливров. Затем следует итоговая сумма.]

«Общая стоимость всех покупок недвижимости, сделанных Дантоном в тысяча семьсот девяносто первом году: восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят ливров, то есть 84 960 ливров.

«Следует отметить, что, по всей вероятности, большая часть этих приобретений была оплачена ассинатами, которые в то время уже теряли свою стоимость и, следовательно, номинальная стоимость которых превышала их реальную стоимость в деньгах, из чего следует, что реальная стоимость в деньгах вышеуказанных недвижимостей была бы ниже 84 960 ливров.

«С момента последней покупки 8 ноября 1791 года и до своей смерти Дантон не совершал никаких значительных покупок:...

[Вот что оставил после себя Дантон.]

«(1°) Ферма в Нуазменте (проданная нами 23 июля 1813 года);

«(2°) Его скромный старый дом в Арси, с пристройкой, всего площадью не более 9 арпанов, 3 денре, 14 каре (или 4 гектара, 23 ара, 24 центиара), как на 13 апреля 1791 года, когда он приобрел ее у мадемуазель Пио, но в результате сделанных им пристроек, 17 арпентов, 3 денре, 52 каре (или 786 ар, 23);

«(3°) 19 арпентов, 1 денре, 41 квадрат (898 ар, 06) луга и рощи;

«(4°) 8 арпанов, 1 денре, 57 квадратных метров (369 аров, 96) леса;

«(5°) 2 денре, 40 квадратных метров (14 аров, 07) земли, расположенной в пределах Арсиса.

«Мы заявляем всем, кто хочет это услышать, и при необходимости заявляем *под присягой*, что мы не получили из наследства Жоржа-Жака Дантона, нашего отца, и Антуанетты-Габриэль Шарпантье, нашей матери, ничего, абсолютно ничего, кроме недвижимости, о которой мы только что сообщили, нескольких семейных портретов и гипсового бюста нашей матери, которые долгое время после смерти нашего второго опекуна были переданы нам его женой, а также нескольких предметов движимого имущества, которые не заслуживают перечисления или описания, но что мы не получили никаких денежных сумм, никаких долгов, одним словом, ничего из того, что называется ценными бумагами, за исключением, однако, ренты в 100 франков под 5 процентов, которую господа Дефранс и Детап, сборщики

рент в Париже, на улице Шаббане, № 6, продали для нас 18 июня 1825 года, аннуитет, который был куплен для нас одним из наших опекунов...

«Нам могут возразить, и этот возраз заслуживает ответа; нам могут сказать: Вы получили в наследство от вашего отца и матери только недвижимость и движимое имущество, о которых вы только что заявили, но это не доказывает, что состояние вашего отца на момент его смерти состояло только из этих предметов; поскольку его осуждение повлекло за собой конфискацию всего его имущества без исключения, Республика могла продать его и, возможно, продала за значительные суммы. Возможно, вы унаследовали только то, что она не продала.

Вот наш ответ:

«Мебель и недвижимость, конфискованные после смерти нашего отца в департаменте Об и не проданные, были возвращены в наше владение постановлением администрации этого департамента от 24 герминаля IV года. (13 апреля 1796 г.), копия которого находится у нас, принятый в результате ходатайства, поданного нашим опекуном, на основании закона от 14 флореала III года (3 мая 1795 г.), который закрепляет принцип возвращения имущества лиц, осужденных революционными судами и комиссиями, на основании закона от 21 прайриала III года (9 июня 1795 г.), который снимает арест с этого имущества и регулирует порядок его возвращения; наконец, постановление, основанное на законе от 13 термидора III года. (31 июля 1795 г.), положения которого он не упоминает.

«Администрация департамента Об, в том же постановлении, постановляет, что доход от продажи движимого и недвижимого имущества и проценты, полученные с 14 флореала III года (3 мая 1795 г.), в сумме двенадцать тысяч четыреста пять ливров четыре су четыре денира, будет возвращена нашему опекуну в виде векселей на предъявителя, приемлемых для оплаты *только* национальных владений, *принадлежащих эмигрантам*. Мы не знаем, получил ли наш опекун эти векселя на предъявителя; если он их получил, то как он их использовал; мы знаем только, что он не покупал имущество эмигрантов. Из этого постановления администрации департамента Об очевидно следует, что в этом департаменте доход от продажи движимого и недвижимого имущества Дантона в пользу Республики не превысил 12 405 ливров 4 су 4 дени. Это была общая сумма иска, представленного нашим опекуном в его прошении, и все, как и мы, сочтут, что он не преминул отстаивать все наши права. Можно заметить, что в этом постановлении говорится, что эти 12 405 ливров являются суммой выручки от продажи движимого и недвижимого имущества, а также *процентов*, полученных с 14 флореала III года (3 мая 1795 г.)... Но если с одной стороны нужно добавить 12 405 ливров, то с другой стороны нужно вычесть 16 065 ливров, которые остались задолженностью перед людьми, продавшими нашему отцу недвижимость, которую мы унаследовали...

«Таким образом, сначала установлено, что в департаменте Об цены проданных движимого и недвижимого имущества не могли превышать 12 405 ливров; затем, что наш отец на момент своей смерти еще должен был 16 065 ливров по цене приобретения недвижимости, которой он владел...

«Теперь мы приведем несколько *достоверных* фактов, которые позволят оценить доброту его сердца. Ранее мы видели, что в марте и апреле 1791 года он купил большую часть, можно даже сказать, почти все недвижимое имущество, которое он владел на момент смерти.

«Вот одно из чувств, которые волновало его сердце в марте и апреле 1791 года. Он хотел увеличить скромное благосостояние своей матери, своей доброй матери, которую он

обожал. Хотите знать, что он поспешил сделать, когда вступил во владение только что купленными зданиями? Взглянем на документ, который мы держим в руках. Он был составлен 15 апреля 1791 года (через два дня после продажи, осуществленной мадемуазель Пио Дантону) в присутствии М. Одина, который сохранил его оригинал, и М. Этьена, его коллеги, нотариусов в Труа. Дантон делает в нем чистое, простое и безотзывное дарение между живыми лицами своей матери в размере шестисот ливров ежегодной пожизненной ренты, выплачиваемой каждые шесть месяцев, причем первые шесть месяцев подлежат выплате 15 октября 1791 года. Дантон хочет, чтобы в случае смерти его матери 400 ливров из этой ренты в размере 600 ливров перешли его мужу Жану Рекордену (г-н Рекорден был очень состоятельным человеком, когда женился на матери Дантона; он был чрезвычайно добрым, его доброта доходила даже до слабости, поскольку из-за своей уступчивости по отношению к мнимым друзьям, чьи векселя он подписал, он потерял большую часть того, что принес в брак, тем не менее он был таким замечательным человеком, он всегда был так добр к детям Жака Дантона, что они считали его своим настоящим отцом; поэтому Дантон, его зять, испытывал к нему большую привязанность). Единственной причиной этого дарения было живое желание Дантона продемонстрировать одаряемым определенную признательность за их дружбу. Эта пожизненная рента должна была выплачиваться из дохода от дома и прилегающих к нему земель, расположенных в Арси, которые Дантон только что приобрел 13 апреля 1791 года. Это было его первым актом вступления во владение.

«Следует отметить, что на момент продажи мадемуазель Пио эта недвижимость была сдана ею в аренду нескольким арендаторам, которые вместе платили ей 600 ливров в год. Если бы Дантон был богат, и особенно так богат, как хотели заставить поверить его враги, его великодушное сердце не удовлетворилось бы столь скромной пенсией для своей матери. Чтобы сделать это пожертвование, Дантон мог бы дождаться своего приезда в Арсис; но он так спешил подчиниться своим сыновним чувствам, что уже 17 марта 1791 года дал для этой цели специальную доверенность г-ну Жанне-Бурсье, который выполнил его поручение через два дня после покупки для Дантона недвижимости мадемуазель Пио. Как только дом освободился и стал доступен, Дантон, который так любил быть в окружении своей семьи, захотел, чтобы его мать и отчим переехали в него, а также г-н Менуэль, его жена и их дети (г-н Менуэль женился на старшей сестре Дантона).

«6 августа 1792 года Дантон был в Арси; это был канун великого события, которое он, несомненно, предвидел. Среди тысячи мыслей, которые, должно быть, будоражили его, среди беспокойства, которое, должно быть, вызывали у него опасности, которым он собирался подвергнуться, какая идея преобладала, какой страх одолевал его? Он думает о своей матери, он боится, что не обеспечил ей достаточную защиту и спокойствие; доказательством этому служит документ, составленный 6 августа 1792 года в присутствии М. Фино, нотариуса в Арси. Что в нем написано? «Дантон, желая доказать своей матери уважение и нежность, которые он всегда испытывал к ней, обеспечивает ей на всю жизнь подходящее и удобное жилье, дарит ей при жизни, чисто, просто и безотзывно, право пользования такими частями и долями, которые она захочет выбрать в доме и пристройках, расположенных в Арси, на улице Пон, который он приобрел у мадемуазель Пиот де Курсель и в котором в то время проживала его мать, а также на пользование тремя участками земли, которые она может выбрать в любом месте на этом участке, чтобы пользоваться указанными объектами с момента дарения. Если г-н Жан Рекорден переживет свою жену, ему передается по тому же акту право пользования половиной объектов, которые выберет и которыми будет пользоваться его жена...

«Вот еще один документ, сам по себе не очень важный, но который прославляет Дантона и доказывает его доброту: это петиция от 30 термидора II года. (17 августа 1794 г.), адресованное гражданам-администраторам департамента Парижа Маргерит Хариот (вдовой Жака Жофруа, плотника из Арси), в котором она объясняет, что по акту, составленному перед нотариусом в Арси М. Фино 11 декабря 1791 г., Дантон, кормилицей которого она была, гарантировал ей и назначил пожизненную ренту в размере ста ливров, которую она должна была начать получать со дня смерти Дантона, добавив, что при жизни он не ограничит свою щедрость этой суммой. В связи с этим она просит администраторов департамента Парижа распорядиться, чтобы эта пожизненная рента выплачивалась ей со дня смерти и чтобы основная сумма выплачивалась из его имущества, конфискованного в пользу Республики. Мы не знаем, что было предписано. Эта достойная женщина, которую наш отец никогда не забывал обнимать с нежностью и в -кратно каждый раз, когда он приезжал в Арсис, пережила его всего на несколько лет.

«Исследование, которое мы провели в документах, оставшихся нам в наследство от нашей бабушки Рекорден, документов, которые мы не можем иметь в полном объеме, предоставило нам только эти три *подлинных* документа, свидетельствующих о доброте Дантона в его частной жизни. Что касается устных преданий, которые мы смогли собрать, то их немного и они слишком малохарактерны, чтобы о них рассказывать. Мы скажем только, что Дантон очень любил сельскую жизнь и удовольствия, которые она может доставить. Он приезжал в Арсис только для того, чтобы насладиться в кругу семьи и друзей покоем, тишиной и развлечениями сельской жизни. Он говорил своей простым языком мадам Рекорден, обнимая ее: «Моя добрая матушка, когда же я буду счастлив приехать к вам, чтобы больше не уезжать и думать только о том, как посадить капусту?»

«Мы не знаем, были ли у него здесь враги, мы никогда не знали ни одного. О нем очень часто отзывались с похвалой, но мы никогда не слышали ни одного обидного или даже неблагоприятного слова в его адрес, даже когда учились в колледже; хотя там дети, неспособные оценить значение своих слов, не колеблются в ссоре по самому пустому поводу обрушиться друг на друга самыми жесткими и оскорбительными упреками. Наши одноклассники никогда не слышали, чтобы кто-то поносил память нашего отца, значит, у него не было врагов в его стране.

«Мы считаем, что не должны упускать анекдот, связанный с его политической жизнью. Мы узнали его от одного из наших друзей, который часто слышал его от своего отца, г-на Дуле, очень уважаемого и заслуживающего доверия человека, который во время Империи долгое время был мэром города Арси. Дантон был в Арси в ноябре 1793 года. Однажды, когда он прогуливался по своему саду с г-ном Дуле, к ним подошел третий человек, шагая быстрыми шагами, с бумагой в руке (это была газета), и, как только он оказался на расстоянии, с которого его можно было услышать, воскликнул: «Хорошие новости! Хорошие новости!» и подошел ближе.—Какие новости? — спросил Дантон. —Вот, читай! Жирондинцы осуждены и казнены, — ответил вновь прибывший человек.—И ты называешь это хорошей новостью, несчастный? — воскликнул Дантон, а за ним и Дантон, чьи глаза сразу наполнились слезами. Смерть жирондистов — хорошая новость? Несчастный! — Конечно, — ответил его собеседник, — разве они не были мятежниками? — Мятежниками, — сказал Дантон. Разве мы не мятежники? Мы все заслуживаем смерти не меньше, чем жирондисты; мы все, один за другим, подвергнемся той же участи, что и они. Так Дантон, горный житель, встретил человека, который пришел сообщить о смерти жирондистов, на которых многие другие на его месте не преминули бы затаить злобу...

«Сегодняшняя Франция, такая прекрасная, такая процветающая, возведет тебя на место, которое тебе принадлежит среди ее щедрых, великодушных детей, чьи бесстрашные, невиданные усилия сумели открыть ей, среди бесчисленных трудностей и опасностей, путь к свободе, славе, счастью. Наконец, однажды, Дантон, твоей памяти будет воздано полное правосудие! Пусть твои сыновья, прежде чем спуститься в могилу, увидят этот прекрасный день, этот столь желанный день».

Дантон.

Х

ЗАМЕТКИ ТОПИНО-ЛЕБРУНА, ЧЛЕНА РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА

Интерес этих заметок заключается в следующем: они являются единственным дословным отчетом о судебном процессе, который мы имеем. Конечно, есть официальные отчеты (особенно отчет Коффинхаля), на которых в значительной степени основан отчет в *книге* М. Валлона «*Революционный трибунал*»; но эти грубые и несколько разрозненные заметки, с ошибками в правописании и сокращениями, были записаны без предвзятости, так как слова произносились обвиняемым. Художник Топино-Лебрун в то время был тридцати одного года, конечно же, убежденным монтаньяром; он колебался, осуждать ли Дантона, но был переубежден своими товарищами, особенно своим другом и учителем Давидом.

Эти записи хранились в архивах префектуры полиции до года войны. В 1867 году М. Лабат сделал копии и передал одну доктору Робине, а другую — М. Кларети. Каждый из этих писателей использовал их в своих работах о дантонитах. Оригинал документа был сожжен, когда в мае 1871 года Коммуна попыталась уничтожить здание, в котором он хранился.

Ниже приводятся только те части, которые непосредственно относятся к Дантону и его друзьям.

На вопрос президента о его фамилии, имени, возрасте и месте жительства он отвечает: Жорж-Жак Дантон, 34 года, родился в Арси-сюр-Об, департамент Об, адвокат, депутат Конвента. Скоро я буду жить в небытии, а мое имя будет в Пантеоне истории, что бы ни говорили; это точно, и мне это не важно. Народ будет почитать мою голову, да, мою обезглавленную голову!

Заседание 14 герминаля (13 апреля).

[Вестерманн попросил о допросе, но судья сказал, что это «une forme inutile» (бесполезная формальность).]

Дантон. Однако мы здесь для проформы.

Вест настаивает. Судья будет допрашивать его.

Дантон говорит: «Если нам дадут возможность высказаться, и высказаться широко, я уверен, что смогу опровергнуть обвинения; и если французский народ будет таким, каким он должен быть, я буду вынужден просить о помиловании для них».

Камиль. Ах! Мы будем иметь право высказаться, это все, о чем мы просим (большая и искренняя радость всех обвиняемых депутатов).

Дантон. Теперь патриотом является Баррер, не так ли? (К присяжным) — Я создал этот суд, поэтому я должен в нем разбираться.

Вест. Я попрошу разрешения обнажиться перед народом, чтобы меня могли увидеть. Я получил семь ранений, все спереди; только одно я получил сзади: мое обвинительное заключение.

Дантон. Мы будем уважать суд, потому что, и т. д.... Дантон показывает на Камбона и говорит: Вы считаете нас заговорщиками? Смотрите, он смеется; он не верит в это. Напишите, что он смеялся...

Дантон. Я продался? Человек моего склада не продается! Доказательство? Молчал ли я, когда защищал Марата; когда дважды был подвергнут декрету под Мирабо; когда боролся против Лафайета? Мой плакат, призывающий к восстанию, 5 и 6 октября! Пусть обвинителю (Фукье-Тенвиль), который обвиняет меня от имени Конвента, предъявит доказательства, полудоказательства, признаки моей продажности! Я слишком много служил; жизнь для меня стала бременем. *Я прошу комиссаров Конвента принять мое заявление о диктатуре.*

Я был назначен администратором по тройному списку, последним, небольшим числом добропорядочных граждан [то есть заместителем в декабре 1790 года].

Я заставил Мирабо, в якобинцах, остаться на своем посту; я боролся с ним, который хотел вернуться в Марсель.

Где этот патриот, пусть он придет, я прошу, чтобы меня опровергли, пусть он появится, я помешал поездке в Сен-Клу, я был объявлен в розыск для доставки на Марсово поле.

Я предлагаю доказать обратное [то есть обратное утверждению Сен-Жюста о том, что его не преследовали, когда он бежал в Арси] и прочитайте листовку оратора: В Арси были посланы убийцы, чтобы убить меня, один из них был арестован.—Пришел судебный пристав, чтобы исполнить указ, я бежал, и народ хотел свершить правосудие. —Я был в доме своего тестя; его окружили, избили моего зятя за меня, я бежал (*sic*) в Лондон, я вернулся, когда был назначен Гарран. Лежандру предложили 50 000 эку за то, чтобы он перерезал мне горло. Когда Ламет... стали сторонниками двора, Дантон боролся с ними в якобинском клубе перед народом и требовал республики.

В законодательном собрании я сказал: доказательством того, что двор хочет войны, является то, что он [неразборчивое слово] инициативу и санкцию. Пусть патриоты объединятся, и тогда, если мы не сможем победить вас, мы победим Европу (?).

—Бийо-Варен не прощает мне того, что я был его секретарем. Какое предложение вы сделали против бриссотинцев? —Закон Публиколы! Я отнес карт-бланш Луве, который отказался. Меня чуть не убили в Коммуне. — Я сказал Бриссо в полном совете: «Ты пойдешь на эшафот», и я напомнил ему об этом здесь, в Лебруне.

—Я подготовился к 10 августа и был в Арси, потому что Дантон — хороший сын, провел там три дня, попрощался с матерью и уладил свои дела, есть свидетели.—Меня снова видели в хорошем состоянии, я не ложился спать. Я был в Кордельерах, хотя и был заместителем Коммуны. Я сказал министру Клавьеру, что пришел от имени Коммуны, что мы собираемся

объявить восстание. После того, как я уладил все операции и время атаки, я лег на кровать, как солдат, с приказом меня разбудить. В час ночи я вышел и оказался в Коммуне, ставшей революционной. Я вынес смертный приговор Мандату, который получил приказ стрелять в народ. Мэр был арестован, и я остался там (*sic*) по совету патриотов. Моя речь в Законодательном собрании.

—Я вел войну с Советом; у меня был только мой голос, хотя я и имел влияние.

—Мой родственник, который сопровождал меня в Англию [Мерже, доброволец в 1792 году, а позже генерал Наполеона], был восемнадцати лет.

—Я по-прежнему считаю Фабра хорошим гражданином.

—Я заявляю, что не голосовал за Орлеана, пусть докажут, что я его назначил.

—У меня было 400 тысяч франков из 2 миллионов на революцию, 200 тысяч франков на секретные дела. Я потратил перед Маратом и Робеспьером на всех комиссаров департаментов. Клеветы Бриссо. Я дал 6000 Билло, чтобы он пошел в армию. Остальные 200 тысяч я отдал, 130 тысяч я отдал по счетам, а остальное я вернул.

... Фабр готовность заплатить комиссарам, потому что Бийо-Варенн отказался (*sic*).

Насколько мне известно, Фабр не проповедовал федерализм.

—Я поцеловал бы своего врага ради родины, которой я отдал бы свое тело, чтобы она пожрала его.

Я отрицаю и доказываю обратное. Это Марат прислал мне портфель и документы, и я арестовал Дюпорта. Он был судим в Мелуне в соответствии с законом. Лю и Ламет хотели убить меня. Как министр юстиции, я обеспечил исполнение закона. В моем деле у меня не было судебных доказательств.

—Имитированная война длится всего две недели, и бриссотинцы, клянусь Богом, хорошо на меня напали. Прочитайте «Монитор». Барбару попросил батальон из Марселя казнить меня, Марата и Робеспьера. Марат был взрывным, Робеспьер — упорным и твердым, а я служил по-своему.—Я видел Дюмуре только один раз, он прощупывал меня на предмет министра: я ответил, что стану им только при звуке пушек. Затем он написал мне.—Оказавшись там, Келерман (*sic*) хотел перейти Марну, а Дюмуре был против; находясь в затруднительном положении и будучи диктатором, я поддержал план Дюмуре, который увенчался успехом. — Опасаясь ревности двух генералов, я послал Фабра и т. д.... видел Вестермана 10-го числа с саблей в руках.

—Я приставал к Сервану и Лаене; я знал только план Дюмуре и Келермана, и Билло был назначен мной для наблюдения за Дюмуре; он отчитался перед законодательным собранием и якобинцами. Приказ рассмотреть, что это было... это отступление (*sic*). Конвент послал трех комиссаров.

—Я, министр, занимался всеми вопросами правосудия, как общими, так и частными.

—Бийо сказал мне, что не знает, был ли Дюмуре предателем; в остальном это было избытком патриотизма.

—Конечно, Бельгия, повторяет его слова якобинцам.

—Ловушка Бриссо состояла в том, чтобы заставить поверить, что мы дезорганизуем армию.

—Мне отказывают в свидетелях, ладно, я больше не буду защищаться!

—Кстати, я приношу вам тысячу извинений за то, что я слишком горячий, это мой характер.

—Народ разорвет моих врагов на куски в течение трех месяцев.

Заседание 15 герминаля (4 апреля).

Геральд. О маленьком Капе, отрицает факт. — Он был назначен для дипломатической части вместе с Баррером. Заявляет, что никогда не вмешивался в переговоры. Отрицает, что когда-либо печатал что-либо по дипломатии. Дефорг послал Дюбюссона.

Эро. Я ничего не понимаю в этом белиберде. Я был против отправки Салави. Это средство, используемое нашими врагами. Отправленный в Нижний Рейн Комитетом, я работал (*sic*) с Бертелеми (*sic*) над нейтралитетом Швейцарии и спас Республике армию из шестидесяти тысяч человек.—Я никогда не сообщал Проли ничего о политике, потому что не было ничего. Более того, мне пришлось противостоять Проли.—Меня обманули, как обманули [J. Jay St. Foix], как Конвент, как *jam bon* [это не означает *ham*, а Jean-Bon St. André], который хотел взять его в секретариат, как Коло. Как и Марат, Проли был вознесен на пьедестал. Конвент торжественным декретом принял мои объяснения. Анахарсис сказал мне, что придет (*sic*) пообедать со мной, пообедать с Дюфурни и т. д.... Я оставил вдову Шемино и т. д. Масленщик! Это по наущению Клутца.

Я знал аббата, гильотинированного в Труа [that is, in Troyes] (*sic*), в моем изгнании он был каноником, а не непокорным. Так что это шутка. Он не был подвержен присяге, он помогал мне в моем изгнании.

14 июля в Бастилии рядом со мной были убиты два человека. Подвергаясь жестокому обращению со стороны родителей, я уехал, пробыл три недели в тюрьме на Сардинии и вернулся.

Камиль. Во время спора с Сен-Жюстом тот сказал ему, что погубит его: «Я осудил Дюмуре раньше Марата; я первым начал революцию, и моя смерть положит ей конец». Марат ошибся насчет Проли. Какой человек, который, не имея своего Дилона? С № 4 [то есть *Vieux Cordelier*] я писал (*sic*) только для того, чтобы отречься. Я привязал колокольчик ко всем фракциям. Меня поощряли! Писал (*sic*) и т. д. Разоблачает фракцию Эбера, хорошо, что кто-то это делает.

Лакруа. По поводу заявления Миаженского напоминает, что он его опроверг, что Конвент был удовлетворен и что он не был обвинен за это. Он говорит: я был отправлен в Льеж, чтобы узнать о высказанных в адрес казначейства упреках и наоборот. Нас было трое. Я никогда не видел Дюмуре в присутствии Дюмуре (вместо Мяцринского?). Я сказал Миаженскому, что его легион испытывает нехватку всего, что я поддерживаю его перед своими коллегами, но что удивительно, что на вражеской территории не было принято постановление о выплате жалованья иностранным войскам. Я не пил и не ел с Дюмуре. В течение шести-семи дней мы всегда были вместе. Дантон, Госсуэн и я посетили все кассы Бельгии, чтобы изучить факты. Дюмуре не хотел поддерживать декрет, я встал и заявил ему, что если он не подпишет его сейчас, мы заставим его подписать, и т. д. Он подписал приказ Ронсину.—Во второй раз мы отправились в Брюссель, Дюмуре был в Голландии.—Все мои коллеги

подтвердили, что я предложил пойти к Дюмурье, чтобы наблюдать за ним и убить его, но мои коллеги не были того же мнения.

... 1900 и 600 фунтов белья, купленного Брюном в присутствии коллег, для стола. Оно было недорогим. Его нужно было погрузить на машины, которые везли во Францию возвращенные генералами награбленные вещи, оно было в сундуке, адресованном мне. Я тогда заявил об этом комитету спасения. Тогда я потребовал его. Не путайте первый вагон с серебром, который был разграблен, он был отправлен всеми нашими коллегами.

Дантон. Я публично вызвал на объяснение по поводу обвинения в 400 000. Из протокола следует, что у меня есть только мое старое белье и ватный корсет. *Нижняя палата*, вызванная на заседание, сообщила мне об этом.

Вызванный моими коллегами в якобинцев, я заявил (*sic*), что обновление было контрреволюционным: это было (*sic*) полномочиями посланников народных обществ. Бийо-Варенн поддержал меня, и я был поручен сделать предложение 11-го числа на Конвенции (). На следующий день Эбер обвинил меня в своей газете, и вот так началась клевета.

31 мая я был возмущен, увидев офицера, который говорил: «Нет ни Маре, ни Монтань», и раздавал деньги батальону Курбевуа; я... свидетели Панис, Лежандр, Робеспьер, Паш, Роберт-Линдет. Тогда я поднялся (*sic*) на трибуну и т. д. ... что мы не свободны. В Комитете, перед Пашем, 2 июня, я осудил неудачную меру Орио. Мы предупредили его, что по возвращении мы примем декрет о 32, но что этого недостаточно для государственных дел, что необходимо очистить Конвент, и предложили 500 000 ливров для армии Парижа, которая спасла отечество. Барер выступил против. Именно Барер предложил декрет об обвинении Гаурио; именно я защищал Гаурио от этого. Пусть выслушают свидетелей, Конвент был обманут.

—Я призвал к восстанию, попросив пятьдесят таких же революционеров, как я. Конвент поддержал меня, я сказал это три месяца назад: с жирондистами больше нет мира, разве я лицемер?

Анрио думал, что я против восстания, и тогда я сказал ему: «Продолжай в том же духе, не бойся, мы хотим убедиться, что Ассамблея свободна».

—Я никогда не пил и не ел с Мирандом, и я предложил своим коллегам арестовать его, но они были против.

Я взял Ханио за руку и сказал ему: держись.

Эро. Я обнаружил приказ, подписанный карандашом Аурио, разрешающий проход Конвента и т. д.

Филиппо. Приехав из своего департамента, я не знал об интригах, меня обманул Ролан. Я вовремя отказался от своих слов.—Когда я понял, что в призыве к народу заложена ловушка, я поднялся на трибуну, отрекся от своих слов и проголосовал так же, как и «Гора». Я проголосовал за Марата (это неправда, он не голосовал ни за, ни против). Комитет не отвечал на мои письма, поэтому я пришел сюда. Комитет не выслушал меня. Тогда, чтобы выполнить свой долг, я написал в Конвент, и события, связанные с Эбером, доказали, и т. д. Против меня были составлены обращения (*sic*) и т. д. Из моего дома были отправлены три комиссара, чтобы выяснить факты, и Левассер приказал их арестовать.

Вестерман. Когда Дюмуре был в Бельгии, я был в Голландии (). Оставленный среди врагов, живя за счет грабежей, я прибыл в Энвер (*sic*) со своим легионом. Кавалерийский полк подвергся нападению. Я отразил врага.

Меня обвинили в том, что я два или три раза приносил депеши Дюмуре в Генсонне.

Армии не хватало обуви, и Дюмуре послал меня в Совет, и я принес ее армии.

Дюмуре показал ему письмо короля Пруссии для его секретаря, которое он отправил обратно, я побежал за ним и остановил его своей властью. Второе путешествие, чтобы доставить письмо с пунктами, согласованными (*sic*) между генералами.

Он снова был отправлен в качестве заложника в Монс во время эвакуации. Третья поездка, чтобы привезти Малюса и д'Эспаньяка, и доставить пакет (*sic*) председателю дипломатического комитета. Я донес на (*sic*) якобинцев, на комитет, о внебрачном сыне Проли, и мне посмеялись в лицо. Он пригласил на обед (*sic*), чтобы восстановить Дюмуре в якобинцах. Почему меня не вызвали во время дачи показаний Миаженски? Я был здесь, вызванный на трибуну. Дюмуре всегда держал меня подальше от себя. Протестовал против капитуляции Антверпена. Против событий в Лилле.

Перед прибытием в Менхем Проли донес на меня. Здесь меня объявили вне закона, и прусский офицер показал мне документ Конвента и убеждал меня остаться, обещая, что мне заплатят, и пытался запугать, говоря, что других генералов убили. См. в военном комитете. Я был в Лилле со своим отрядом. Я нашел Мутона и пришел (*sic*) получить его приказ явиться в суд. — Я принес присягу раньше, в Дуэ. Декрет от 4 мая гласит, что нет оснований для моего обвинения. Я был донесен комитетам, я не знаю Тальма.

Дантон. Сейчас патриотом является Барер, а Дантон — аристократом. Франция не будет верить в это долго.

Дантон в зале для подсудимых. — Я заговорщик? Мое имя связано со всеми революционными институтами: ополчением, революционной армией, революционным комитетом, комитетом общественного спасения, революционным трибуналом. В конце концов, это я покончил с собой, и я умеренный!

[Топино-Лебрун не оставил записей о следующем дне, 16 герминаля].

XI

ОТЧЕТ ПЕРВОГО КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ О СОСТОЯНИИ РЕСПУБЛИКИ, ПРОЧИТАННЫЙ БАРРЕРОМ НА СОБРАНИИ КОНВЕНТА В СРЕДУ, 29 МАЯ 1793 Г.

Этот отчет является наиболее важным приложением не только к этой книге, но и к любому описанию двух дней, которые привели к изгнанию жирондистов. Он публикуется здесь впервые и, несмотря на свою длину, будет полезен для чтения любому исследователю Революции.

Я достаточно подробно остановился на его важности в тексте, и здесь могу ограничиться кратким введением.

Это первый большой результат работы комитета, который Дантон помог создать и душой которого он был. Это первый шаг, сделанный этим новым органом власти на пути к диктатуре, для осуществления которой он и был создан. Огромный объем детальной работы, необходимой для его подготовки, показывает нам, каким количеством агентов должен был располагать комитет, и их активность, а также трудолюбие самих членов, поскольку он проработал всего восемь недель.

Дантон, несомненно, вдохновил тон и направление доклада, но несколько витиеватый стиль принадлежит Барреру. Однако доктор Робине считает, что последние страницы, начиная с раздела «Общественное образование», написаны в стиле Дантона, а г-н Боруар даже отнес бы к нему раздел «Колонии», расположенный двумя страницами ранее. Даже если это и так, некоторые предложения, по крайней мере, были внесены Баррером, поскольку в них прослеживается его неповторимая многословность, которая была чужда Дантону.

О важной роли, которую отчет сыграл в сложной истории недели с 26 мая по 3 июня 1793 года, достаточно сказано в тексте; здесь необходимо только добавить, что ни одна речь или мемуары не содержат такого обвинения в адрес неэффективного правления жирондистов, как это косвенно дает этот список установленных фактов о положении Франции.

О чтении доклада упоминается в «Мониторе» от 31 мая, но, вопреки обыкновению, его не напечатали из-за большого объема. По-видимому, его читали во второй половине дня, с двух до четырех, непосредственно перед тем, как предложение Камбона было поставлено на голосование. Я привожу наиболее важные отрывки, составляющие примерно половину всего документа.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕНТ

ОБЩИЙ ОТЧЕТ

О

СОСТОЯНИИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Составлен от имени Комитета общественного спасения на заседании среду, 29 мая, второго года Республики:

Баррером,

депутатом департамента Верхних Пиренеев

Напечатано по приказу Национального Конвента

Граждане, — уполномоченные представителями народа рассказать вам сегодня о важных вопросах, которые их объединяют, и о средствах, которые мы использовали в течение двух месяцев для спасения отечества, находящегося в опасности, мы просим вас сначала вспомнить время нашего назначения и то состояние, в котором тогда находились Республика и все органы государственной власти.

Несмотря на то, что мы были подавлены опасной и великой задачей, которую вы нам поручили, мы должны были подчиниться. Ваше доверие, наше рвение и любовь к нашей стране должны были заменить нам способности.

Снаружи нас ждала ужасная война, которую предстояло вести на огромных границах и на незащищенных побережьях. Внутри страны распространялись гражданские разногласия,

несущие с собой два самых пагубных явления: королевский и религиозный фанатизм, подкрепленный многочисленными предательствами внутри страны и тайными сговорами снаружи.

Далее следует общее обвинение результатов правления жирондистов, с особым упором на Министерство войны и его боязнь ответственности.

Во всех наших армиях мы видели неотложные и постоянно возникающие потребности; отсутствие или запоздалую помощь; недостаточное или некачественное снабжение и пожирающие администрации, некоторые из которых не имеют иной реальной цели, кроме как увеличить состояние многих спекулянтов и нескольких капиталистов. В наших портах замедление работ и виновная инертность; повсюду заговоры и подготовка коалиций; штабы, которые нужно переделать или очистить; армии, которые нужно организовать или импровизировать; гражданские и военные чиновники, за которыми нужно следить или которых нужно заменить; силы, которые нужно создать во всех точках, угрожаемых беспорядками; оружие, которое нужно изготовить; пушки, которые нужно отлить; создавать флот; энергично поднимать общественный дух; бороться с анархией; восстанавливать дисциплину; подавлять контрреволюционные движения и распутывать хаос интересов, жалоб, страстей, злоупотреблений, притязаний и предрассудков, в условиях ежедневной переписки, стократно увеличенной нынешними обстоятельствами. Какой огромный гений или какая неиссякаемая смелость потребовались бы, чтобы внезапно отреагировать на столь необычные обстоятельства или справиться с столь непредвиденными событиями? Мы ограничили свою задачу сначала изучением всех частей временного правительства, а затем прокладыванием пути среди этого огромного скопления сил и сопротивлений, хороших и плохих принципов.

Первое препятствие, с которым мы столкнулись, было связано с изменениями в министерстве войны, которые произошли до нашего прихода.

Второе препятствие было связано с министерством морского флота, которое было заброшено, даже уничтожено, рядом королевских министров, и в котором мы были вынуждены сменить главу и нескольких заместителей.

Там для нас прервалась цепочка операций этих двух департаментов, наиболее важных в период войны на суше и на море; и мы внезапно лишились всех ресурсов опыта. В сгустке дел этой части государственной администрации мы смогли собрать только неточные отчеты и неопределенные сведения.

Обзор обсуждений исполнительного совета показал нам, с одной стороны, несогласованные действия, которые не могли иметь никакого успеха из-за событий, которые их доминировали, а с другой — роковые упущения и серьезные ошибки, которые стали более заметными в результате последующих событий. От устья Скаут, открытого узурпацией суверенной власти, до краев Средиземного моря, которые стали ареной наших поражений и непостоянства министерства, мы не видели ни той последовательности действий, которая обеспечивает успех, ни той дальновидности мер, которые уменьшают поражения. Никакой общей картины, никаких широких концепций, никаких смелых взглядов, никакого четкого плана, никакой энергии, а повсюду страх ответственности, опережающий министерство, в то время как нужно гордо идти к свободе, не оглядываясь назад.

В октябре сопротивление врагу дало исполнительному совету концепции и силы.

Успехи ноября смягчили совет. Жеммап был для министров (*sic*) Капуей, которая уничтожила их энергию и ослабила их работу.

Министерство внутренних дел, слишком тяжелая и сложная машина для одного человека, даже если он полон талантов и средств исполнения, надолго охладило общественное мнение и ошеломило административные органы. Было невозможно, чтобы рука одного человека могла двигать эту огромную машину, перегруженную деталями, огромным управлением, коммерческими операциями, успех которых сомнителен, результат которых требует больших жертв, а секретность которых вызывает недоверие. Единственным ресурсом, который могло найти это непропорционально большое министерство, были администраторы департаментов, большинство из которых, не заботясь о порученной им работе, пренебрегали перепиской, или чье чрезмерное и безмерное поведение заставляло их игнорировать всякую субординацию.

Военное министерство, в которое каждый министр привносил свои предрассудки и утверждения, свои привычки и свою ненависть; министерство войны, постоянно дезорганизованное частыми переменами своих сотрудников и разнообразием их принципов или мнений, представляло и до сих пор представляет собой неразрешимый хаос, бесчисленные злоупотребления и реальную беспомощность любого человека, который не был бы от природы очень активен в том, что касается приказаний, и предприимчив во всех средствах защиты.

В том, что следует далее, заметьте руку Дантона, почти его фразеологию во втором абзаце.

Министерство иностранных дел, окутанное политической неясностью, не имея возможности в условиях недоверия, порожденного революцией, и нерегулярных военных действий, ни стабильности в операциях, ни последовательных взглядов, ни определенных планов, ни секретности в своих намерениях, ухватилось лишь за нить нескольких важных дел и теперь возвращает активность многочисленным средствам, успех которых обеспечивают интересы нескольких правительств.

Новая дипломатия народа, рожденного свободой, зависит от смелости политических концепций, от целостности мер, от оперативности средств исполнения.

Опять же, прямой удар по жирондинцам, особенно в характерной фразе «паралич честности».

Министерство морского флота, долгое время сдерживаемое в своей деятельности паралитической честностью и неопытными или подозрительными подчиненными, не обеспечивавшим ни защиты торговли, ни обороны наших побережий, ни средств для успешного ведения военных действий, ни активности крупных военных флотов в наших портах, ни постоянного снабжения флотов, под руководством нового министра возобновляет свою деятельность, обещает нам оборону и военный флот...

Здесь снова имеется место полууступка жирондинцам, которая была частью политики, о которой я говорил в тексте.

Исполнительный совет сам чувствует в этом необходимость: и мы должны отдать ему должное, сказав, что, не скрывая этой политической несостоятельности, вызванной обстоятельствами, многочисленными доносами и практически невозможностью регулярно держать руль в шторме, исполнительный совет желает и просит об обновлении министерства...

О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Ощущая необходимость незамедлительно обеспечить потребности армии и невозможность в столь короткие сроки разработать общие планы, мы в первую очередь занялись поиском оружия...

Постановления комитета предписывали отправить комиссаров для внезапной инвентаризации оружия и пушек, находившихся на национальных заводах и фабриках, и для их транспортировки в армии и в департаменты, наиболее нуждающиеся в такой помощи. Сент-Этьен, Руэль, Мон-Сенис, Индре, Тулуза, Лион, Шарлевиль, Седан, Мобуж получили срочные приказы по этому поводу...

Различные указы предписывали транспортировку старого оружия, находившегося на различных заводах или в арсеналах, для его ремонта в различных городах, население которых предоставляло рабочих, и особенно в департаментах, граничащих с восставшими странами...

Министры и национальные ассамблеи с самого начала революции придавали слишком малое значение мануфактуре в Сент-Этьене.

Рабочие горели желанием работать на республику, но поскольку цена на оружие всегда устанавливалась ниже затрат производителя, они работали на административные органы, конкуренция которых повысила его стоимость. Цена на железо и заработная плата рабочих выросли.

Комиссары исполнительной власти только что потребовали от всех производителей доставить в комиссию по проверке все оружие, которое находится в их распоряжении, для отправки в Байонну, Перпиньян и Тур. Поставки осуществляются ежедневно.

Комиссары занимаются восстановлением максимальной активности оружейного производства в Сент-Этьене, которое при поддержке патриотизма рабочих и муниципалитета будет производить четыре-пять сотен ружей или пистолетов в день.

В Тюлле находится большое количество оружия, подлежащего ремонту, и комитет, распределил его по нескольким южным департаментам; министр морского флота активизирует работу мануфактуры в Тюлле, чтобы вооружить наших моряков. В настоящее время комиссар Буйе, посланный исполнительным советом, находится в Тюлле, чтобы ускорить производство оружия, необходимого для флота, и ознакомиться с состоянием старого оружия, накопленного на этом складе...

Следующие отрывки указывают на мотивы того, что должно было стать Террором, системой, основанной, конечно же, на необходимости снабжения.

ПРОДУКТЫ.

Продовольствие так же необходимо, как и оружие; в некоторых армиях, организованных слишком медленно или импровизированных слишком поспешно, чтобы подготовить все необходимое, звучат жалобы, и эти жалобы справедливы; мы ускоряем снабжение армий, насколько это в наших силах, с помощью министра и подчиненных ему администраций. Широкие полномочия, предоставленные вашим комитетам, могут компенсировать слабость военного министерства, недостаточность его агентов и злонамеренность или вялость его управлений. Однако существуют препятствия, с которыми сталкиваются управляющие и их

агенты из-за распространенных опасений по поводу нехватки продовольствия, и комитет занимается устранением этих препятствий.

Администрация, ответственная за снабжение военных пунктов, представила комитету обнадеживающие отчеты о снабжении наиболее угрожаемых пунктов: она продемонстрировала общие меры, принятые для обеспечения продовольствием всех дивизий. В результате непредвиденные события в Бельгии, внезапно вернув врага к нашим границам, нарушили расчеты и лишили нас поставок, организованных по другой системе; но комитет настоятельно призывает директоров обеспечить поставки и постоянно уведомляет министра о других потребностях армии по мере того, как эти потребности проявляются или поступают к нам жалобы. Изменение в этой администрации, рассмотрение которого вы отложили, заслуживает всего нашего внимания и является неизбежным следствием постоянных изменений в военном министерстве; изменение, которое влечет за собой изменение его принципов и средств[165].

Часть одежды и снаряжения, которая стоила нации столько сокровищ, была плохо поставлена, плохо управлялась и была разграблена в Бельгии с такой же наглостью, как и предательством.

Поставщики, более скупые, чем патриотичные, снабжали все армии тканями плохого качества. Национальная расточительность оплачивала одежду спекулянтам, которые ее поставляли, а солдаты, находясь в условиях усталости и опасностей войны, оставались без одежды или носили одежду, которая не была пригодной для длительного использования.

В последние дни перед вами прошел отряд храбрых солдат бывшего полка Конти, который направлялся в восставшие департаменты. Даже самому маленькому принцу Германии или самому бедному принцу Италии не представили бы столь плохо одетых войск; они предстали перед представителями нации, которая ежемесячно тратит на войну больше миллионов, чем многие короли Европы получают дохода за год...

Армия Арденн, объединенная с армией Севера, формируется под пристальным вниманием активных комиссаров, и новобранцев настолько много, что ваш комитет счел необходимым отправить их в армию Севера.

Следующая иллюзия интересна тем, что показывает нам оценку того, что должно было стать подкреплением армии Самбр-э-Мёз.

Армия Мозеля заняла выгодные позиции. Объединившись с армией Рейна, они объявляют, что Майнц может стать могилой прусских орд. В этой армии царит хороший дух, она отличается дисциплиной, и новобранцы присоединяются к ней каждый день.

Ведутся работы по разбивке лагеря и обучению армии Альп, набор в которую полностью завершен. Укрепляются все оборонительные пункты и увеличивается гарнизон крепостей. Многочисленные новобранцы, прибывшие туда, обеспечили превышение численности в двадцать одну тысячу человек; вы располагаете восемью тысячами против восставших департаментов. Остальные 13 тысяч укрепят армию Италии, сокращенную для защиты Корсики, сформируют резерв или укрепят армию Восточных Пиренеев.

Департамент Монблан поспешил организовать несколько батальонов, тем самым доказав свою приверженность Республике; они требуют оружия, и мы надеемся, что с помощью уже задействованных средств они скоро будут вооружены.

Восстание в Тонне было расследовано, и виновные были осуждены. Это было фитиль мины, заложенной под Монбланом, взрыв которой был согласован с предстоящим нападением пьемонтцев и австрийцев.

Итальянская армия готовится защищать то, что доблесть и свобода завоевали в Ницце. Но агитаторы вызвали там волнения, как и в армии Альп (); они высказывали оскорбительные замечания в адрес Национального конвента; они говорили о монархии и использовали оплату ассинатами, чтобы подрывать боевой дух войск; были вызваны опасения по поводу продовольственного снабжения, которым в настоящее время занимается комитет.

Генерал армии Италии принял меры, необходимые для выявления агитаторов и передачи их в чрезвычайный суд.

Армия Пиренеев была самой запущенной и плохо оснащенной оружием и боеприпасами, и именно от самых жестоких и фанатичных войск ей предстоит защищать самые красивые земли Республики.

Поэтому мы каждый день получаем печальные сообщения, которые являются лишь печальным результатом халатности двух бывших министров войны, которые никогда не могли себе представить, что существует армия Пиренеев...

Все вышесказанное является интересным примером детальных методов работы Комитета, с его повторяющимися выпадами против гирондинского управления войной. В том же духе продолжается и далее.

Со стороны океана предательство одного из вождей микелетов и трусость части двадцатого полка привели к потере одного из пограничных пунктов. Панический ужас, вызванный слухами о предательстве и злонамеренными действиями врагов, разбросанных по небольшим лагерям, образованным на крайней границе, дезорганизовал те немногие силы, которые туда прибыли, отбило дух у тех, кто спешил туда, и заставило покинуть Андай и всю землю между рекой Нивель и границей, чтобы сформировать единственный лагерь в Бидарре.

Восстановление дисциплины и поднятие боевого духа были первоочередными задачами этой армии.

Наши комиссары были вынуждены временно установить строгий дисциплинарный регламент. Они говорят нам, что враг повсюду рубит дерево свободы, совершает набеги на дома патриотов в покинутой французской части, но жители сельской местности имеют мужество не подчиняться требованиям испанского генерала.

Похоже, что он силен только нашей слабостью, и что, если нашим братьям будет оказана помощь в виде оружия и артиллерии, наша территория скоро будет освобождена. Командование Байонной поручено патриоту Курпону, а цитадель Сен-Эспри защищают республиканцы. Двадцать пушек и четыре роты артиллеристов из Парижа были отправлены туда и должны были прийти на помощь этой границе 14-го числа этого месяца; лагерь Бидарре успешно формируется.

Разделение армии Пиренеев на две большие части, как мы , даст нам больше сил для активной обороны в случае необходимости: земля производит батальоны свободных людей; мы должны оказать им обильную помощь, потому что до сих пор о них забывали. Глядя на состояние этих границ, можно было бы подумать, что заговор готов, что силы должны вторгнуться на север, в то время как вероломство и беззащитность сдадут юг. Но бесстрашие

и энтузиазм южан в борьбе за свободу являются непреодолимым препятствием для успеха министерской халатности, внутреннего предательства и успехов, которые вероломный Питт обещал Испании. Лагерь формируется перед Байонной и отвоевывает территорию со стороны Андай; армия возвращается к позиции, подобающей республиканским фалангам, и артиллерия начинает прибывать туда с провизией.

Дело Вандеи слишком долго рассматривалось лишь как дело полиции или как ссора, разразившаяся в углу департамента.

Далее следует обвинение, основанное на конкретном случае.

Армия побережья никогда не существовала; штаб даже не был сформирован; несколько военных командиров были отправлены с ограниченными средствами и простыми реквизициями. Были отданы приказы о переброске туда кадров; они были остановлены в своем продвижении страхом или временной беспомощностью, вызванными предательством Дюмурье. Там были собраны новобранцы, но они не нашли ни кадров, ни оружия, ни достаточного числа генералов...

Таково было положение армий на 10 мая, когда комитет тщетно просил слова...

Затем следует краткое изложение, детали которого стоит внимательно проследить.

ВОТ ПОСЛЕДНЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ.

В Байонну прибывают войска и пушки. Лагерь, который находился в Бидарде между Байонной и Сен-Жан-де-Люз, с пятницы перенесен между Сен-Жан-де-Люз и Андай.

Армия Восточных Пиренеев, которую, как надеялись, с помощью набора новобранцев можно было бы поставить в состояние, по крайней мере, сдержать испанцев, почти подряд потерпела два поражения, которые ставят под угрозу безопасность этой части границы. Это поражение произошло только по вине национальной жандармерии, но быстрый и суровый пример положит конец этой трусости или предательству.

В Альпах нам только что угрожала неминуемая атака со стороны значительных сил, особенно в районе реки Вар (Var), через который враг может также угрожать Марселю и Тулону. Комитет общественного спасения был вынужден принять единственную меру, которая была в его власти; он приказал генералу Келлерману, единственному, кто обладал достаточным знанием оборонительных позиций и наших военных средств в этой части, отправиться туда с максимальной скоростью, чтобы предотвратить, если это возможно, беды, которые может принести малейшая задержка. Генерал итальянской армии, по-видимому, опасался, что двор Неаполя усилит коалицию на юге. Но министр иностранных дел только что передал депеши, которые опровергают эти новости.

Келлерман направил вперед чрезвычайную курьерскую почту, которая доставила его лейтенантам приказы о подготовке к операциям, к которым его может вынудить противник. Этот генерал, пользующийся вашим доверием и доверием войск, не мог быть заменен. Сначала вам сообщили, что он отправится в Вандею, но преимущества, одержанные на мгновение над мятежниками, и уверенность в скором прибытии Бирона в мятежные департаменты, заставили Келлермана изменить первоначальный пункт назначения. Армия

Италии обеспечена продовольствием на некоторое время. Были приняты меры, чтобы уберечь ее от голода.

На Рейне операция, которая привела лишь к гибели людей, не продвинув дела ни одной из сторон, оставила ситуацию практически в том же состоянии, что и раньше, с той разницей, что смена генерала, которая была отчасти вынужденной, может повлиять на наши будущие успехи. Стоит отметить, что наши армии в этой части находятся во главе наиболее маневренных сил и под командованием самых авторитетных генералов Европы.

Наши генералы, напротив, впервые поставленные во главе войск, не могут иметь той же практики и тех же преимуществ, что и те, кто привык к большим военным операциям. Снабжение в этой части и продовольствие обеспечены.

На севере наше положение очень тревожно, и Конвент должен знать обо всех этих бедах; ему нужно извлечь урок из несчастья и почувствовать печальные последствия своих разногласий.

Наша армия, оттесненная между Комбре и Бушеном, покинув лагерь в Фамаре, чтобы занять лагерь в Кофаре, оставив Конде и Валансьен своим собственным силам, потеряв связь с Дуэ и Лиллем с одной стороны с другой — с Мобужем и Кено, подвергается риску новых поражений, если присутствие генерала Кустина, который должен был прибыть туда 25-го, не вернет ей недостающую дисциплину и уверенность, без которых невозможно добиться успеха в войне.

Если усилия этого генерала не будут быстро поддержаны объединением представителей народа, Конвент должен ожидать, что окажется в более затруднительном положении, чем в тот момент, когда во время последней кампании немецкие рабы вторглись в Шампань и угрожали Парижу и свободе. Тогда счастливые случайности, или, скорее, судьба, которая, кажется, ведет Францию, устранили столь неминуемые опасности; но можно ли рассчитывать на новую милость слепой фортуны? Не следует ли нам опасаться нового вторжения, и можем ли мы льстить себе надеждой, что все наши города последуют примеру великодушной самоотверженности города Мобуж, который 26-го числа этого месяца пишет нам: «Здесь в этот момент бьют тревогу: часть нашего гарнизона отправлена в Вандею; мы остаемся; мы победим наших внешних и внутренних врагов или умрем свободными. Город взорвется, если наши разрушенные стены позволят врагу осквернить наши пределы».

Что касается потребностей этой армии Севера, то, возможно, трудно поверить, что, несмотря на все наши расходы, запрос, который только что был направлен в комитет, утвержденный генеральным комиссаром армии Севера и одобренный комиссарами Конвента, составляет 49 миллионов.

Армия, которая должна уничтожить мятежников, организуется; в Тур прибывает большое количество батальонов; укрепляются посты на правом берегу Луары, и проходят парады войск, находящихся на посту. Если мятежники угрожают этому берегу, они не в состоянии осуществить свой план; их силы разделены, но они возвращаются в укрытые районы. Главные вожди мятежников подчиняются священникам; это настоящий крестовый поход; но жители сельской местности начинают уставать от этой ужасной войны и ропщут.

С другой стороны, нам пишут, что после нашего последнего успеха из Брюсселя в Лондон отправился курьер, чтобы убедить кабинет Сент-Джеймса ускорить вооружение, направленное на доставку на побережье Бретани войск, оружия, боеприпасов и высадку на наши берега значительного корпуса эмигрантов из Джерси и Гернси.

Перебежчик Конде отправил на Джерси всех эмигрантов из Бретани, чтобы высадить их на наших берегах и поддержать там одного из отпрысков семьи наших тиранов.

Почти везде жаловались на военных комиссаров, этот важнейший орган армии будет изменен, усовершенствован на новых основаниях и очищен от непатриотичных элементов.

Что касается отмены денежной платы, то все армии Республики приняли ее без труда; они каждый миг жертвуют своей жизнью ради свободы, как же они могут заботиться о денежных интересах? Но они также имеют право на более тщательный контроль за снабжением и продовольствием. Лишь несколько рот итальянской армии проявили сопротивление, но агитаторы будут срываться с крючка благодаря установленному там надзору и заботе ваших комиссаров.

При выборе генеральных офицеров нам иногда приходилось подчиняться недоверию народа и индивидуальным доносам; но это одно из зол, связанных с революцией, которая изматывает многих людей, отталкивает еще большее число и выдвигает больше обвинений, чем предлагает ресурсов. Безусловно, после отвратительных предательств, которые поразили и по-прежнему поражают республику и дважды дезорганизовали армию, можно, даже нужно стать недоверчивым и подозрительным; но грань между недоверием и клеветой слишком легко переступить; и если справедливое донесение является гражданским поступком, то обвинение из корысти — это позор наших нравов и источник ненависти...

Комитет, чтобы ничего не упустить в этой страшной части войны, опросил образованных военных; он воспользовался их опытом, чтобы составить план войны, к которому будут привязаны планы кампании для каждой из армий. До сих пор война за свободу велась без планов, без последовательности, даже без предусмотрительности; более чем пора определить границы, в которых будет вестись война, в какой части она будет оборонительная, в какой — наступательная, назначить каждой армии участок границы, который она должна защищать, точки, которые она должна атаковать или прикрывать.

В том, что следует далее в отношении флота, мы видим попытку Комитета, которая, как мы знаем, была обречена на провал, но которая была прекрасной, противостоять английской мощи. «Ошибка», как называли это английские критики, быстрого введения новых офицеров была вынужденной необходимостью.

О ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ.

Здесь мы должны осудить эту вероломную систему Бертрана и ему подобных, которые в течение нескольких лет, по-видимому, готовили совместно с Англией унижение Франции и обеспечивали нашим самым стойким врагам господство на морях... Именно путем объединения военно-морских сил наши враги надеялись более надежно атаковать нашу независимость и диктовать нам законы. Хотя с помощью этой коалиции была предпринята слепая попытка переломить баланс сил в пользу морской державы, и без того слишком могущественной для интересов континента, ... хотя благодаря временной дезорганизации нашего флота, обнищанию наших портов, замедлению работ надеялись изменить судьбу Французской Республики, давайте не будем бояться, что им удастся свергнуть самую прекрасную из революций.

Постоянный надзор комитета, усердие министра и преданность формирующейся военно-морской армии заставят забыть о стольких предательствах и халатности, но средства могут быть только медленными.

Готовятся смелые экспедиции, порученные отважным людям; жалобы торговцев наконец были услышаны, согласно последнему отчету министра, каботаж будет защищен в океане 34 канонерскими лодками, 12 корветами, 18 логгерами, катерами или avisos, а в Средиземном море — 18 корветами или канонерскими лодками и 5 avisos, не считая фрегатов, количество и местонахождение которых бесполезно сообщать, чтобы не предать интересы обороны республики...

Есть много способных офицеров; устранение тщетных предрассудков, которые разделяли торговый флот и военно-морской флот, обеспечивает нам ресурсы, но их необходимо контролировать и строго наказывать за неподчинение или злоупотребления; перед выбором офицеров — экзамен и беспристрастность; после выбора — полное доверие, но и строгая ответственность. Наши операции будут сопровождаться секретностью, если беспокойство торговцев или подозрения патриотического рвения не изменят или не помешают им; гражданские органы не должны вмешиваться в секретность военно-морских операций, иначе наши враги скоро об этом узнают, и мы победим, не выходя из наших портов.

Комитет занимается репрессивными законами, которые военно-морская дисциплина требует с большим интересом, чем когда-либо. В портах Средиземного моря, которые, благодаря нашему положению, должны быть каналом судоходства французской торговли, организуется большая сила...

Мы занимаемся поиском наиболее подходящих средств для вывода колоний из того несчастного положения, в котором они находятся с тех пор, как вероломный двор хотел устроить контрреволюцию во Франции, используя несчастья Америки; и если рядом с нами французы захотят вспомнить, что они являются потомками Гильгельма, все расчеты островной политики могут быть нарушены.

Комитет не может предложить вам в данный момент никаких конкретных и подробных результатов; было бы даже неразумно их публиковать. Но все готовится, и хотя силы республики значительно уступают силам объединенных врагов, патриотизм будет направлять их так, чтобы напомнить о мужестве флибустьеров и подвигах Барта и Дюгетруэна...

В области международных отношений у нас есть дантоновская идея натравить державы друг на друга, от которой, к несчастью для Франции, фанатики, пришедшие к власти, впоследствии отказались. Особо следует отметить замечание о нецелесообразности декрета от 19 декабря: оно исходит непосредственно от Дантона.

ВНЕШНИЕ ДЕЛА.

... Английское министерство, несмотря на свое влияние и скупое высокомерие, вынуждено безропотно наблюдать, как Данциг переходит под власть Пруссии, как Польша делится без его участия, и компрометировать себя перед моралью и общественным мнением английской нации. Также интриган Питт, который не может скрыть, что министр, ведущий войну, редко занимается вопросами мира, особенно в просвещенной нации, обманутой в отношении этой войны глубокой хитростью своего правительства, не перестает призывать к линии, к общей делу дворов...

Комитет стремился укрепить связи, которые уже связывают швейцарский и французский народы через торговые отношения; и посол, которого приняла Швейцария, постоянно следует пожеланию Национального конвента объединиться с справедливыми правительствами и свободными народами.

Мы узнаем, что нейтральные и дружественные народы с благодарностью принимают декрет от 15 апреля, который послужил бы свободе более полезно, если бы был принят раньше и если бы недипломатичный декрет от 19 декабря не дал новый повод для вероломства иностранных дворов.

Этот декрет, в котором вы заявили, что Франция никогда не допустит, чтобы какая-либо держава посягала на ее конституцию и правительство, и что, в свою очередь, она не будет вмешиваться в дела других правительств, внезапно увеличил число наших сторонников в Швейцарии; и свидетельство простого и свободного народа имеет свою ценность для республиканцев.

Переговоры о союзе больше не являются химерой для свободной Франции. Есть державы, которые почувствовали, что возвышение или падение одной нации затрагивает интересы всех остальных и что даже те, кто находится дальше всего от театра военных действий, часто становятся жертвами своей умеренности или безразличия. Есть союзники, которые ради собственной безопасности могут поддерживать наши интересы с такой же горячностью, как и с добросовестностью. Есть другие союзы, которые должна обеспечить вам политика, и другие, которые будут в значительной степени обусловлены вашим республиканским устройством; ваша торговля может только радоваться этому.

Италия с интересом наблюдает за тем, как знамя Республики развевается в ее городах, за исключением тех, которые все еще находятся под властью священников и дома Австрии...

Мы узнали, что Россия обратилась к Порте с официальным запросом о прохождении флота, угрожая расценить отказ как объявление войны. Ответ был отсроченным и будет отрицательным; узурпации России наконец найдут пределы. Европейская политика должна помочь хозяину Дарданелл установить эти пределы...

Коалиция, созданная против Франции, создала препятствия для прибытия шебек в Алжир. Хотели снова отдалить от вас эту державу, дружественную Республике; но мы получаем известие, что дей с большим интересом принял две шебеки, которые Республика отправила ему, и проявил самое благосклонное отношение к Франции...

Далее следует французская критика Закона об иностранцах.

Английское правительство обнародовало позорный закон, оскорбляющий человечество и права наций, который был переведен на испанский язык в Мадриде и ганзейских городах благодаря интригам английского посла. Этот закон, в котором ненависть к конвенции продиктовала ужасные положения против французов, несомненно, побудит вас воспользоваться правом на ответные меры. Комитет представит вам отчет по этому вопросу, а также по различным мерам, которые необходимо принять против английского правительства. Многочисленные агенты разбросаны по всей Европе, чтобы узнавать о заговорах наших врагов внутри и снаружи и чтобы убедиться в истинных друзьях республики.

Наконец, из всех наших сообщений следует, что Дюмурье и его адъютанты, изгнанные из Штутгарта, не получили лучшего приема в Вюрцбурге по приказу курфюрста, хотя и епископа.

Таким образом, предатели не находят убежища даже у деспотов, которым они жертвуют собой.

Вопросы, касающиеся внутренних дел, остаются относительно неясными, поскольку в этом вопросе комитет хотел пойти на компромисс с Жирондой, но они решительно выступают против гражданской войны.

ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА.

... Что касается снабжения армии и флота, то комиссары сталкиваются с препятствиями, поскольку, согласно последнему декрету, они могут закупать товары только на рынках.

Затем комитет занялся изучением проблемы и выяснением источника всех волнений, которые мучают республику.

Здесь нам должны быть заявлены истины, потому что вы находитесь на краю глубокой пропасти, а Национальный конвент, погруженный в свои разногласия, забыл, что он идет между двумя скалами и что им руководит слепая анархия.

С одной стороны, отвратительный план гражданской войны, поддерживаемый англичанами и, без сомнения, направляемый из Лондона, Рима и соответствующими агентами в Париже, распространял свои ветви по всей Франции, и главным образом в тех странах, которые с момента революции были поражены фанатизмом или были ареной фанатических беспорядков и контрреволюционных заговоров.

С другой стороны, среди владельцев территории площадью в двадцать семь тысяч квадратных миль распространилась всеобщая тревога, основанная на преувеличенных заявлениях, бульварных газетах и злобных высказываниях; недовольство, порожденное нашими личными дискуссиями, подрывало доверие, но вы нужны: аристократы, опасаясь страстей патриотов, настроили энергичных людей против умеренных, к которым они молчаливо примыкают; они подготовили противоположные движения...

Марсель, Бордо, Лион, Руан, будьте осторожны, свобода наблюдает за вашим продвижением в революции; она никогда не посчитает вас противниками своих взглядов; но бойтесь оставаться в стороне от движения общественного мнения; раздавите вместе с нами мятежников, анархистов и разбойников; но также бойтесь умеренности и интриг аристократии, которая хочет запугать вас вопросами собственности и торговли, чтобы вернуть вам дворян, священников и короля...

В момент образования комитета почти повсеместно администрации, слишком слабые или не соответствующие обстоятельствам, испытывали на себе пагубное влияние соответствующих частных страстей...

В Лионе аристократия имеет более глубокие корни, чем можно было бы подумать; ей помогают эгоизм и безразличие...

Но в сельской местности и городах департаментов Рона и Луара, особенно в Вильфранше, царит другой дух, и именно там особенно заметны эти счастливые признаки, там слышны энергичные возгласы, характерные для патриотизма.

В Марселе, где все свидетельствует о республиканском рвении, в Марселе, где почти на каждом шагу можно увидеть дерево свободы или гражданскую надпись, в Марселе, где хлеб,

одинаковый для всех и плохого качества, продается по семь судов за фунт, это бедствие переносят без ропота, где слышны жалобы на предателей, эгоистов, интриганов; где единственные беды, которые огорчают людей, — это те, которые поражают всю Республику, Марсель пережил бурные потрясения; но если подавление некоторых проявлений демагогии заставило добропорядочных граждан опасаться, что умеренность возьмет верх, республиканизм все равно одержит победу над индивидуальными страстями. Давайте верить, что этот великий город не утратит своей славы.

Мы должны сожалеть о чрезмерных действиях, совершенных в Авиньоне и Эксе; о том, что произошло в Тулоне в отношении офицеров морского флота, вам будет доложено, когда комитет завершит работу по этой части.

В Перпиньяне в настоящее время царит лучший дух; старая национальная антипатия к испанцам разогрела республиканский дух, который департамент Восточных Пиренеев уже продемонстрировал с такой энергией 21 июня 1791 года.

Байонна присоединяется к правильным принципам. Предательства придали ей энергию, но если это место в данный момент находится под угрозой со стороны врага, то рвение южных республиканцев защитит его от внутренних и внешних врагов.

Бордо продолжает снабжать свободу и ее армии сокровищами и солдатами; оно будет защищать одновременно Пиренеи и Дез-Севр.

Намерения, проявленные в Нанте, не отражают в достаточной мере гражданский энтузиазм, который должен в данный момент одушевлять всех граждан. Его средства могли бы быть более эффективными; существует недовольство и опасения по поводу последствий внутренних разногласий.

В Орлеане общественное настроение улучшается с тех пор, как аристократия была поражена революционным законом; но этот город имеет право требовать, чтобы действия комиссаров были в скором времени рассмотрены, виновные наказаны, а добропорядочные граждане успокоены.

В департаменте Алье перехваченная корреспонденция позволила обнаружить заговоры против свободы, которые были затеяны депортированными священниками совместно с их агентами в Мулене. Административные органы, которые живут в самой счастливой гармонии, поместили в безопасное место тех, чье поведение вызвало подозрения, и содержат их там под тщательной и гуманной охраной, пока Республика не перестанет бояться своих внутренних врагов и этих отступников. Народ повсюду приветствовал эту энергию своих магистратов и помог им, потому что народ искренне хочет свободы.

В Роанне умеренность превратилась в систему, и в нынешнем кризисе эта политическая апатия является величайшим бедствием для Республики, которая может утвердиться только благодаря развитию всей национальной энергии.

В Тэне, в департаменте Дром, патриоты, которые были лишь состоятельными людьми (патриотизм редко сопутствует богатству), собрали деньги и, по согласованию с мэром, без принуждения со стороны закона, а из любви к родине, сделали взнос, доход от которого был использован для обеспечения малоимущих граждан хлебом по умеренной цене. Таким образом, в южных провинциях нравы и человечность имеют большее значение, чем законы и сердца богатых в больших городах...

В Туре администрация департамента Эндр-и-Луара, узнав, что враги находятся в Лудуне и движутся на Шинон, приняла решение, в рамках гражданской и спонтанной акции, переместиться в центр угрожающей им опасности и решила погрестись под руинами города, чем сдаться. Комиссия осталась там. Луден остался без защиты. Несколько аристократов были, к счастью, изгнаны оттуда.

Пуатье, находящееся под слишком сильным влиянием фанатиков и сторонников старого режима, может дать надежду мятежникам, и уже администрация заставила нас опасаться результатов злобного духа части его жителей (), несмотря на известную энергию патриотов, которые в нем проживают.

Париж, который постоянно обвиняют, который почти всегда находится в состоянии волнения, то из-за преступлений, то из-за интриг, то из-за личных страстей, то из-за тайных и чуждых интересов, а еще чаще из-за длительного действия или возбуждения революционных страстей; Париж, прибежище стольких иностранцев, стольких заговорщиков, должен привлечь ваше внимание.

Следующий отрывок о Парижской коммуне примечателен своим неопределенным характером, в соответствии с попыткой избавиться от Жиронды, если возможно, без восстания.

Вы должны удерживать генеральный совет коммуны Парижа в пределах, которые требуют единство и неделимость Республики и которые предписывает ему закон. Только вам принадлежит право подавлять все политические амбиции, уничтожать все законодательные узурпации; вам надлежит ответить Франции за власть, которая была вам благочестиво доверена.

Вы должны предупреждать о неравномерных и анархических движениях, которые интриганы продвигают в нескольких секциях, населенных добропорядочными гражданами, и об аристократических движениях, которые, однако, могут быть им переданы.

Вы должны также следить за умеренностью, которая парализует все и готовит гибель свободы, и за чрезмерной демагогией, секрет и цену которой знают эмигранты и амбициозные люди, скрывающиеся среди нас.

Дух жителей Парижа добр, несмотря на пороки эгоизма, скупости и апатии некоторых из них. Любовь к свободе, которую так много раз пытались нейтрализовать, выходит победительницей из всех испытаний; и мы думаем, что Париж всегда будет принадлежать только свободе; Париж, который уничтожил трон, не допустит, чтобы какая-либо власть узурпировала национальную власть, которая принадлежит всем и которая является истинным местом всех департаментов.

Несмотря на все интриги, с помощью которых пытались помешать Парижу проявить свой патриотизм, выступив против мятежников, каждый сектор предоставил или занимается предоставлением своего контингента для формирования двенадцати или четырнадцати батальонов по тысяче человек...

Я цитирую некоторые фрагменты, которые показывают страх Комитета, столь часто оправданный, в отношении иностранных интриг.

ФИНАНСЫ.

Он спекулировал на наличных деньгах, чтобы обесценить ассигнации; он поднял курсы валют своими операциями на бирже.

ГРАЖДАНСКИЕ РАЗДОР.

Он подпитывал фанатизм в Вандее; он поставлял людей, оружие и боеприпасы. [\[166\]](#)

РОЯЛИЗМ.

Это англичанин, который вызвал сожаления и возродил надежды, разжигая чрезмерный республиканизм и предлагая аграрные законы, за которые он затем пытался возложить ответственность на известных патриотов...

ГЕНЕРАЛЫ.

Тот, кто купил Арнольда в Америке, купил Дюмурье в Европе, и ему пришлось поступить так же с военными, которые не любят республику...

О СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Англичане посеяли страх в душах землевладельцев, выдвинув предложения о разделе земель, и в сердцах торговцев, разграбив магазины...

Англичане придумали блокировать ее, морить голодом, поджигать ее порты и общественные здания, уничтожать ее промышленность; они поочередно вооружали аристократов против патриотов, а патриотов против аристократов; наконец, народ против народа, надеясь, что зрелище наших беспорядков лишит английский народ мужества уничтожить у себя королевский деспотизм.

ПОТЕРЯ ПАРИЖА.

Убийцы бьют в самое сердце; завоеватели направляют свои удары на столицы. Невозможно было потерять Париж с помощью армии; хотели потерять Париж с помощью департаментов; сеяли там ужас, чтобы разрушить его бегством богатых владельцев и за ; сеяли идеи верховенства, чтобы разделить, изолировать департаменты Парижа.

Опасность гражданской войны и энергичные методы борьбы с ней являются предметом следующих абзацев.

РАЗДЕЛ ТЕРРИТОРИИ.

Наконец, англичане надеялись разделить Францию, чтобы раздробить или разрушить ее. В своем бреду они надеялись увидеть бессильную монархию, установленную на севере, и жалкие, раздробленные республики, образовавшиеся на юге.

Я разоблачил британское правительство; теперь его нечего бояться.

Во многих департаментах были заключены под стражу лица, известные своей антигражданской позицией и подозреваемые в поддержании связей с эмигрантами и контрреволюционерами. Обычно в этом обвиняют священников и монахов, эмигрантов, безнаказанно вернувшиеся на нашу территорию, и корреспондентов, которые поддерживали их своим состоянием и надеждами.

Пришлось принять суровые меры, поскольку все аристократы поддерживали Вандею, а перехваченные письма свидетельствовали о сборе в Нанте.

Многочисленные аресты были следствием этой подозрительности, этих предательств, распространенных по всей Франции; в революционные времена власть имеет больше глаз и рук, чем сердца; но законодатель обязан всем гражданам той строгой справедливостью, которая регулирует первые движения и принимает решения об индивидуальной свободе с той осторожностью, которую допускают обстоятельства. Вы должны одинаково уничтожать все аристократии и все тирании; вы должны одобрять своих комиссаров, если они поступили правильно, и порицать и наказывать их, если они нарушили права граждан. Комитет считает, что комитет по законодательству и общей безопасности должен незамедлительно предложить закон, который регулирует порядок рассмотрения законности этих арестов и который направляет виновных в суды или оставляет в заключении тех, кто является лишь явными подозреваемыми.

Департамент Эн видит, как среди жителей восстанавливается общественное настроение.

Заговор, разразившийся на западе, казалось, проявился в департаментах Ардеш, Гар, Верхняя Луара и Канталь, но администраторы и ваши комиссары сумели его подавить. Беспорядки в Лозере носят более серьезный характер, но патриотизм этого департамента и его соседей скоро положит им конец.

Суды сурово наказали виновных; мы опасались, что ваши комиссары превысили свои полномочия в департаменте Ардеш, и мы бы передали их вашему суровому правосудию, чтобы показать пример наказания тех, кого принято называть проконсулами, чтобы помешать им творить добро или отравлять его результаты; но декрет уже объявил вне закона виновных сообщников Дефэйанта.

Измена Дюмурье, которая, по всему судя, имела очень широкие связи, стала лучиком света; она поразила администрацию и граждан как электрический разряд. Все наши средства усилились в сто раз благодаря этому событию, которое было предназначено парализовать их; но из всех бедствий, которые незаметно готовились в приграничных департаментах, как и в центре, как и среди нас, самым большим, самым пугающим своим прогрессом, является неожиданное наступление контрреволюционеров из числа дворян, священников и эмигрантов, которые из глубины Вандеи и Морбиана поднимаются вверх по Луаре, угрожают нашим городам изнутри и одновременно используют средства террора и убеждения...

У повстанцев есть несколько сборов. Последние данные, присланные одним из наших комиссаров, свидетельствуют о том, что в Туаре было от 15 до 25 тысяч вооруженных людей, часть из которых была вооружена пиками, а часть — ружьями; они везут с собой 13 пушек, по некоторым данным, а по последним данным о успехах в Туаре — 30 артиллерийских орудий.

Ими командуют бывшие дворяне, их сопровождают священники; все их жены служат им шпионами; они сражаются за феодалы и молитвы. Фанатичные крестьяне сражаются с яростью и не грабят; они составляют половину отряда.

Четверть состоит из егерей, беглых галерных рабов и контрабандистов соли. Они грабят, разоряют, убивают и вполне достойны своих вождей.

Другая четверть состоит из малодушных или равнодушных людей, которых насилие заставляет идти, но которые при первом поражении разбойников отступают и, так сказать,

становятся собственностью первого захватчика. Это свобода захватить их благодаря успехам.

Только эмигранты, бывшие дворяне и священники хотели бы навести порядок в собраниях и внести тактику в эту войну. Они платят повстанцам две трети наличными.

Известными лидерами являются бывшие дворяне Лезер, Ларош-Жаклен, Бошам, Лангрениер, Дельбек, Бодре-де-Брошен, Дебуайе-Лоре, а также аббат по имени Ларьевр. Доменже является генерал-полковником кавалерии; Демененс и Дельбек командуют католическо-королевской армией.

Комитет ежедневно принимал срочные постановления, чтобы эффективно подавить эту междоусобную войну...

Армия уже организуется в Туре; в Сомюре создана центральная комиссия; линейные войска уже прошли Париж, чтобы туда прибыть, и значительные подкрепления, которые запросил комитет, уже в пути. Кареты богачей, роскошные экипажи, по крайней мере, один раз послужили защите родины и свободы. Армия направляется к берегам Луары. Так, в 1757 году один из самых знаменитых полководцев севера разгромил австрийцев в битве при Лиффе или Лейтене с армией, прибывшей на поле боя...

Комитет готовит отчет о периодических органах общественного мнения и о постановлениях, нарушающих свободу печати.

Такова картина внутренней жизни республики, согласно отчетам и переписке комиссаров и административных органов. Мы должны завершить ее размышлением о комиссарах, которых слишком пытаются запугать граждан и даже нескольких членов Конвента...

Влияние Камбона очевидно в том, что следует ниже.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГИ.

Что касается налогов, то ничто так хорошо не доказывает желание увидеть основание Республики и возрождение социального порядка, как уплата налогов среди руин и обломков прежнего правительства; если и есть задолженности, то только по вине администраций, которые еще не закончили составление списков; некоторые из них прекратили отправку средств. Но средство общественного спасения принадлежит этой части администрации: вы должны неустанно заниматься законами, касающимися государственных налогов, ускорением продажи имущества эмигрантов и бывших королевских домов, которые, похоже, все еще ждут своих прежних виновных владельцев, а также средствами изъятия из обращения определенного количества ассигнаций. Вы обязаны этим законом народу, который стал свидетелем пугающего и губительного роста цен на продовольствие; вы обязаны им всем кредиторам Республики и всем тем, кому она платит зарплату, чтобы восстановить равновесие, слишком быстро нарушенное огромным количеством этой валюты. Часть народа, которая заслуживает внимания своих представителей больше всех, — это та, которая ежедневно страдает от повышения цен на продукты питания.

Косвенные налоги, взимаемые в условиях революционных волнений и недоверия к ее успеху со стороны недовольных и государственных врагов, в значительной степени пополняют казну. Уже за последние три месяца — январь, февраль и март — сбор косвенных налогов превысил прогнозы на несколько миллионов. Общая сумма за три месяца составляет 52 182 468 ливров, включая 5 400 000 ливров от аукциона по продаже древесины. Что же будет в

мирное и процветающее время? Какую уверенность должна иметь Республика в своих силах и средствах?

К сожалению, среди доходов от косвенных налогов мы увидели пошлины, которые должны быть неизвестны свободным народам, пошлины на незаконнорожденных и на наследство, от которых отвернулись бы даже дикари Америки.

С этого момента рука Дантона прослеживается во всем отчете. Некоторые вопросы о Конституции и общественном строительстве, которые имеют мало отношения к восстанию 2 июня, были опущены, но политика Дантона по созданию конституции, которая должна примирить врагов, изложена в полном объеме.

КОЛОНИИ.

Мы пока ничего не говорим о колониях, хотя получили меморандумы и мнения по этому важному и печальному вопросу, от которого зависит процветание государства и расширение французского флота. Возможно, было бы лучше не говорить в национальных собраниях о колониях, как и о религии, до тех пор, пока революция на континенте не подошла к концу. Совершенствовать в этих дальних странах гражданское управление, смягчить последствия военного режима, незаметно уничтожить предрассудки, связанные с цветом кожи, улучшить мудрыми взглядами и прогрессивными средствами судьбу человечества в этих суровых климатических условиях — возможно, это было бы наиболее подходящей мерой; но революция сделала ужасающие прогресс под этим палящим солнцем. Сан-Доминго так же несчастно, как острова Ветров вновь стали верными, и его несчастья, похоже, еще далеки от своего конца.

Однажды будет рассмотрен вопрос о том, есть ли способы привязать колонии к Франции в их же интересах, то есть путем абсолютной свободы их торговли с нами и общего распоряжения о сборах с иностранной торговли в этих же колониях. Подобные законы, которые защищали бы нас лучше, чем эскадры, требуют тщательного обдумывания.

Эта часть национальных интересов должна рассматриваться отдельно и с большой мудростью; комитет поручено подготовить в ожидании этого отчета меры, способные уменьшить бедствия, от которых все еще страдает эта прекрасная колония.

О ВНУТРЕННИХ СИЛАХ.

Она повсюду ощущает царившую анархию. Там она совещается, здесь действует по прихоти страстей. Распространившись по всем частям империи, она, кажется, имеет изменчивость принципов и действий, которая может угрожать свободе. В одном городе богатые и эгоистичные граждане нанимают себе замену; защита своих домов по-прежнему кажется скорее тяжким трудом, чем честью, скорее обязанностью, чем правом. В другом городе на государственную службу идут малообеспеченные ремесленники или рабочие, которым нужен ночной отдых, чтобы на следующий день кормить свои семьи. Пора стереть эти недопустимые в свободном государстве разграничительные линии. Только природа создала различия; они существуют во всех возрастах; молодые граждане от шестнадцати до двадцати пяти лет — первые, кого призывает родина; они менее заняты и более доступны, и именно они должны первыми бросаться на помощь при опасности. Если этой первой силы недостаточно (потому что нельзя думать о дезертирстве), то другое, более сильное и мудрое поколение, представляющее обществу свои средства, — это люди в возрасте от 25 до 35 лет; третий класс — от 35 до 45 лет; последний призыв должен затронуть всех, кто может носить

оружие. Тогда общество призывает на помощь всех, кто разделяет суверенитет; благоприятное исключение делается для отцов, кормящих свои семьи продуктами своего труда. Противоположное исключение должно касаться холостяков и вдовцов без детей.

Законодательство и мораль должны порицать тех, кто не платит этот долг ни природе, ни Республике.

Именно так французам следует организовать право реквизиции. Этот пример возник из потребностей свободы на американских землях. Реквизиция — это призыв родины к гражданам; этот призыв может быть сделан генералами, когда закон временно наделяет их этой властью, и в случае войны; этот призыв может быть сделан гражданскими властями во всех учрежденных органах власти и, более того, национальными собраниями, которые являются одновременно гражданской, законодательной и национальной властью.

Комитет счел, что он должен представить единый порядок привлечения сил правопорядка во всех частях Республики и со стороны всех органов власти, чтобы каждый чиновник и каждый гражданин знал пределы своих полномочий или своих обязанностей...

Кроме того, в таком ограничении конституции необходимыми статьями можно найти несколько преимуществ.

(1º) Большая вероятность того, что она будет принята народом.

(2º) Еще большая надежда на то, что граждане не будут так быстро требовать реформы конституции.

(3º) Этим единственным решением, еще до принятия конституции, были бы разрушены некоторые надежды наших врагов, потому что тогда они начали бы верить, что Конвент даст Франции конституцию, в чем они до сих пор не верят.

Действительно, трудно ошибиться в важных общих статьях, касающихся того, что действительно подходит французской нации, и не следует опасаться тех трудностей, той почти невозможности исполнения, которые, если углубляться в детали, могли бы вызвать желание реформировать конституцию, которая, впрочем, хорошо составлена.

Поэтому можно было бы предложить ограничить конституцию этими основными статьями, в число которых, как мы чувствуем, должен быть включен способ реформирования конституции, когда она перестанет казаться большинству граждан достаточной для защиты их прав; и если бы собрание приняло это мнение, оно поручило бы четверем или пяти своим членам, присоединившимся к комитету общественного спасения, представить ему план конституции, ограниченный только этими статьями и составленный таким образом, чтобы эти статьи могли быть немедленно вынесены на обсуждение.

Работа этого комитета заняла бы всего неделю, и ассамблея могла бы продолжить обсуждение конституции, поскольку ничего не было бы проще, чем включить в этот проект пункты, уже утвержденные Конвентом.

Эта работа была бы полезна, даже если бы ассамблея затем захотела углубиться в детали:

(1º) потому что это привело бы к более упорядоченному обсуждению;

(2º) потому что тогда всегда будет возможность ускорить работу, если того потребуют неотложные обстоятельства. Исходя из этой простой идеи, мы предлагаем вам постановить,

чтобы Конвент поручил комиссии, состоящей из пяти его членов, присоединенных к комитету общественного спасения, представить ему в кратчайшие сроки проект конституции, сокращенный до тех статей, которые необходимо сделать неотменяемыми законодательными собраниями, чтобы обеспечить единство, неделимость и свободу Республики, а также осуществление всех прав народа.

Давайте же с упорством возобновим работу над конституцией и обсудим небольшое число действительно конституционных статей с той мудростью, которая не исключает энергичности, и с тем талантом, который не умаляет недоверие.

Подумайте, что последний пункт конституции станет началом мирного договора с державами. Им не терпится узнать, с кем они могут вести переговоры, независимо от формы нашего правительства...

Далее следует сильная атака на федеральную идею, показывающая, что Комитет в своей социологии является явно антижирондинским.

Но будет ли эта надпись всегда лживой? Будем ли мы постоянно видеть во дворце единства ярость раздора и 44 тысячи маленьких республик, разжигающих свои разногласия через своих представителей?

Ваш голос должен быть услышан всеми французами, эгоисты и скупые должны быть осуждены общественным мнением и наказаны лишением богатства. Не заблуждайтесь, для вас нет славы и счастья, кроме как в успехе свободы, восстановлении порядка и укреплении собственности.

В этом заключается основа всех политических обществ, и законодатель, который не признает ее, будет презираем своими современниками и потомками.

Также будет проклят законодатель, который пренебрег правами народа и не прислушался к жалобам несчастных.

Если вы упустите эту возможность установить республику, вы все будете одинаково осуждены, и ни один из вас не ускользнет от победоносных тиранов, какими бы ни были ваши мнения или принципы ваших действий. Меч истребителя поразит тех, кто призывает народ, и тех, кто голосует за смерть тирана; и это будет единственное равенство, которое вы создадите. Ваши имена останутся в истории только как имена мятежников и виновных: вы отбросите назад совершенствование человеческого общества; вы утратите права народов, вы погубите 300 тысяч человек и растратите сокровища, которые свобода вверила вам для своего укрепления; вы отбросите общественное разумение назад; вы будете соучастниками тирании королей и варварства Европы, и о вас будут говорить: Французская конвенция могла дать свободу Европе, но своими разногласиями она укрепила оковы народа и своей ненавистью послужила деспотизму...

СНОСКИ

[1] С. W. Оман, «История Англии», стр. 581.

[2] Тэн, «Революция», предисловие.

[3] Виктор Гюго, «Девяносто три». Иллюстрированное издание 1877 года. Париж, стр. 136-150.

[4] Например, он говорит, что «дворянство» Франции должно подражать дворянству Англии. Но для этого необходимо владеть домами крестьян, и даже в этом случае система не всегда подходит к кельтскому темпераменту, как они говорят.

[5] Например, остров Серк.

[6] Бонапарт, возможно, имел дворянское происхождение. Но так же, как и многие настоящие буржуа, чьи семьи в прошлом не имели ни средств, ни желания настаивать на привилегированном положении.

[7] Для ясности я не упоминаю об обширном сословии, которое приобрело феодальные владения, все технически дворянские, многие из которых были практически буржуазными.

[8] Лион, конечно, был пограничным городом империи, но на местном уровне он является центром своей собственной страны «Лионне».

[9] Все биографы сходятся во мнении. Первая публикация выписки из гражданского реестра была получена Бужеартом в августе 1860 года. Ее предоставил ему М. Людо, мэр того времени. В *Journal de la Montagne*, т. II, № 142, есть нелепая ошибка: «né à Orchie sur Aube» (родился в Орши-сюр-Обе).

[10] Дата указана в выписке, упомянутой в предыдущем примечании.

[11] См. действия родственников в *№ VI* Приложения.

[12] Бужеар, стр. 12. Дантон, который, по-видимому, был сыном этого брата, был инспектором университета во время Второй империи.

[13] См. *Приложение № V*.; также *Théâtre de l'Ancien Collège de Troyes*, Babeau, изданное Dufour-Vouquet, Трой, 1881.

[14] См. список его библиотеки, *Приложение VIII*, и его интервью с Томасом Пейном в начале главы VII.

[15] Речь от 13 августа 1793 года. Напечатана в *Moniteur* от 15 августа.

[16] М. Беон.

[17] Дантон, *Государственный деятель*, стр. 29.

[18] См. «Заметки Куртуа де л'Оба» в книге Кларети «Демулен».

[19] Дантон, *Государственный деятель*, стр. 30.

[20] Отличный материал для чтения представляет собой работа *Avocat aux Conseils du Roi* М. Боса (Machal & Billaud, Париж, 1881), цитируемая в данной работе более одного раза.

[21] С 1728 года членство в этом органе можно было купить и оно было наследственным; яркий пример того, как неправильно развивалось общество.

[22] См. *Приложение VI*.

[23] М. Бос, цитируется выше.

[24] Там же, стр. 520.

[25] См. *Приложение V*.

[26] См. [Приложение II](#) о жилье Дантона в Париже.

[27] См. Robinet, *Danton vie Privée*, стр. 284.

[28] См. [Приложение VI](#).

[29] По природе его нос был маленьким. Его лицо было одним из тех редких лиц, которые всегда ассоциируются с энергией и лидерством, с высоким лбом, нависающим над лицом, которое было бы маленьким, если бы не квадратная челюсть и рот (). Таким образом, Арно был «карикатурой на Сократа».

[30] Я имею в виду английского реформатора, который, садясь на корабль в Бристол, бросил свою парик в воду, воскликнув: «Я покончил с такими безделушками», и отплыл лысым в Новый Свет.

[31] См. [Приложение VIII](#).

[32] См. [Приложение IX](#).

[33] Из *Almanack Royal* за 1788 год. Доктор Робине, чьи возможности получения информации уникальны, сообщает нам, что он сначала переехал на Rue des Fossés St. Germain, а затем в Cour du Commerce, где-то в 1790 году. Утверждение о первом адресе не подтверждается никакими источниками, но доктор Робине имеет письмо с этим адресом; в данном случае точная информация из официального списка кажется мне наиболее весомой.

[34] См. приложения [II](#) и [VII](#). Некоторые комнаты выходят на Rue des Cordeliers, некоторые — на Cour du Commerce.

[35] Де Барентен. См. [предыдущую главу](#) и [приложение V](#). Он стал клиентом Дантона незадолго до декрета, создавшего Генеральные штаты.

[36] Секретарь печати.

[37] См. [Приложение V](#), Русселен. Этот анекдот не ценится Оларом, но признается ценным другими биографами. Олар основывает свое мнение на несомненных ошибках в датах. Но Русселен, возможно, был прав в основном, хотя (писав много лет спустя) ошибся в вопросе месяца или около того.

[38] E. Champion, *Франция в 1789 году. Дух «Книг» в «Революции» (Общая история, viii.)*.

[39] Там же.

[40] Олар, цитирующий Шассена, *Les Elections de Paris*, т. II, с. 478. М. Олар сообщает, что М. Шассен видел этот документ собственными глазами перед войной.

[41] Менее шестисот.

[42] [Приложение V](#).

[43] Это описание взято из современного акварельного эскиза, который я видел в коллекции доктора Робине.

[44] См. [Приложение I](#).

[45] См. обсуждение несколько скудных источников в Robinet, *Danton, Homme d'État*, стр. 37-40.

[46] Документы, служащие источником для истории Французской революции. Дантон, Альфред Бужеар. Брюссель, 1861 (La Croix, Van Meenen & Cie.).

[47] Олар, цитирующий Шараве, *Assemblée electorale de Paris*.

[48] Chassin, *Les Elections et les Cahiers de Paris*, iii. 580-581, на котором основана вся эта сцена.

[49] Олар, *Revue de la Révolution Française*, 14 февраля 1893 г.

[50] См. цифры, приведенные в петиции против ареста Дантона, *стр. 108*.

[51] Этот декрет был принят Кордельерами во вторник, 21 июля 1789 года. Он не так неразумен, как может показаться, поскольку всего через два дня (23 июля) неформальный муниципальный орган признает необходимость новых городских выборов.

[52] Подписан 21 сентября; обнародован 3 ноября.

[53] Отличный пример приведен на стр. 45 книги «Дантон, государственный деятель».

[54] Их имена были Пейрил, Де Блуа, Де Гранвиль, Дюпре, Кроаре. Их можно найти, вместе со всеми декретами, касающимися этого дела, в книге «Дантон, государственный деятель» (Robinet, 1889), стр. 248. Напечатаны, как и все декреты Кордельеров, Моморо на улице де ла Харп и подписаны «д'Антон».

[55] Можно вспомнить, что Бужеар (с. 69) утверждает, что Дантон был президентом в самом начале 1789 года. На эту ошибку уже указывалось. С другой стороны, Олар говорит, что он был президентом только с октября. Это еще одна ошибка. Есть по крайней мере один более ранний документ, датированный сентябрем, цитируемый на предыдущей странице.

[56] Они некоторое время заседали в епископском дворце на острове Сите, пока готовился Манеж.

[57] *Rev. de Paris*, xxiii. p. 20.

[58] 11 и 12 ноября.

[59] 22 декабря.

[60] 12 ноября и 14 декабря.

[61] 31 против 20 (Олар, из *Journal de la Cour et de la Ville*, стр. 518).

[62] Дантон, *Государственный деятель*, стр. 256 и далее. Подписано «д'Антон».

[63] Дантон, его друг Лежандр, Тестулат, Сабле и Гинтен. Несколько авторитетных источников датируют избрание Дантона сентябрем 1789 года, а не январем 1790 года, что, вероятно, является ошибкой, связанной с использованием списка Годара, опубликованного в 1790 году, но озаглавленного «Члены коммуны, избранные с сентября 1789 года».

[64] Печатные станки Марата были спрятаны в подвале Кордельеров, который сейчас находится под домом консьержа Клиники.

[65] 19 января.

[66] Rue des Fossés была (и остается, под новым названием) удивительно прямой для старой улицы. Можно было использовать пушки.

[67] Их звали Озанн и Дамьен; тот самый Дамьен, по-моему, который совершил ошибку 13 сентября 1791 года. См. *сmp. 150*.

[68] Статья 9 декрета от 8 и 9 октября 1790 года.

[69] «Notables-adjoints» (заместители notable), по семь человек в каждом округе. Сам Дантон был избран в такой орган в мае или июне 1790 года и проработал в нем несколько месяцев.

[70] То есть до его избрания заместителем прокурора в декабре 1791 года.

[71] 25, 28 января; 4, 16 февраля; 3, 5, 13, 19 марта; 15, 19, 23 июня. Aulard, *Rev. Française*, 14 февраля 1893 г., стр. 142, 143.

[72] Именно этот ордер, вероятно, ввел в заблуждение одного из биографов относительно даты «дела Марата» (*Danton, Homme d'État*, стр. 67: «En mars survint l'affaire Marat»).

[73] Речь идет, конечно, о включении Парижа в общий план декабря 1789 года — план, который давал право голоса крестьянам, но создавал олигархию в городах. См. выше, стр. 21, 22 и 93.

[74] Он получил 12 550 голосов, что составляло большую часть ограниченного избирательного права. За Дантона было отдано 49 с лишним голосов, но он явно не был кандидатом (Олар).

[75] *Ami du Peuple*, № 192.

[76] *Révolutions de France et Brabant*, т. х, с. 171.

[77] В сноске № 3, стр. 231, статьи М. Олара о Дантоне в *Rev. Française* от 14 марта 1893 года есть опечатка (что очень редко встречается у этого тщательного историка). Вместо «ноябрь» следует читать «сентябрь», поскольку мы знаем, что голосование закончилось 16 сентября. См. Robiquet, *Personnel Municipal*, стр. 373, и свидетельства всех сторон о том, что 17 сентября в его секции было назначено новое голосование.

[78] Это большое здание на острове рядом с Нотр-Дамом исчезло во время реставрации Виолле-ле-Дюка. В революционный период оно часто использовалось для публичных собраний, и даже Ассамблея заседала там в течение нескольких дней после входа в Париж в октябре, пока для нее готовили конный зал.

[79] *Moniteur*, Old Series, No. 316 (1790).

[80] М. Олар говорит «где-то между 10 и 15 числом» и «nous n'avons pas la date précise» (мы не знаем точной даты). Вероятно, он упустил из виду *L'Ami du Peuple*, № 290, «Le 14 de ce mois Danton a été nommé à la place du Sieur Villette» (14 числа этого месяца Дантон был назначен на место сеньора Виллета).

[81] Олар. Все остальные биографы предполагают, что он не уходил в отставку.

[82] *Orateur du Peuple*, т. III, № 24.

[83] Там же, т. VI, № 27.

[84] Письмо можно найти в книге М. Этьена Шараве «*Assemblée Electorale*», стр. 437.

[85] Я цитирую М. Олара, *Rev. Française*, 14 марта 1893 г.

[86] Обратите внимание, что Лафайет в своих мемуарах (т. III, стр. 64) говорит о Дантоне «во главе своего батальона». Я сомневаюсь, что это ошибка со стороны солдата, чья работа заключалась в том, чтобы знать свой собственный отряд.

[87] Например, квартал кармелитов (там же).

[88] *Révolutions de France et Brabant*, № 74.

[89] См. его Собрание сочинений, т. XII, стр. 264, 265.

[90] М. Олар указывает на ошибку в заметке самого Кондорсе (xii. стр. 267), где упоминается 12 июля; но *Bouche de Fer* от 10 июля дает нам вышеуказанную дату для этих двух речей.

[91] Он написал забавное маленькое письмо (среди прочего) в *Républicain* от 16 июля, в котором описывал «механического короля», «который практически вечен».

[92] См. *Société des Jacobins*, т. II, с. 541.

[93] *Moniteur*, 16 июля 1791 г.

[94] *Ami du Peuple*, 22 июня 1791 г.

[95] *Révolutions de France et de Brabant*, № 82.

[96] Это не риторическое преувеличение. Как будет показано далее в этой главе, это число соответствует количеству солдат, которые в конечном итоге составляли гарнизон дворца — факт, который до сих пор не отмечался, но который стоит запомнить, поскольку он показывает, что обвинения Лафайета являются полуправдой. Он обратился к Дантону и рассказал ему о многих своих планах. Дантон не согласился, но использовал эту информацию.

[97] *Révolutions de France et de Brabant*, № 82.

[98] Приложение II.

[99] 24 июня.

[100] Я следую Аулару в этом вопросе в отношении общей схемы и в значительной степени в отношении авторитетов.

[101] Аулар является моим авторитетом в том, что фактический текст этой второй петиции исчез в 1871 году, когда Коммуна сожгла мэрию, но что Берше видел его до этого события и тщательно составил список основных имен. Дантона среди них нет.

[102] *Courrier Français* от 22 июля спрашивает, был ли «человек в голландских брюках и сером жилете Дантоном», но больше ничего не говорит.

[103] См. письмо, опубликованное в *Rev. Française*, апрель 1893 г., с. 325.

[104] *Orateur du Peuple*, viii. № 16. Не слишком достоверный источник.

[105] Возможно, позже. Бёгно, похоже, говорит так, как будто Дантон все еще находился в Труа по крайней мере до 6 августа (*Mémoires*, i. pp. 249-250).

[106] После написания вышеуказанного я заметил, что М. Олар в той же статье цитирует высказывание Дантона в Избирательной ассамблее 10 сентября. Оно взято из протокола Ассамблеи, и М. Шараве сообщил его М. Олару.

[107] Его избрание было объявлено только 7-го, но стало известно 6-го.

[108] 20 января 1792 года.

[109] В этой фразе я вижу всю позицию Дантона по поводу войны.

[110] Было меньшинство из семи человек.

[111] Возможно, уже вечером 28-го.

[112] Этот отчет переведен из *Moniteur*, 3 августа 1792 года.

[113] *Журнал дебатов*, 183.

[114] Я взял этот документ из книги Робине «Дантон, государственный деятель», стр. 109, 112; но ни он, ни Олар (который его цитирует) не указывают источник. Циркуляр часто цитируется под датой 19 августа; он был издан в то воскресенье, но составлен и датирован субботой, которую я ему присвоил.

[115] Олар, который цитирует *Moniteur*, xii. 445.

[116] Эту сцену можно восстановить по его показаниям на суде над жирондинцами и по его речи в якобинском клубе 5 ноября.

[117] Все это я взял из статьи Олара в *Révolution Française* от 14 июня 1893 года.

[118] Голосования 30, 31 и 2 числа.

[119] Слово «незаконно» является справедливым, поскольку конституция Коммуны и все ее действия были юридически зависимы от Ассамблеи. С другой стороны, Коммуна предоставила этому комитету право пополнять свои ряды, но такие люди, как Марат, который не был членом Коммуны, наверняка не были предусмотрены.

[120] Сначала *Ла Пуассоньер*, затем *Посты* и *Люксембург*.

[121] Возможно, что эта фраза, включая предшествующую фразу «le tocsin qui va sonner» и т. д., является единственной частью речи, которая была буквально передана. *Logotachygraphe* был основан только в январе, и хотя *Moniteur* и *Journal des Débats* приводят практически одинаковую версию, последний называет ее «резюме».

[122] «Appel à l'impartiale posterité». Мадам Ролан обладала великим историческим даром интуиции, то есть она могла подробно описывать события, которые никогда не происходили. Я не придаю никакого значения непосредственно предшествующему отрывку. Если Дантон и Петион были одни, как она их описывает, то ее картина — это картина романиста. Приведенная выше фраза может быть достоверной — были свидетели.

[123] *Moniteur*, 25 января 1793 г. Речь от 21 января.

[124] Речь от 21 января 1793 года.

[125] Обвинения против Дантона по этому делу приводятся и критикуются в [Приложении IV](#), где также приводятся причины, по которым в тексте не упоминается циркуляр Марата.

[126] Цифры и очень интересные подробности о выборах Эгалите см. в *Révolution Française*, 14 августа 1893 г., второе примечание, стр. 129.

[127] Погибло более 700 и менее 1000 человек. Обычно преувеличивают число погибших, называя цифру 12 000, приведенную Пельтье.

[128] На самом деле его преемник Гарат был избран только 9 октября и приступил к исполнению своих обязанностей только 12 октября. Дантон, по-видимому, оставался в министерстве до вечера 11 октября.

[129] 23 октября.

[130] Мишле, 1-е издание, т. IV, стр. 392-394.

[131] 10 и 11 октября.

[132] 6 ноября он выступил с речью, в которой требовал (конечно же) суда над королем, но без применения насилия. 1 декабря он уехал в Бельгию вместе с Делакруа.

[133] Этот Даннон был другом Дантона. Он начал, но не завершил сборник его речей и т. д., а также расследование его счетов. Он был депутатом от Па-де-Кале. Нелегко точно написать его фамилию. Я следую написанию из списка Конвента, опубликованного в 1794 году. Даннон проголосовал за изгнание.

[134] Я не могу не упомянуть одну фразу, которая гораздо более характерна для него — сказанную после убийства Лепеллетье: «Было бы хорошо для нас, если бы мы могли умереть так же».

[135] Доказательства связи с Талейраном основаны только на предположениях. Они обсуждаются в книге Робине «Дантон-эмигрант», стр. 12-16 и стр. 270 и далее. Что касается переписки Пристли, то она была сочувственной и глубокой и продолжалась, несмотря на сентябрьские массовые убийства. В французских архивах хранится проект конституции, который, по мнению некоторых, принадлежит Пристли, но я уверен, что это не его почерк.

[136] *Moniteur*, 9 марта 1793 г.

[137] Там же, 10 марта 1793 г.

[138] См. *Patriote Français*, № 1308.

[139] См. *Moniteur*, 13 марта 1793 г.

[140] Пейн настолько плохо знал французский, что его речь об изгнании Людовика была переведена для него.

[141] Ла Рош дю Мэн.

[142] Левассер сообщает нам, что Дельмас выступил первым и что его выступление имело форму конкретного предложения о вызове комитетов для отчета о своих действиях. Лежандр упоминается здесь, потому что только он один, по мнению всех очевидцев (и *Moniteur*), был главным защитником Дантона. Не следует недооценивать его мужество; именно он, с помощью очень небольших сил, закрыл клуб якобинцев в ночь на 9 термидора и таким образом обошел фланг фракции Робеспьера.

[143] «Когда остатки фракции... исчезнут... у вас не будет больше примеров для подражания... останутся только народ и вы, и правительство, в центре которого вы непоколебимо стоите».

[144] «Плохой гражданин, ты замышлял заговор; ложный друг, два дня назад ты говорил плохо о Демулене, которого ты потерял; злой человек, ты сравнил общественное мнение с женщиной легкого поведения, ты сказал, что честь — это смешно... если Фабр невиновен, если Орлеан, если Дюмурье были невиновны, то и ты, без сомнения, невиновен. Я сказал слишком много — ты ответишь перед правосудием».

[145] Заметки Робеспьера к докладу Сен-Жюста были опубликованы М. Франсом в 1841 году в сборнике «*Papiers trouvés chez Robespierre*» («Документы, найденные у Робеспьера»).

[146] «Национальный Конвент, заслушав отчеты Комитетов общественной безопасности и общественного спасения, постановляет предъявить обвинение Камиллю Демулену, Эро, Дантону, Филиппу Лакруа... и, следовательно, объявляет их предавать суду». Это были последние слова речи Сен-Жюста, которые составили его основное предложение.

«Этот декрет принят единогласно и под бурные аплодисменты». — *Moniteur*, 2 апреля 1794 г. (13 герминаля, год II).

[147] Кутон был калекой. Однажды (позже) в Конвенте его называли «триумвиром», и он взглянул на свои ноги и сказал: «Как я могу быть триумвиром?» Логическая связь между хорошими ногами и триумвирами была более очевидна для него самого, чем для тех, кого он отправил на гильотину.

[148] У нас есть фрагменты этого «№ VII», который не был опубликован. См. книгу М. Кларети «*К. Демулен*», стр. 274 перевода г-жи Кэшел Хой.

[149] Дантону в октябре исполнилось бы тридцать пять лет. Демулену в марте исполнилось тридцать четыре года, а не тридцать три, как он сказал на суде. Я привожу эту информацию со ссылкой на М. Кларети, который в своей книге цитирует свидетельство о рождении, которое он сам видел (2 марта 1760 г.).

[150] 10 марта 1793 года. Доктор Робине высказал возражение против всего этого высказывания, но, несмотря на его большой, или, скорее, уникальный авторитет, я не могу поверить, что призыв — особенно восклицательный призыв такого рода — был чужд его импульсивному и милосердному характеру.

[151] Валлон, *Революционный трибунал*, т. III, с. 156.

[152] Известно, что Флерио и Фукье были одни, когда присяжные были «выбраны по жребию». Это стало известно на суде над Фукье. Заметки Лебрена см. в *Приложении X*.

[153] Валлон, «*Революционный трибунал*», т. III, с. 155.

[154] См. *Приложение X*. Речи, которые я здесь привожу, восстановлены на основе этих записей, и я прошу читателя сверять последовательность предложений в тексте с отрывочными записями, приведенными в Приложении.

[155] См. *стр. 199*.

[156] Валлон, *Революционный трибунал*, т. III, с. 169, цитирует *Архивы*, W. 342, Дело 641, Часть 1, № 34.

[157] 20 августа 1792 года, сразу после успеха партии Дантона, в котором, конечно же, участвовал Демулен, Фукье написал письмо своему дальнему родственнику Демулену с просьбой о предоставлении ему какой-либо работы. Это письмо ни в коем случае не

является достойным и носит почти раболепный характер. См. Clarétie, *Desmoulins*, английское издание, стр. 318.

[158] Таково мнение М. Валлона, который приводит обе версии и от которого я взял большую часть этого описания. См. *Tribunal Révolutionnaire*, iii. 177.

[159] Все это фигурирует в процессе Фукье.

[160] Они приведены в книге Кларети «Демулен» в приложении.

[161] См. список вещей заключенного в книге Кларети «Демулен».

[162] Эти ворота можно увидеть сегодня справа от большой лестницы во дворе Дворца правосудия. Перед ними установлена железная решетка.

[163] Оригинал я взял у Кларети, который цитирует П. А. Лекомта, «Мемориал о Французской революции».

«Когда они прибыли на берега Флегетона

Камиль Демулен, Д'Эглантин и Дантон

Заплатили, чтобы переправиться через эту грозную реку

лодочник Харон (справедливый гражданин)

Нашим трем пассажирам хотел передать в руки

Сумму, превышающую налог, взимаемый с людей.

«Оставь себе всю сумму, — сказал ему Дантон, —

Я плачу за Кутона, Сен-Жюста и Робеспьера».

[164] Об этом рассказала дедушке Деспои мадам Жели. Кларети упомянул об этом. Но Мишле, должно быть, слышал от семьи об этом же священнике (Керенавант ле Бретон), поскольку, по словам мадам Жели, именно он венчал Дантона во второй раз.

[165] Согласно результатам, представленным комиссией по военному продовольствию, можно с уверенностью сказать, что армии обеспечены продовольствием примерно до первого октября; армия Италии, которая обеспечена продовольствием хуже всего, имеет запасы на несколько месяцев, и для нее уже подготовлены другие поставки.

[166] В ряды патриотов и в обозы артиллерии, направлявшиеся на борьбу с мятежниками, проникли предатели; комитет остановил их продвижение, и комитет надзора задержал главных виновников этого нового заговора. Несмотря на столь тщательный надзор (), некоторые французские солдаты, недостойные этого имени, предали свой долг и пополнили ряды мятежников. Везде множатся препятствия; везде администрации хотят регулировать передвижения войск, а комиссары хотят выполнять функции генералов, коммуны по своему усмотрению задерживают оружие, предназначенное для других целей, и таким образом все силы ослабевают, а разбойники добиваются успехов.

Но, по крайней мере, берега, которые соответствуют вероломным действиям Георга III, гарантированы. Три дивизии под командованием генерала Канкло, которые занимают промежуточные порты между Ле-Сабль и Нантом, поддерживают связь между этими двумя городами и удерживают бандитов на определенном расстоянии от побережья.

Наземная связь между Нантом и Анже свободна, ведется работа по восстановлению свободного судоходства по Луаре между этими двумя городами. Подготовлены несколько вооруженных пушками кораблей, которых будет достаточно для этой защиты.

Уже одна победа возродила все надежды родины. В Сен-Мексене артиллерия и припасы повстанцев стали трофеем первой победы, которую только что одержали патриоты.

КОНЕЦ